

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

Т Р Е Т Ь Я

М А Р Т

М О С К В А

4 . 9 . 2 . 7

Главлит № 82316.

Зак. № 2008.

Тир. 3000 экз.

1-я Образцовая тип. Госиздата. Москва, Пятницкая, 71.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Алексей ТОЛСТОЙ.—Древний путь, <i>рассказ</i>	5
2. Ник. УШАКОВ.—Фруктовая весна предместий, <i>стихотвор.</i>	21
3. Бор. ПАСТЕРНАК.—Лейтенант Шмидт, <i>поэма</i> , продолжен.	22
4. Федор ГЛАДКОВ.—Старая секретная, <i>повесть</i> , окончание.	28
5. Э. БАГРИЦКИЙ.—Контрабандисты, <i>стихотворение</i>	56
6. Борис ПИЛЬНЯК.—Очередные рассказы. I. Олений город Нара. II. Поокский рассказ	58
7. Ал. ЖАРОВ.—Стихи от бессонницы	77
8. Иван ПРИБЛУДНЫЙ.—Напоминание, <i>стихотворение</i>	79
9. Илья САДОФЬЕВ.—Неугомонь, <i>стихотворение</i>	80
10. Софья ФЕДОРЧЕНКО.—Народ на войне	82
11. Евсей ЭРКИН.—Песня, <i>стихотворение</i>	104
12. Вяч. ШИШКОВ.—Пурга, <i>повесть</i> , окончание	105
13. С. КИРСАНОВ.—Германия, <i>стихотворение</i>	132
—	
14. А. С. КИСЕЛЕВ.—Воспоминания к десятилетию февраль- ской революции	136
15. Карл РАДЕК.—Новый этап в китайской революции	146
16. Вяч. ПОЛОНСКИЙ.—Критические заметки об. Артеме Веселом	160

Т Р И Б У Н А.

17. К. ФЕДИН.—Об искусстве и критике	174
18. Пант. РОМАНОВ.—К движению или неподвижности	177
19. С. ГОРОДЕЦКИЙ.—О критике	181
20. Ин. ОКСЕНОВ.—Писатель и критик	185

ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ:

21. Г. ЛЕЛЕВИЧ.—Илья Сельвинский 191
22. Г. ЯКУБОВСКИЙ.—Ранний Пруст 195
23. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—Новые книги по искусству 198
24. С. БЛАЖКО.—О переменных звездах 201
25. В. АБОЛТИН.—По советскому Сахалину 208

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

- Н. ЗАМОШКИН.—С. Клычков „Серый барин“ 219
Як. БЕННИ.—Давид Хаит „Бурьян“ 220
В. КРАСИЛЬНИКОВ.—М. Колосов, Д. Кочетков, Г. Шубин
„Молодняк“ 220
С. АЛЫМОВ.—А. Дорогойченко „Большая Каменка“ 221
С. ПАКЕНТРЕЙГЕР.—К. Сивачев „Балаханы“ 221
Ник. СМИРНОВ.—В. К. Арсеньев „В дебрях Уссурийского края“. 222
А. ЛЕЖНЕВ.—В. Александровский „Подкованные годы“;
И. Садофьев „Простей простого“ 223
Г. СЕРЕБРЯКОВА.—К. Чапек „Старая веселая Англия“ . . . 224
-

Древний путь

Рассказ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

Темной весенней ночью по отвесному трапу на ют океанского парохода поднялся высокий человек в военном плаще. Поль Торен поднимался медленно, со ступеньки на ступеньку, — с трудом. От света мачтового фонаря поблескивали на его кепи три золотых галуна. Он обогнул облепленную илом якорную цепь и остановился на самом носу, — облокотился о перильца, и так застыл, не шевелясь. Лишь край его плаща отдувался встречным слабым движением воздуха.

На пароходе светили только топовые огни—зеленый и красный, да два фонаря на мачтах терялись вверх в незаметной пелене тумана. Задернутыми были и звезды. Ночь темна. Внизу на большой глубине железный нос с тихим плеском разрезал воду.

Прислонившись к перилам, Поль Торен глядел вниз на воду. Лишь хорадка жгла глаза. Ветерок проходил сквозь все тело, — и это было неплохо. О каюте, горячей койке, о заснувшей под колючей лампочкой сестре милосердия — болезненно было подумать: — белая косынка, кровавый крест на халате, пергаментное лицо унылого спутника страдающих. Она провожала Поля Торена на родину, во Францию. Когда она задремала, он потихоньку вышел из каюты.

В черной, как базальт, воде проплыло светящееся животное, — какой-то длинный розоватый крючек с головой морского конька. Лениво шевеля плавниками, оно с юмором поглядывало на надвигающееся днище корабля, откуда встречные струи не увлекли его в сторону. Вода была прохладна, глубина блаженна... Пусть сестра с кровавым крестом сердится... Бытие — Поль чувствовал это с печальным волнением — скоро окончится для него, как тропинка, обрывающаяся в ночную пропасть, и оттого неизмеримо важнее микстур, койки, безвкусной еды была эта ночная тишина, где плыли величественные воспоминания.

Путь, которым шел пароход, был древней дорогой человечества — из дубовых аттических рощ в темные гиперборейские страны. Его называли Геллеспонтом в память несчастной Геллы, упавшей в море

с золотого барана, на котором она вместе с братом бежала от гнева мачехи на Восток. Несомненно,—о мачехе и баране выдумали пелазги, пастухи, бродившие со стадами по ущельям Арголиды. Со скалистых побережий они глядели на море и видели паруса и корабли странных очертаний. В них плыли низенькие, жирные, большеносые люди. Они везли медное оружие, золотые украшения и ткани, пестрые, как цветы. Их обитые медью корабли бросали якорь у девственных берегов, и тогда к морю спускались со стадами пелазги, рослые, с белой кожей и голубыми глазами. Их деды еще помнили ледниковые равнины, бег оленей лунной ночью и пещеры, украшенные рисунками мамонтов.

Пелазги обменивали на металлическое оружие животных, шерсть, сыр, вяленую рыбу. Они дивились на высокие корабли, украшенные на носу и корме медными гребнями. Из какой земли плыли эти низенькие, носатые купцы? Быть может, знали тогда, да забыли. Спустя много веков ходило предание, будто бы видели пастухи, как мимо берегов Эллады проносились, гонимые огненной бурей, корабли с истерзанными парусами, и пловцы в них поднимали руки в отчаянии, и, будто бы, в те времена страна меди и золота погибла.

Правда ли—это было? Должно быть, что так: память человеческая не лжет. Передавали в песнях, что с тех пор стали появляться в пустынной Элладе герои, закованные в медь. Мечом и ужасом они порабошляли пелазгов, называя себя князьями, заставляли строить крепости и стены из циклопических камней. Они учили земледелию, торговле и войне. Они сеяли драконовы зубы, и из них рождались воины. Они внесли дух тревоги и жадности в сердца голубоглазых. Над Элладой поднималась розово-перстая заря истории. Медный меч и золотой треножник, где дымилось дурмящее курево, стояли у колыбели европейских народов.

Потомок пелазгов, Поль Торен, на тех же берегах Средиземного моря был пронзен пулей в верхушку легкого, отравлен газом, брошенным с воздушного корабля, и, умирая от туберкулеза и малярии, возвращался из пылающей Гипербореи в Париж той же древней дорогой купцов и завоевателей, дорогой, соединяющей два мира—Запад и Восток, дорогой, текущей между берегов, где под холмами лежат черепки исчезнувших царств, дорогой, где глубоко на дне дремлют среди водорослей ладьи ахейцев, триремы Митридата, пышные корабли Византии, а на отмелях у глинистых обрывов валяются заржавленные днища подорванных и выбросившихся пароходов.

Казалось,—это казалось Полю,—он завершает сейчас круговорот тысячелетий. Его ум, растревоженный лихорадкой и ощущением своей близкой смерти, силился охватить всю борьбу, расцвет и гибель множества народов, прошедших по этому пути. Воспоминания вставали перед ним, как ожившее бытие. Через несколько дней, быть может, погаснет его мозг, вместе с ним погибнет то, что он нес в себе,—погибнет мир. Какое ему дело—будет ли мир существовать, когда не будет Поля Торена. Мир погибнет в его сознании,—это все. Прислонясь

к перилам, покрытым росой, глядя в темноту, он заканчивал круговорот.

Стеклянным стуком, причиняя Полю сладкую боль неожиданности, прозвенели склянки. Сменялась вахта. Наверху, над капитанским мостиком, мутнелась бессонная фигура рулевого. Освещалось только его широкое лицо, склоненное над колонкой, где трепетала душа корабля,— черная стрелка компаса. Темнота ночи густела. Воды внизу не было уже видно. Теперь казалось, что корабль летит в бесплотном пространстве. Это был предутренный мрак.

Лицо и руки Поля покрылись росой. Он содрогнулся. Сколько рук человеческих, раскинутых по земле с последней судорогой смерти, в эту ночь,— во все эти ночи,— будут покрыты такой же росой... Каждый, вонзая зубы в землю, смешанную с кровью, железом и калом, унесет с собою тысячелетия отжитого, в каждом простреленном черепе с унылым грохотом рухнут и исчезнут тысячелетия культуры. Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы голубоглазому пращуру показать книгу жизни, перелистать все страницы грядущего, все цветные картинки,— „это просто глупая и жестокая книжка“,— сказал бы веселый пращур, почесываясь под бараней шкурой,— „здесь какая-то ошибка, смотрите, сколько хорошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько построено отличных городов, а на последней картинке все это горит с четырех концов, и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу в Средиземном море“...

„Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной партии,— думал Поль Торен,— история свернула к пропасти. Какой прекрасный мир погибает!“

Он закрыл глаза и с отчаянной жалостью вспомнил Париж, свое окно, голубоватое утро, голубые тени города, аллею бульвара и полукруглые крыши, теряющиеся в дымке, непросохшие капли дождя на подоконнике, внизу понукание извозчика, везущего тележку с морковью, веселые голоса тех, кто счастливы тем, что живут в такое прекрасное утро. Вспомнил свой стол с книгами и рукописями, пахнущими утренней свежестью. И свой опьяняющий под'ем счастья и доброты ко всему... Какую превосходную книгу он писал тогда о справедливости, добре и счастья. Он был молод, здоров, богат. Ему хотелось всем обещать молодость, здоровье, богатство. И тогда казалось,— только идеи добросердечия, новый общественный договор, обогащенный завоеваниями физики, химии, техники, протянет эти дары всему человечеству.

Какой сентиментальный вздор! Это было весной накануне войны. Сгоряча и вправду показалось, что немцы— черти, дети дьявола, идущего приступом на божественные твердыни гуманизма. Сгоряча пока залось, что над Францией развернуто старое знамя Конвента, и за права человека, за свободу, равенство и братство гибнут, скошенные пулеметами, французские батальоны.

Как хотелось Полю снова поверить в то утро, когда он от избытка счастья открыл окно на туманный Париж. Но если это счастье распло-

тано солдатскими сапогами, разорвано снарядами, залито нарывным газом,—то что же остается?.. Зачем была Эллада, Рим, Ренессанс, весь железный грохот девятнадцатого века?.. Или удел всему—холм из черепков, поросший колючей травкой пустыни?.. Нет, нет,—где-нибудь должна быть правда. Не хочу, не могу умереть в такую безнадежную ночь!..

— Месье, вы опять вышли на воздух. Месье, вам будет хуже,—проговорил за спиной заспанный голос сестры.

Поль вернулся в каюту, лег, не раздеваясь. Сестра заставила его принять лекарство, принесла горячего питья. Отдаленно и мягко постукивала машина. Позвякивали пузырьки с микстурами. Пожалуй, это было даже приятно,—точно какая-то надежда на спасение: теплый свет абажура, мягкая койка, куда, как в облако, ушло его костлявое тело, горящее в лихорадке. Поль задремал, но, должно быть, на минуту. И снова горячечной вереницей поползли мысли. Бессонница сторожила его: нельзя спать, осталось немного часов, слишком драгоценна работа мозга...

Одно из воспоминаний задержалось дольше других. Поль беспокойно заворочался всунул холодные пальцы в пальцы, хрустнул ими. Два месяца тому назад в Одессе он получил знакомый длинный конверт. Писала Люси, кузина, его невеста:

„Дорогой и далекий друг, мне бесконечно одиноко, бесконечно грустно. От вас нет вестей. Вы пишете матери и брату, но никогда—мне. Я знаю ваше угнетенное состояние и потому еще раз пытаюсь писать... Тяжело вам, тяжело мне. Четыре года разлуки,—четыре вечности пролетели над моей бедной жизнью. Только мысль о вас, надежда, что, быть может, вам еще будут нужны остатки моей молодости, моего истерзанного сердца и вся моя огромная любовь,—заставляет меня жить, двигаться, делать все то же, все то же:—лазарет, ночи около умирающих, вязание солдатских напульсников, чтение по утрам списков убитых... Франция—сплошное, великое кладбище, где погребено целое поколение молодости, разбитых сердец, несбывшихся ожиданий... Мы, живые,—только плакальщицы, монахини, провожающие мертвых. Париж становится чужим. Поль, вы помните, как, гуляя, мы любили старые камни города, они рассказывали нам величественную историю народа... Камни Парижа замолчали, их попирают какие-то новые люди, чужие... И только старики у каминов еще воинственно размахивают руками, рассказывая о былой славе Франции... Но мы их плохо понимаем“...

В воспоминании оборвался текст письма, тысячу раз прочитанного Полем. Но он так и не ответил Люси. Не мог. О чем бы он написал девушке, все еще пытающейся отдать ему свою огромную любовь. Что бы стал делать с этой любовью? Что бы стал делать труп, которому в скрюченные руки всунули букет роз? Но почему-то его преследовала память о жалко, как у ребенка, дрожащих губах глупенькой Люси,—год тому назад он был в Париже (на один день).

и тогда же, муча себя и ее, обидел Люси. Он сказал: „Вы видели когда-нибудь, как с лестницы парижской биржи спускается буржуа, потерявший в одну минуту все состояние. Предложите ему букетик фиалок в компенсацию... Вот..! Ужасно, Люси, я разорен, мне остается вернуться к погасшему костру в палеолитическую пещеру и отыскать среди хлама мой добрый каменный топор“... Тогда-то и задрожали еще невинные губы Люси... Но жалеть ее — вздор, вздор... Жалость—все тот же вздор из той же неоконченной книги, которую писало слепое счастье, а перелистывал весенний ветер... И жалость выжжена военным газом...

Под утро Польша снова задремал, ненадолго. Разбудил его хриплый рев парохода. Нервы натянулись. В иллюминатор бил столб света, и отвратительными в нем казались желтые складки на лице сестры. Она взяла плед и повела Поля на палубу, усадила в шез-лонг, прикрыла ему ноги.

Ревя, пароход выходил из Дарданелл в Эгейское море. На низких глиняных берегах виднелись обгоревшие остатки казарм и взорванных укреплений. На отмели лежал с утопленной кормой заржавленный пароход. Война была прервана на время, силы, ее вызвавшие, перестраивались, народам дано разрешение ликовать и веселиться. Чего же лучше! Утро было влажно-теплое. Пароход, немного завалившись на левый борт (реквизированный у немцев и перевозивший войска, беженцев и портящиеся грузы, пароход южно-американской линии „Карковадо“, в шесть тысяч тонн), все дальше уходил от земли в лазоревую пустыню. За его кормой косматое солнце все выше взбиралось на ужасную высоту безоблачного неба. Впереди вылетела колесом из солнечной воды черно-блестящая с ножом плавника спина дельфина. „Мама, мама, дельфин!“—по-русски закричал белокурый ребенок, стоя у борта и указывая худенькой ручкой на море. Перед кораблем резвилось стадо дельфинов. И стало понятно, что именно в такое утро в Эгейском зеркальном море под пляску дельфинов из белой пены поднялась, раскрывая светлые глаза, краса жизни—Афродита. „Ну, что же, попробуем ликовать и веселиться“,—подумал Польша.

Белокурый ребенок висел на перилах, наслаждаясь водяными играми спутников Афродиты, его поддерживала мать в духовом грязном платочке на плечах, в стоптанных башмаках. На ее исплаканном лице застыл ужас пожаров России. В руке, давно не мытой, она сжимала морской сухарик. Какое ей было дело до того, что в солнечном мареве прищуренные глаза Поля как будто увидели тень „Арго“, крутобокого, с косым парусом, сверкающего медью щитов и брызгами с весел, дивного корабля аргонавтов,—морских разбойников, искателей золота... Он пронесся по тому же древнему пути из ограбленной Колхиды...

По широкой палубе прошла пожилая женщина в поддельных соболях поверх капота, сшитого из кретоновой занавески. Лицом и движениями она напоминала жабу. За ней бежали две чрезвычайно вос-

питанные болонки с розовыми бантами. Эта ехала тоже из Одессы, везла в третьем классе четырех проституток, обманув их золотыми горами,—лишь бы добраться до Марселя. Вот она заспешила, нагнула голову к плечу и показала фальшивые челюсти, приветствуя знакомого — высокого, дрянно одетого мужчину, с глупым лицом и закрученными усами. Этот сел в Константинополе, говорил по-польски, гордо разгуливал, куря длинную трубку, по которой текла слюна, и стремился найти аристократических партнеров, чтобы засесть в картишки. Проходя мимо Поля, он затрепетал ляжками из почтительности.

„Перед гибелью дома изо всех щелей выползают клопы“, — подумал Польш. Пароход поворачивал на юго-запад. Направо из-за моря поднимались острые лиловые вершины. Над ними клубились тучи. Грядю гигантских гор поднимался остров. Кругом было зеркальное море, пронизанная солнцем лазурь, а гребнистый остров вдали весь покрыт мраком. Грозовые тучи висели над ним, опускалась пелена дождя и, как будто там и вправду был трон Зевса, — разорванной нитью по тучам блеснула молния... До парохода долетел вздох грома.

— Это Имброс, курьезный островок, над ним всегда грозы, — проговорил за спиной Поля небритый черномаз в феске. Он еще вчера в порту предлагал Полю разменять любые деньги на любые, или устроить знакомство с жабой, везущей четырех девчонок, и предупредил, между прочим, не играть с усаатым поляком в карты.

Польш закрыл глаза, чтобы костлявое лицо в феске не заслонило видение славы бога богов—Зевса. С левого борта приближался низкий берег Малой Азии, где каждый холм, каждый камень воспет гекзамером,—земля героев, Трояда. За прибрежной полоской песка расстилалась бурая равнина, изрезанная руслами высохших потоков. Вдали, на востоке, облачной грядой стояли вершины Иды, кое-где еще покрытые жилами снега.

Польш встал с шез-лонга, подошел к борту. На этой равнине шумели некогда поля пшеницы и маиса, благоухали сады, бесчисленные стада спускались с Фригийских гор. Вот—кремнистое устье Скамандра,—желтый ручей уходит полосой далеко в море. Налево—курганы,—могилы Гектора и Патрокла. Здесь были вытащены на песок черные корабли ахейцев, а там, на выжженной равнине, где изрыта земля, и курится дымок из бедной хижины,—поднимались циклопические стены Трои с нависшими карнизами, квадратными башнями и золотой многогрудой статуей Афродиты азиатской.

С незапамятных времен эолийские греки плыли к берегам Трояды, селились там и занимались земледельчеством и скотоводством. Но скоро сообразили, что место хорошо, и стали строить крепость Троя у ворот Геллеспонта, чтобы захватить пути на восток. И Троя стала сильным и богатым царством. В торговые дни на базар, перед высокими стенами города, ехали скрипучие арбы с хлебом

и плодами; вероломные славяне с границ Фракии вели бешеных коней, знаменитых быстротой бега; приезжали на богатых колесницах хетты из Богазкея с товарами, сделанными по лучшим египетским образцам; фригийцы и лидийцы в кожаных колпаках гнали стада круторунных баранов. Финикийские купцы, с накладными бородами, в синих войлочных одеждах, подгоняли бичами черных рабов с тюками и глиняными амфорами; почтенные морские разбойники, вооруженные обоюдоострыми секирами, приводили красивых рабынь и соблазнительных мальчиков; жрецы раскидывали палатки и ставили алтари, выкрикивая имена богов, грозясь и зазывая приносить жертвы. Со стен на суету базара глядели воины, охранявшие ворота. В городе были собраны неисчислимые сокровища, и слух о них шел далеко.

Эллада в те времена была бедна. Давно миновали пышные времена Микен, Тиринфа и Фив, построенных героями. Циклопические стены поросли травой. Земля неплодна, население—редкое, пастухи, рыбаки да воины, еще не удравшие за море. Цари Ахеи, Арголиды, Спарты жили в мазанках под соломенными крышами. Торговать было нечем. Грабить у себя некого. Торговля шла мимо Эллады. Оставалась—легендарная слава прошлого, кипучая кровь, кидающаяся в голову, и необыкновенная предприимчивость. Цель была ясна: ограбить и разбить Трои, овладеть Геллеспонтom и повернуть купеческие корабли в гавани Эллады. Стали искать предлога к войне, а это, как известно, нет ничего проще. Впутали прекрасную Елену. Подняли крик по всему полуострову. Позвали Ахиллеса из Фессалии, нагав, что отдадут половину добычи. Спросили Додонского оракула, и поплыли на черных кораблях, чтобы начать медными звуками гексаметра трехтысячелетнюю историю европейской цивилизации...

С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства,—поправлять свои дела,—кроме меча, грабежа и лукавства. Герои Троянской войны были, по крайней мере, великолепны в гривастых шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не раз'еденными идеями торжества добра над злом. Они не писали у открытого окна книг о гуманизме.

Пароход повернул к западу, низкий берег стал отдаляться. Польша снова сел в шез-лонг. „Суррогат,—подумал он и повторил это слово,—ложь, которой больше не хотят верить... Гибель, гибель неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... Или...“

Он усмехнулся, слабо пожал плечом,—это „или“ давно уже навязывалась в минуты раздумий. Но за „или“ следовало противуестественное: мир выворачивался наизнанку, как шкура, содранная со зверя.

На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за игрой дельфинов.

— Попаду. Пари—хочешь?—спросил он хриповатым баском и потащил из кармана ржавый наган. Другой, бледный, с раздвоенной бородкой, остановил его руку:

— Брось. Здесь тебе не Россия. И, вообще, брат, брось шпалер в море.

— Эге, брось... Сто двадцать душ отправлено этим шпалером к чертовой матери... Его в музей надо...

Двое захохотали невесело, третий зашипел:

— Не орите... Капитан, кажется, задремал...

Русские офицеры оглянулись на Поля и на цыпочках отошли подалее. Солнце легло на палубу, на лицо,—Поль задремал. Сквозь веки спящие глаза его видели красноватый свет... Как странно,—куда же девалось море? (Так подумалось...) Как жалко, как жалко... (И он увидел...). Унылая осенняя равнина, телеграфные столбы, оборванные проволоки... Налетает зябкий ветерок... А лицу жарко... Внизу, под горкой, горят крытые соломой хаты,—без дыму, безвучно, как свечи. Безвучно стреляет батарея по деревне,—ослепительны вспышки из жерл. Мрачны лица у артиллеристов... Это все свои,—парижане... Дерутся за права человека... „О, черт!“ (Поль слышит, как скрипят его зубы...) „Вы должны исполнить свой долг“,—кричит он солдатам, и чувствует, как лошадь под ним прогибается, спина ее будто сломанная, без костей... И тут же на батарее, между людьми, вертится этот,—с наглыми страшными глазами, с наганом... Невыносимо лебезит, все чешется, похохатывает... И вдруг руками начинает быстро, быстро рыть землю,—по-собачьи... Вытаскивает из земли, встряхивает двоих в матросских бескозырках, подводит под морду прогнувшейся лошади: „Господин капитан, вот—большевики“!.. У них—широкие лица, странной усмешкой открыты зубы, а глаза... Ах, глаза их таинственно закрыты... „Ты застрелил их, негодяй“,—кричит Поль наглому вертуну и силится ударить его стеком, но рука, будто ватная... Неистово бьется сердце... Если бы только матросы открыли глаза, он впился бы в них, разгадал, понял..

Поля разбудил обеденный звонок. И снова сияло молочно-голубое море. Вдали проходили гористые острова. Изодранный за войну ржавый „Карковадо“ плыл, как по небесам, накренившись на левый борт, по этой зеркальной бездне. Солнце клонилось к закату. Редко из-за края воды и неба поднимался дымок. Под вечер лихорадка отпускала Поля, и слабость наваливалась на него стопудовым тюфяком. Холодели руки, ноги. Это было почти блаженно.

Ранним утром „Карковадо“ бросил якорь у Салоник в грязно-желтые воды залива. Город, видный, как на ладони, между бурыми и меловыми холмами, был сожжен. Развалины древних стен четырехугольником ограничивали унылое пожарище, где иглами поднимались белые минареты. Жарко пекло солнце. Меловые холмы, казалось, были истоптанные до камня подошвами племен, прошедших здесь в поисках счастья. От набережной отделилась барка с солдатами. Маленький буксирчик, пытая в солнечной тишине, подвел к „Карковадо“ баржу. Со скрипом опустили трап. И попарно побежали наверх зуавы в травяного цвета френчах, красных штанах, красных фесках.

Смеясь и кидая мешки и фляжки, они легли на теневой стороне верхней палубы. Запахло потом, пылью, пополз табачный дым. Зуавам было на чорта наплевать: их пытались было перебросить в Россию на одесский фронт. В Салониках они заявили: „Домой!“,—и выбрали батальонный совет солдатских депутатов. Тогда сочли за лучшее отправить их по домам. „Вот это дело!“—ржали зуавы, катаясь от избытка сил по палубе. — „К чорту войну, домой, к бабам!“...

До полудня грузили уголь. Сгибаясь под тяжестью корзин, поднимались по зыбкому трапу оборванцы с тряпками на головах,—греки, турки, левантийцы,—все они были одинаково черны от угольной пыли, каплями ваксы капал пот с их аттических носов. Пустые корзинки летели вниз в баржу. С мостика ругался в рупор помощник капитана. Лениво висели пассажиры на бортах. Наконец, „Карковадо“ заревел, запенилась грязная вода за кормой. Зуавы замахали фесками берегу. И—снова лазурь, древняя тишина.

Вдали, справа, проплыл Олимп снеговой шапкой с лиловыми жилами. Зевс был милостив сегодня—ни одно облачко не затеняло сверкающей вершины. Вот и Олимп ушел за море. Зуавы храпели в тени под висящими лодками. Иные играли в кости, выбрасывая их из кожаного стаканчика на палубу. Один, широкоплечий, с бровями и ресницами светлее загара,—посадил на колени маленького русского мальчика и, нежно лапой глядя его волосы, расспрашивал на незнакомом и дивном языке о существенных событиях жизни. Мать издали с тревогой и радостной улыбкой следила за первым успехом сына среди европейцев... Нет, нет, ни один из этих людей не хотел вместе с Полем лезть в могилу, кончать историю человечества.

Близко теперь,—то с правого, то с левого борта,—проплывали острова высокими караваями,—с каменистыми пропеллинами, покрытые низкорослым леском. Море у их подножия было зеленое, они зеркально отражались в нем, и там не было дна,—опрокинутое небо. У одного островка прошли так близко, что были видны черноголовые дети, копошившиеся у порога хижины, сложенной из камней и прислоненной к обрыву. Женщина, работавшая на винограднике, заслонилась рукой,—глядела на пароход. Полосы виноградников занимали весь склон. С незапамятных времен здесь кирками долбили шифер, чтобы из каменной пыли, впитавшей свет и росу, поднималась на закрученной лозе золотистая гроздь,—сок солнца. Вершина горы была гола. Бродили рыжие козы и стоял человек, опираясь на палку. На нем была войлочная шляпа, которую рисовали кирпично-красным на черных вазах гомеровские греки. И пастух, и женщина в полосатой юбке, и дети, играющие со щенком, и беловолосый старик внизу в лодке—проводили равнодушными взглядами истерзанного войной „Карковадо“, где постукивал зубами от лихорадки и озноба смертных мыслей Поль Торен, лежа под пледом в шез-лонге.

Когда раздался звук трубы, — тра-та-та-тааааа, — зуавы горохом посыпались с палубы на корму. Там, у открытого досчатого камбуза,

высокий негр в белом колпаке черпал из дымящихся котлов, разливал в солдатские котелки. „Полней, горячей!“, — кричали заувы, смеясь и толкаясь. Вонзали зубы в хлеб, со звериным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили красной струей в рот вино из манерок. Еще бы, — в такой горячий, лазурный день можно с'есть гору хлеба, море похлебки! За камбузом, привязанный к стреле под'емного крана, стоял рыжий старый бык, взятый в Салониках. Он мрачно озирался на веселых солдат. — „С'едят, — очевидно, думалось ему, — завтра непременно с'едят“... Зуав, с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув манеркой, закричал ему: „Не робей, старина, завтра принесем тебя в жертву Зевсу“...

На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство сахарозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь был сам сахарозаводчик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт с книжечкой в руке; мама — в корсете до колен и в собольем меху, из которого торчал кукиш прически; модно одетая невестка, боящаяся грубостей; трое детей и нянька с грудным ребенком. Папа - краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары:

— Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офицера, от таких можно всего ждать...

— Это какие-то грубияны, — говорила мама, — они уже косились на наши сундуки.

Сын - поэт глядел на полоску пустынного берега Эвбеи. „Хорошо бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, ходить в греческом хитоне“, — так, должно быть, думал этот богатый молодой человек с унылым носом.

Зуавы снизу отпускали шуточки:

— Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой...

— Эй, дядя краб, брось-ка нам табачку.

— Да скажи невестке, чтобы сошла вниз, мы с ней пошутим..

— Он сердится... О ля ля! Дядя краб, ничего, потерпи, — в Париже тебе будет не плохо.

— Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы...

Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Горячая палуба трещала от их беготни. Им до всего было дело, всюду совали нос, — будто взяли „Карковадо“ на abordаж вместе с пассажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, тот только развел руками: „Жалуйтесь на них в Марселе, если угодно“... Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из трюма русский общественный деятель, англофил, в пенсне, с растрепанной бородой, где засела солома, и стал наводить панику, доказывая, что среди зуавов — переодетые агенты чека, и не миновать погрома интеллигенции на „Карковадо“.

Ночью огибали Пелопоннес,—суровую, каменистую Спарту. Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке об Одиссее. Сухим запахом полыни тянуло с земли. Поль Торен припомнил имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился дневной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза поминутно застигало слезами. Какое величие миров! Как мала, быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он жалел свое сердце,—больной комочек, отбивающий секунды в этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание жить? Он уже примирился, уходил в ничто, печально и важно, как развенчанный король. И, вдруг,—отчаянное сожаление... Зачем? Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем это нагромождение мучений? Он старался сызнова восстановить ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, существующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Поль Торен... Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в памяти перекликались веселые голоса зуавов, стучали их варварские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, срезающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз угольные корзины...

„Так будь же смелым, Поль Торен. Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырота, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым... А есть жизнь миллионов... Ты слышал топот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелазги, смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с неба только огонь и грохот артиллерийской канонады...“

Эту ночь Поль провел на палубе. Утренняя заря разлилась коралловым, розовым сиянием, теплый и влажный ветер заполоскал солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как чудо, поднялся шар солнца. Ветер затих. Пробили склянки. Раздались хриповатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. Зуавы, босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким визгом обливали друг друга из брандсбоя. Задымился досчатый камбуз. Высокий негр в белом колпаке скалил зубы.

Сквозь пелену бессоницы Поль Торен увидел, как за кормой парохода потянулся густой кровавый след, окрашивая пену. Это в жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым животом, из перерезанного горла текла кровь по жолобу в море. Туда же бросили его синие внутренности. Ободранную тушу вздернули на мачте. Размахивая огромной ложкой, негр держал зуавам речь о том, что на реке Зембезе,—его родине,—еду называют Кус Кус, и что эта туша—великий Кус Кус, и хорошо, когда у человека много Кус Куса, и плохо, когда нет Кус Куса...

— Bravo, шоколад! Свари нам великий Кус Кус, — топая от удовольствия, кричали зуавы.

Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздушные волны зноя колебались на юге. Казалось, — там, у берегов Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного нутра парохода послышался короткий, пронзительный женский крик. Затем — засмеялось несколько мужских голосов. Жаба с собачками, выкатив глаза, перекосившись, пробежала по палубе, за ней — собачки с бантами. Оказывается, — зуавы пронюхали, где сидят четыре девчонки, и пытались сломать дверь в кочегарке. Были приняты какие-то меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы лежали в одних тельниках на раскаленной палубе. Поль Торен мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, постукивали зубы, красноватый свет заливал глаза.

— Плохо, старина? — спросил за спиной чей-то голос, негромкий, суровый. Не удивись, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися губами:

— Да, плохо.

— А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь понимаешь, — что такое ваша цивилизация? Смерть...

Ледяной холодок перебежал по сухой коже, гудели в ушах какие-то стеклянные маховики. Полю показалось, что от его шез-лонга кто-то отошел... Быть может, почудилось, — потому что хотелось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже почувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему дерзкие слова... Значит — правда, что на пароходе — агенты чека... Жаль, что прервался разговор...

И сейчас же на глаза Поля опустилась волшебная картинка воспоминания. Он увидел...

...Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисованными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. В кудрявых волосах запеклась кровь. Лицо бледное от ненависти и страдания обращено к Полю. Он говорит по французски с бурсацким акцентом:

— Откуда приехал, туда и уезжай... Здесь не Африка, мы хоть и дикие, да не дикари... Свободу свою не продадим, до последнего человека будем драться... Слышишь ты, — России колонией не бывать. Врешь, брат, под твоими красивыми словами — плантатор.

— Какой вздор! — Поль страшно искренен. — Какой вздор! Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Однажды было нашествие гуннов, мы разбили их на Рейне. Теперь разобьем их на Днестре.

Лежащий нагло усмехается:

— Ты что же — из идеалистов?

— Молчать! — Поль стучит перстнем по досчатому столу. — Говорить вежливо с офицером французской армии!

— Чего мне молчать, все равно расстреляешь,—говорит связанный человек.—И напрасно. Ох, пожалеешь... Лучше—развяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да револьвер—не забудь—по дороге брось в море... Все равно—ваше дело проиграно. Нас—полмиллиарда. Твои руки—это мы, твои ноги—мы, брюхо твое—мы, голова—мы... А что твое? Ценности? Культура? Наша... Хранителей других поставим и—наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его, расширенные, дикие, страшные,—овладевали, давили...) Я вижу,—ты честный человек, ты, может быть, один из лучших... Зачем же ты на их стороне, не на нашей?.. Они отравили тебя газом, заразили лихорадкой, пронзили твою грудь?.. Они растлили все святые... Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе обещаем... Проведи рукой по глазам, сними паутину веков... Проснись... Проснись, Поль...

Поль Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта попытка?—колючие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суета перед глазами, гул стеклянных маховиков в ушах... Скорей бы темнота, тишина, небытие!

Погас и этот день. Снова над морем—пылающие миры, потоки черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца в конец по чечевице вселенной,—летят семена жизни. Из одной такой микрожизни возник Поль Торен. И снова когда-нибудь его тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном пространстве. В эту ночь, как и в предыдущую, сестра не могла увести его в каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, сухой, как сучок, палец к звездам:

— Это мне нужнее ваших микстур.

Ранним утром проходили мимо Калабрии:—дикий берег, острые зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в трещинах. Выше—террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки овец. На мысу—такой же, как камни, замок,—башня, развалины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить корабли, заносимые штормом к этому чортову месту. Налево, в мглисто-солнечном тумане, курился дым над снежной вершиной Этны, голубели берега Сицилии. „Карковадо“ быстро несся по коротким волнам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло семейство сахарозаводчика,—все в спасательных поясах. Оказывается, здесь была опасность встретиться с блуждающей миной. Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. Ржавым носищем „Карковадо“ резал теперь бирюзово-голубые воды Средиземного моря.

Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Барометр падает, господа.

Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического оттенка. На юге воздух ходил мглистыми волнами, как будто там

кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жабиных девочек этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обнаружилось, что и остальные девочки удрали из кочегарки. Одну удалось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, была пьяна вдребезги, кричала и царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы волновались, перешептывались. То один, то другой вскакивал с раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах парохода, где пахло крысами, плесенью, и железные стены скрипели от вздохов машины.

Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама, пригорюнься. Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее колени. Затих даже стук ножей в камбузе. И вдруг, где-то внизу, произошла короткая возня,—удары, рычание... На палубе появились двое, с волосами—торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых штанах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал вытянутую окровавленную руку:

— Откусил палец, откусил палец!—повторял он надрывающимся глухим голосом. Остановился, неистово стащил с ноги деревянный башмак (другая нога—босая), швырнул его в море. Легко побежал дальше:

— Откусили палец!

Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами зубов. Едким потом и кровью пахло по палубе. Сейчас же за этими двумя вскочил на палубу третий с узким лицом, черноволосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он пронзительно свистнул, как будто ночью, на пустыре. Зуавы вскочили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они окружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с желваком на спине, проговорил душераздирающе:

— Обе девчонки у него в каюте...

— У кого?

— У шоколада...

С откушенным пальцем крикнул:

— У него нож... У него огромный нож и вертел... Откусил мне палец... наших всех перебьют здесь... Живым не доехать...

Снова—свист. И тогда все—и солдаты и кочегары—побежали по трапам вниз... Немного спустя там грозно загудели голоса... На палубу выскочила из кают-компания жаба с обеими собачонками на руках,—заметалась, как слепая. В каютах первого класса захлопали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощник капитана.

Кок-негр появился, наконец, в крутящейся толпе. Он здорово отбивался длинными руками. Белая куртка на нем в клочьях, в пятнах крови. Он пятился к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, выкатив

белки глаз, как лупленные яйца. — „Лови, лови!“ — кричали зуавы, устремляясь за ним. Он вскарабкался еще выше, на капитанский мостик, и оттуда — головой вниз — мелькнуло его лакированное тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, вынырнула черная голова.

На „Карковадо“ остановили машину. В море полетели спасательные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело скалясь, он поглядывал на свешенные через перила головы зуавов. Было ясно, что бить его уже больше не станут.

А барометр продолжал падать. Небо нависло раскаленным свинцом. Задыхаясь, стучала пароходная машина, стучала кровь в головы. И на палубе снова закружился вихрь: солдаты перешептывались, перебежали, сбились в кучу. Раздался повышенный, певуче четкий (видимо, парижанина), панический голос:

— На нас идет шторм. Все, кто на палубе, будут смыты в море. Нас не пускают даже в кают-компанию. А в первом классе пружинные койки для спекулянтов. Серебряные плевательницы, чтобы им рвать. Неужели нам и здесь еще умирать за буржуа? В трюм спекулянтов!

— В трюм спекулянтов! — закричали голоса. — Богачей, буржуа — в трюм!

Зуавы, завывая, кинулись через обе двери в кают-компанию. Но там никого не было. На столе — неоконченный обед. Двери кают заперты. Здесь было душно, как в духовом шкафу, где жарят гуся. Иные из солдат повалились на диваны, вытирая ручки пота. Те, кто позлее, стали стучать в двери кают:

— Алло, эй вы, детки, — в трюм, в трюм. Очистить каюты!

Из одной каюты, куда грохнули кованым башмачищем, высунулся папа-краб с прыгающими лиловыми губами, весь в поту:

— Ну? В чем, собственно, дело? Что вы так шумите?

Уже чья-то чумазая рука сгребла его за визитку, десятки пышащих лиц, расширенных глаз приблизились к нему... Не сдобровать бы папе-крабу с его семейством и сундуками... Но в это время раздалась пронзительные боцманские свистки. Свистали: „Все наверх“. И сейчас же треснуло-расколосось небо над пароходом, ударил такой гром, что люди сели. Полыхнула молния во все иллюминаторы. И жалобно запели ванты, снасти, „Карковадо“ сильнее повалило на левый борт. Налетел шторм. Стало темно. Пятнами различались испуганные лица.

Рваные тучи мчались над самой водой. Море стало гривастым, свинцово-мрачным, и волны все злее, все выше били в ржавые борта. Вода уже хлестала на палубу. Раскачивало шлюпки на стрелах. Одну запарусило, рвануло, сорвало, и она унеслась, кувыркаясь среди бешеной пены. Тут бы надо бочку с сокровищами бросить морскому царю, заколоть ему быка, чтобы смилостивился! Невдомек! Трещал, зарываясь, валялся, гудел винтами, густо дымил „Карковадо“. Ураган шел с юго-востока, гнал его к родным берегам.

Поль Торен, возбужденный, сидел на койке в подушках. Свирепо бил трезубцем Нептун в задранный иллюминатор. Какой великопный конец пути! Глаза Поля блестели трагическим юмором. Вот, удар так удар,—в борт! Корабль содрогнулся, тяжело начал валиться. Попадали склянки, покатались вещи и вещицы к каютной двери. Как на качелях на последнем взмахе, каюта становится торчком. Замирает сердце. Не выпрямимся.

— Мы погибли, погибли!—закричала сестра, схватившись за столбик у койки.

Нет,—оправилась старая посудина. Каюта поползла вверх. Выпрямились. Сестра, опустившись на колени, плача, подбирала разбитые склянки. И—снова бьет в борт трезубец морского царя.

— Сестра,—говорит Поль, улыбаясь обтянутым, как у трупа, лицом,—это ураган времен обрушился на нас.

Больше суток мотало „Карковадо“. Изломало и смыло все, что было на палубе. Унесло в море двух зуавов. Унесло собачек несчастной жабы и кожаные сундуки,—большой багаж,—киевского сахарозаводчика. Кто-то хватился общественного деятеля с соломой в бороде,—так и не нашли.

Настал последний вечер. Поль сказал сестре:

— Попросите солдат, чтобы вынесли меня на палубу.

Пришли зуавы, покачали головами в красных фесках, пощелкали языками. Подняли Поля вместе с тюфячком и отнесли в шез-лонг на палубу. Он сказал:

— Желаю вам счастья, дети!

Там, на западе, куда, поднимаясь и опускаясь, устремлялся тяжелый нос корабля,—в оранжевую пустыню неба опускалось солнце, еще гневное после бури. Опускаясь, оно проходило за длинными полосами вуалевых облачков, раскаляя их—багровело. Сверху вниз по его диску пробегали красноватые тени.

Море было мрачно-лиловое, полное непроглядного ужаса. По верхушкам волн скользили красноватые, густые на ощупь, отблески солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью.

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в закате стали твориться чудеса. Как-будто неведомая планета приблизилась к помрачневшей земле, и на той планете, в зеленых теплых водах, лежали острова, заливы, скалистые побережья такого радостно-алого, сияющего цвета, какого не бывает,—разве приснится только. Какие-то из огненного золота построенные города... Как-будто крылатые фигуры над зеленеющим заливом.

Поль стиснул холодеющими пальцами поручни кресла... Восторженно билось сердце... Продлись, продлись, дивное видение!.. Но вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. Разрушаются материка... И нет больше ничего. Тускнеющий закат...

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долго спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над

морем,—она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маяк. Древний путь окончен. Зуавы мурлыкали песенки от удовольствия, навьючивали мешки на спины, переобувались... Один, проходя мимо Поля, сказал вполголоса:

— А по этому заплачет кто-то...

Поль уронил голову. Холодноватый тяжелый туюфак начал ползти на него,—снизу с ног на грудь. Дополз до лица. Но еще раз пришлось ему почувствовать дыхание жизни. Над ним кто-то наклонился, его губ коснулись чьи-то прохладные дрожащие губы, и женский голос, голос Люси, звал его по имени. Его подняли и понесли по зыбким ступеням, по скрипучим доскам на шумный берег, пахнущий пылью и людьми, залитый огнями...

Фруктовая весна предместий.

НИК. УШАКОВ.

Раз'езд,

говарная,

таможня

и убегает под откос

за будкой железнодорожной

в весеннем дыме абрикос.

Еще не зелен,

только розов.

И здесь

над выдыхом свистков,

над жарким вздохом паровозов

воздушный холод лепестков.

В депо трезвон

и гром починок,

а в решето больших окон

прозрачным золотом тычинок

дымится розовый циклон.

И на извоищьем дворе

хомут и вожжи на заборе

в густом и нежном серебре,

как утопающие в море.

В депо,

в конюшни

и в дома

лети фруктовое цветенье

и сходят лошади с ума

от легкого прикосновенья.

Лейтенант Шмидт

БОР. ПАСТЕРНАК

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

(Продолжение) ¹⁾

14. Безоглядочное решение

Подросток реалист,
Разняв драпри, исчез
С запиской в глубине
Отцова кабинета.
Пройдя в столовую
И уши наострив,
Матрос подумал:
«Хорошо у Шмидта».

... Было это в ноябре,
Часу в четвертом.
Смеркалось.
Скромность комнат
Спорила с комфортом.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В уютной, как каюта,
Конуре.

... Лишь по кутерьме
Пылинок в пятерне поргьеры,
Несмело шмыгавших
По книгам, по кошме
И окнам запотелым,
Видно было:
Дело—
К виме.
Минуты три извне
Не слышалось ни звука
В глухой тиши, как вдруг
За плотными драпри

¹⁾ См. «Новый Мир» № 8—9, 1926 г. и № 2 с. г.

Проклятья раздались
Так явственно,
Как-будто тут, внутри.

— Чухнин! Чухнин!?
Погромщик бесноватый!
Виновник всей брехни!
Разоружать суда?
Нет, клеветник,
Палач,
Инсинуатор,
Я научу тебя, отродье ката, отличать
От правых виноватых!
Я Черноморский флот, холоп и раб,
Забью тебе, как кляп, как клешку, в глотку.

И мигом ока двери комнаты взрлет.
Буфет, стаканы, скатерть,—

— Катер?

— Лодка!

В ответ на брошенный вопрос—матрос,
И оба—вон, очаковец за Шмидтом,
Невпопад, не в ногу, из дневного понемногу
В ночь,

Наугад куда-то, вперехват закату
По размытым рытвинам садовых гряд.

С сердцем, колотящимся в ушах,
В лад шагам и обшлагам бушлатов.

В наспех стянутых доспехах
Жарких полотняных лат,
В плотном, потном, зимнем платье
С головы до пят,
В облака, закат и эхо
По размытым, сбитым плитам
Променад.

Потом бегом. Сквозь поросли укропа,
Опрямью с оползня в песок,
И со всех ног, тропой наискосок
Кругом обрыва. Топот, топот, топот,
Топот, топот,—поворот—другой—
— — И вдруг, как вкопанные, стоп:
И вот он, вот он весь у ног
Захлебывающийся Севастополь,
Весь вобранный, как воздух, грудью двух
Бездонных бухт,
И полукруг
Затопленного солнца за «Синопом».

.....

С минуту оба переводят дух,
И кубарем с последней кручи—бух
В сырую грудь ружнувшего бута.

15. Северный рейд

Стихла буря. Дождь сбежал
Ручьями с палуб по желобам.
Ночь в исходе. И ее
Тронуло небытие.
В зимней призрачной красе
Дремлет рейд в рассветной мгле,
Сонно кутаясь в туман
Путаницей мачт,
И купаясь, как в росе,
Осторопью рей
В серебре и перламутре
Полумертвых фонарей.
Еле-еле лебевит
Утренняя высь.
Каждый, еле слышный шелест,
Чем он мельче и дряблей,
Отдается дрожью в теле
Кораблей.

Он спит, притворно занедужась,
Могильным сном, вогнав почти
Трехверстную округу в ужас.
Он спит, наружно вызвав штиль.

Он скрылся как от колотушек
В молочно белой мгле. Он спит
За пеленою малодушья,
Но чем он с панталюку сбит?

Где след команд?—Неотрезвимы.
Споили в доску, и к утру,
Приняв от спившихся в дрезину ¹⁾
Повинную, спустили в трюм.

Теперь там обморок и одурь.
У пушек боцмана. К заре
Судам осталось прятать в воду
Зубовный скрежет якорей.

А там, где грудью б встали люди,
Где не вагон для байбаков,
Сданы ударники к орудьям,
Зевают пушки без бойков.

¹⁾ Морск. выраженье—вдрыг.

Зато на суше—муравейник.
В тумане тащется войска.
Всего заметней их роенье
Толпе у Павлова мыска.

Пехотный полк из Павлограда
С тринадцатую полевой
Артиллерийскою бригадой
И—проба потной мостовой.

Колеса, кони, пулеметы,
Зарядных ящиков разбег,
И—грохот; грохот до ломоты
Во весь Нахимовский проспект.

На Историческом бульваре,
Куда на этих днях свезен
Военный лом былых аварий,—
Донцы и Крымский дивизион.

И любопытство, любопытство:
Трехверстный берег под тупой,
Пришедшей пить или топиться,
Тридцатитысячной толпой.

Она покрыла крыши барок
Кишащей кашей черепах
И ковш Приморского бульвара
И спуска каменный черпак.

Он ею доверху унизан,
Как копотью несметных птиц,
Копящих оилы по карнизам,
Чтоб вихрем гари в ночь нестись.
Но это только первый ярус.
А сверху бухту бунтарей
Амфитеатром мерит ярость
Об'ятых негой батарей.
Когда сбежали испаренья,
И солнце, колыхнувши флот,
Всплыло на водяной арене,
Как обалдевший кашалот,

В очистившейся панораме
Обрисовался в двух шагах
От шара—крейсер под парами,
Как кочегар у очага.

16. Поднятье флага

Вдруг, как снег на голову, гул
Толпы, как валл, стегнул
Трехверстовой гранит,
И откатился с плит.

Ура-ударом в борт, в штурвал,
В бушприт.
Ура навеки, наповал,
Навзрыд.

Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».

Он вырвался, как вздох
И не его вина,
Что не предостерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.

Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей.

Сигналы «Вижу» дальних мачт
Рябят—(две, три, четыре, пять)—
Рябят—(не счесть, чего желать!)—
Рябят седую гладь.

Простор, ощерясь мятежом,
Топорщится ежом.

Над крейсером взвился сигнал:
«Командую флотом. Шмидт».

Как красный флаг, как флотский знак
К открытию огня.
Вверх и наотмашь, поперек,
Как сабля со стегна.

И мачты рейда, как одна:
Он ими вынесен и смыт
И пережвачен второпях
На двух—на трех—на четырех
Военных кораблях.

Но иссякает ток подков
И облетает лес флажков,
И по веревке, как зверек,
Спускается кумач.
А зверь, ползуший на флашток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский—томящ,
Как рок.

(Окончание следует.)

Старая секретная

Повесть о былом

ФЕДОР ГЛАДКОВ

(Окончание) ¹⁾

Опять бунт

Случилось это как-то быстро, само собою. Я ходил по камерам и чувствовал, что всюду были натянуты нити—множество нитей, как паутин. Стоило оборвать одну из этих невидимых нитей—как грохнул бы взрыв—вой, пыль и звон стекол.

Коридор был пустой, и уже никто не бродил в этот вечер, как это было обычно. Все грудились в нескольких камерах, плотно подпираясь плечами. Говорили вполголоса и ждали. Надвигалась тревога, и в коридорных пустотах темнело предчувствие.

В сумерки, когда еще не зажигали огня, и тени ползали по коридору лохматыми облаками, вздохнула и чавкнула выходная дверь, и вместе с густым туманом ввалилась толпа надзирателей и солдат. Вот этого глухого взрыва дверей и топота ног мы и ждали с мучительным напряжением.

Толкаясь и напирая друг на друга, все хлынули из камер. С разных концов бежали группами и по одному: одни неслись вперегонку, другие задерживались на ходу и останавливались поодаль с любопытством посторонних людей. Я слышал гул голосов позади меня, отдельные визгливые выкрики и чувствовал, что я—один впереди и должен что-то делать, не теряя ни минуты, и не своей силой, а силой, стоящей надо мною и позади меня.

Издали, от двери, потрясая пространство между нами, взвыл утробный бас старшего надзирателя:

— По камерам!.. Марш по камерам сей же минут, я приказываю... Надзиратель, камеры—на запор!..

¹⁾ См. „Новый Мир“, №№ 1 и 2 с. г.

И вперевод ему веселый голос Прахова прокатился по коридору:

— Товарищи, разойдитесь по камерам. Дело—не так страшно: меня только водворяют в камеру смертников. Это—пока что изоляция, а потом видно будет. Разойдитесь и не устраивайте скандала.

И без волнения, с силою, которую я знал только в исключительные минуты, когда мысли четки и упруги, а назад уже нет отступления, я крикнул всю грудью:

— Товарищи, мы не пойдем в камеры. Мы требуем, чтобы Прахов был освобожден. Мы не допустим, чтобы он был изолирован от нас и водворен к смертникам.

Напор толпы и вой голосов смял последние мои слова. Люди задышались, давили меня, толкали вперед и оглушительно кричали, не поймешь что. Куча надзирателей плотным кольцом сжимали Прахова и дрожащими руками вынимали огромные револьверы. Солдаты защелкали затворами винтовок.

Архип кричал неслышанным голосом, весь устремленный вперед, и я не знаю, почему он не бежал к Прахову, когда ноги его не стояли на месте.

— Долой палачей!.. Вырвем Прахова из рук заплечников... Умрем, а не допустим свирепой расправы над нашим товарищем... Долой тюремщиков и висельников!..

Полыхали горячие волны из толпы позади меня. Она лежала на моих плечах судорожной массой и рвалась вперед, но не могла двинуться с места. Эти душные волны колыхали меня, толкали вперед, и я чувствовал себя легким, освобожденным от одежды, от кандалов, от стен и сводов, точно я был вынесен на простор городских улиц и иду впереди многотысячной массы, пожирающей улицы своей машиной, потрясающей солнце и фасады домов. А впереди, в тупике, маленькая растерянная кучка черных теней, которая будет сейчас раздавлена о камни.

Нужно было сдержать толпу и поставить ее на место. Если она прорвет мой упор—она сломит меня и ринется вперед. Будет свалка, бешенство, кровь, огонь и изуродованные трупы. Я повернулся назад и расставил руки.

— Товарищи... стой, товарищи!.. Дайте мне вести переговоры!..

И я видел только искаженные злобой и яростью лица—массу нечеловеческих лиц. Они напирали на меня, были глухи к моим крикам, и я не отражался в их глазах: они были слепы.

Замятин горланил около меня с обычным размашистым добродушием:

— Отпустите Прахова, друзья. Дело говорю. На кой чорт он вам нужен? А мы возьмем его под гарантию: лучше нас никто ухаживать за ним не будет. Хорошие слова говорю, приятели.

И, покрывая рев и грохот стен, опять рывкнул солдатской командой бас старшего надзирателя:

— По камерам, сукины дети, шпана, дармоеды!.. Всех перестреляю, мерзавцев... Солдаты — на прицел!..

Под рев и гул коридорных пустот забрякали железом болты и запоры, толпа черных людей рванулась к стене, и Прахов, сутулясь, исчез за дверью камеры смертников. Опять забрякало железо запоров, и надзиратели с револьверами в руках, и солдаты с винтовками наперевес запрыгали к нам с рычаньем и матом. Меня рвануло назад — не эта кучка тюремной стражи, а обратная волна отхлынувших товарищей. Архип стоял впереди меня и разрывал рубашку на груди. Он уже охрип и кричал один, как безумный.

— Стреляйте!.. Бейте!.. Вот моя грудь — стреляйте!.. Вот моя грудь!..

Он пошел навстречу надзирателям с высоко поднятой крылатой головой, немного шатаясь и выпирая голую грудь.

Позади меня была уже пустота и торопливый топот ног. Я оглянулся. Люди разбежались в разные стороны в паническом страхе. Они прижимались к стенам, терлись о штукатурку, прятались за выступами простенков и по одиночке исчезали в камерах. И, как вождь, который остался один, я вдруг ощутил гаденькую дрожь в ногах и руках и холодную тошнотную струйку в животе. И как-то помимо воли у меня вырвался запоздалый крик:

— Товарищи! по камерам!..

И будто каждый ждал этого крика: все, как крысы, забежали по коридору, с'ежившись, падая, ползая на четвереньках. Сразу все стало пусто — сузились стены, потолок опустился, и куда-то далеко провалилась черная узкая воронка коридора.

Надзиратели стояли с револьверами в руках, а солдаты — с винтовками. Старший надзиратель, опутанный ремнями, мотая бородой, хрипел в злобной радости:

— Ах, вы, сволочь поганая!.. Барбосы!.. Я вас с'ем и кости раскрошу, мерзавцы... Трусые!.. Ишь, хотели показать свою храбрость, дармбеды!.. Я еще вам покажу, какая вам нужна баня... я еще вам покажу, крамола паршивая...

Архип стоял в прежней позе, с высоко поднятой головой и рвал рубашку последними, застывающими движениями. Замятин, перезванивая кандалами, подошел к нему и взял его под руку.

— Ну-ка, пойдем, милый друг. Отдохни немного, голубчик. Шагай!..

Старший надзиратель точно увидел их впервые. Он шархнул к ним и замахнулся револьвером. Я успел подбежать к нему и стал между ним и Архипом.

— Убери руки, мерзавец! Не смей бить.

Он гекнул, как дровосек, и со всего размаху ударил меня по плечу. Я не почувствовал боли, а только — мгновенный потрясающий вздох всего тела, точно меня пронизала молния. Потом взорвалось сердце и обожгло кровью руку и грудь. Мне стало дурно. Шатаясь,

я пошел по коридору, но натолкнулся на стену. Едва владея собой, я добрался до своей камеры и упал на койку.

На другой день

Утром камеры открылись в тишине и головной боли. У всех были измятые водянковые лица, тусклые, припухшие глаза. Они ослизло блуждали по полу, по стенам и окнам коридора и уползали друг от друга. И будто нарочно, день был потухший — дымный и грязный: небо тяжело и густо спускалось до самых крыш тюрьмы бурым арестантским сукном. И снег на дворе был тоже грязный и льдистый, а воздух — мутный и на пальях осаждался сизыми хлопьями инея. Голоса за забором, в соседних дворах, гнусаво глохли и казались очень далекими.

Мы встречались неохотно, избегали разговоров, замыкались в себе и прятали головы в воротниках бушлатов. А когда говорили о том, что было вчера, — говорили натужно и коверкали лица брюзгливой усмешкой.

Только Замятин, как ни в чем не бывало, бродил по коридору и по камерам и, закинув голову на спину, выпирая кадык, орал песни и будоражил всех неунывающим горлопаном:

— Да что вы, чорт вас подери?.. Монастырь у нас, что ли? или психиатрическая больница? Хористы, в коридор!.. Шагай с достоинством и высоко поднятым забралом. Но отнюдь не с тем напором и героизмом, который был проявлен вчера... Ибо песня любит спокойное величие и коллективный согласованный ритм. Мы учимся на собственных ошибках, друзья, и наши страдания и кровь — залог великих радостей и побед...

Он шагал один, оторванный ото всех, размахивал руками и ругался со смаком и вздохами молотобойца. К полудню он всем надоел до изнеможения, и из камер завывали злые охрипшие крики:

— Замолчи, прохвост, каналья!.. Морду побью!..

— Да заткните же глотку этому гнусному шелопаю!..

— Дать ему по шее, идиоту и горлодеру!

— Загибай ему артелью салазки, чорту долговязому... Палач, деспот, душитель!..

А он хохотал в диком восторге, захлебываясь и горланил, как хулиган. И я удивлялся, как он сам может выносить всю эту ералаш и не задохнется от переутомления.

Пришел ко мне в камеру Архип и сидел вялый и больной. В глазах его, чистых, как вода, мутно струились слезы и тоска. Он был в той же рубашке, которая была рззорвана накануне. На груди она трепыхалась грязными тряпками вплоть до живота. Он хватался за голову и грудь и смотрел на меня с лихорадочным криком в глазах.

— Товарищ Угрюмов, что ж это такое? Значит, все пропало? Значит, мы на большее не способны? Я ничего не понимаю и никак не могу согласиться... Что же делать, товарищ Угрюмов?

Он раздражал меня и своим видом и жалобами. Мне было стыдно смотреть на него: растерзанный и опустошенный, он еще дышал вчерашними событиями. То, что скрывали другие, он безобразно выворачивал наружу.

— Что ж, Архип... Идите к Немиловичу — он вас утешит. Он вам скажет, что вся вчерашняя трагикомедия — чудесная мистерия.

— Я уже был у него. Он — счастлив и горит восторгом. Я уже не могу к нему пойти: я боюсь оскорбить его, а я этого не хочу.

— Ага, очень рад. Ведь вы были влюблены в него, как барышня...

— Не будем говорить о нем, товарищ Угрюмов. Он скоро умрет. Мне очень жаль его: он совершенно замучен заточением.

Не сдерживая себя, я едко усмехнулся, наслаждаясь своей злостью.

— Последний отпрыск русской интеллигенции, блаженной и развращенной.

Архип встал, и лицо его исказилось судорогами.

— Я больше не хочу вас слушать. Вы завидуете ему. Вы не любите его потому, что уступаете ему по всем пунктам. Что вы вчера сделали? Захотели быть вождем и — срезались. Я не желаю с вами иметь дело. Кончено.

— Пожалуйста! Всякий мальчишка еще будет мне указывать. Подумаешь. Разорвал на себе рубашку в припадке истерики и думает, что совершил героический подвиг. Молокосос!

Он в ужасе попятился от меня к двери, схватился обеими руками за голову, и лицо его посерело, как у трупа.

— Что такое? Как вы смеете, товарищ Угрюмов!.. Я вынесу это на общее собрание. Я не могу этого терпеть.

— Сколько угодно, пожалуйста. Плевать я хотел... судите... Шпана и трусы!.. К чортовой матери!..

Он выбежал, разбитый, с паническим страхом в глазах, а я лег на койку и, остывая, чувствовал, что я отравлен, что я — другой человек и этого нового в себе человека не узнаю и презираю.

Митря тоже лежал на койке, вздыхал и мучился в тоске. Он не встал к утреннему чаю, барахтался в одеялке, сопел и шумурыгал носом, как дурачок.

В тот момент, когда Архип вышел из камеры, он зашевелился, сел на койке и посмотрел на меня тифозными глазами. Отвернулся, опять посмотрел и плюнул. Потом вздохнул и во вздохе выворотил многословную матершину. Опять лег и промышчал в потолок:

— Шкура ты и шантрапа. Башкой бы тебя в парашу, осина-борона...

— Ты что, Митря, обалдел, что ли, после вчерашнего?

— Ботало ты коровье, мызгун и стерва. Обидел парнишку, осина-борона. За что? Жулики вы и мордоплюи. Городите вы прясло не слегами, а навозом. Бейте мужика в лоб и в зад — мало еще били. Ну, дай срок — он, брат, свое возьмет: учухаете, какой у него крепкий лоб, а от тяжелого зада ёкнете...

Он тянул свои слова назойливо, угрюмо, причмокивал, глотал слюну и рычал носом.

Я вышел из камеры, а меня провожали злые глаза с тусклой животной затаенностью. Эти глаза не забывают обид и несут их в себе до самой могилы.

Вечером опять пришел ко мне Архип. Он отдохнул, надел другую рубашку, причесал волосы, и глаза его опять стали прозрачные и чистые, как вода. Он подошел ко мне, смущенный и теплый.

— Товарищ Угрюмов, мы должны забыть, что у нас было утром. Если я вел себя гнусно — простите. Я был несправедлив к вам. Ведь я еще ничего не сделал для революции, а вы идете на каторгу.

Я засмеялся, чтобы скрыть свое волнение и потряс ему руку.

— Все вышло глупо, Архип. Забудем. Баста!

Он сразу расцвел и загорелся и стал опять прежним, бодрым и радостным.

— Сегодня ночью дежурит Мизинчик. Я уже договорился с ним. И взглянул на меня исподлобья с видом заговорщика.

— Давайте с вами — на ты. Ведь мы же родные по духу.

И мы опять крепко потрясли друг другу руки.

Мне было хорошо с ним: он весь был на виду и прозрачен, как его глаза. И не было в нем ни хитрости, ни скрытой задней мысли. Сердце мое волновалось от нежности к нему.

— Мизинчик поможет, товарищ Угрюмов. После поверки я перейду на время в твою камеру. А потом вместе с тобой пойдем к Прахову. К волчку.

— А ты знаешь, Архип, что Прахов — действительно не Прахов, а Чугунов. Ты знаешь, что ему грозит смертная казнь?

— Я давно догадывался. Это — странно. Мне все время сверлило гвоздем, что Прахов не может быть обыкновенным, рядовым борцом, что он несет в себе больше, чем многие из нас. Меня сейчас это не удивляет: я ожидал этого. Не знаю почему, но мне было обидно и досадно, что он выдает себя за ничтожную пешку.

— Ты не допускаешь мысли, Архип, что Прахова кто-то выдал?

Он испуганно вздрогнул и выпрямился. Глаза его стали огромными от ужаса.

— Как? Неужели среди нас есть шпионы и провокаторы? Ведь это же невозможно.

— Почему невозможно? Ничего удивительного нет. Я, например, недавно получил записку с воли, а в ней сказано, что девушка, которую я люблю, серьезно заподозрена в провокации.

Он сидел напротив меня, на койке Прахова, и не мог оторвать от меня глаз, осовевших от ужаса.

— Я не могу этого понять. Точно пропасть. С этим нельзя жить. Сознание, что любимая девушка... Как вы переносите это, товарищ Угрюмов?

...Ольга. Где она теперь и что такое Ольга? У меня только тоска и неутолимая боль. Ольги нет и где она — неизвестно, но боль осталась, и рана в душе — неизлечима. Она глубока, и боль ее похожа на тихие, неощутимые волны. Я живу только надеждой на неожиданную радостную весть, и душевная язва скрыта под покровами этой надежды.

Мне хотелось рассказать Архипу об Ольге и моей тоске, но я испугался: нельзя тревожить себя в эту минуту — я могу выйти из строя и жить только своею болью. Не сейчас: это придет само собою — все должно совершить свой законченный круг.

— Так вот, Архип, на счет Прахова. Его, кажется, выдал Дынников. Не думаю, чтобы это было обдуманно. Дынников — в белой горячке, и возможно — бредовая болтовня... У них — сложная и нелепая история в личных отношениях.

И я рассказал ему то, что слышал от Прахова в дни голодовки.

Он решительно и упруго положил обе руки на стол и в зрачках у него вспыхнули капельки восторга.

— Дынников — хороший парень. Исключительная натура. Он погибнет: ему уже нет спасенья. А Наташу страшно жаль: вероятно, чудесная женщина. Но, как может революционерка дойти до такой безнадёжности? Тут что-то от дынниковщины...

Митря сидел с ногами на койке и глядел на нас нелюдимо, с любопытством случайного человека. Архип стряхнул лучистые капельки с зрачков и украдкой, в прищурку, стал общупывать Митрю с головы до босых ног. Мы встретились взглядами, и зрачки у него стали сжиматься и разжиматься. Язык глаз в тюрьме так же ясен, как язык слов, и я увидел в глазах Архипа вопрос: а вдруг этот предаст?

Митря усмехнулся с угрюмой враждой и рыхло свалился на койку.

— Нахлобучат вам урыльники на башку, шерстобиты. Опять масло запахтели, осина-борона. Не дровичте глядевы — не из робких. Ишь, дудоры!..

Архип по-мальчишечьи трепанул волосами.

— Что такое — дудоры?.. Чудак! Мы — дудоры, а ты не такой же дудор?

— Вы только задом умеете крутить, осина-борона. Ни одному вашему кряку веры нет. Вы меня не шевельте: мое место — лежачее. Хвостом заденете — хвост отгрызу. Знаю я, чем вы воняете.

Архип вскочил с койки и озлился. Он поднял плечи к самым ушам и весь напыжился, как петух перед боем.

— Это еще что такое за лягавый пес? Не вздумашь ли ты еще брехать на нас по начальству? Смотри, брат, тут умеют пришивать на все четыре гвоздя.

Митря медленно поднялся на локте и долго по-бычьему выворачивал белки на меня и на Архипа.

— Ых, вы, сороки-белобоки (и — мат, непосильный для его языка)... Да ежели вы... Да я вам сапатки наквашу в коровью ластицу... Кубышки!..

Я дружелюбно засмеялся и взял Архипа за руку.

— Не надо, Архип, перестань. Митря — парень верный и стоит за всех горой. Он тоже ведь страдает за правое дело и всегда — за артель.

Митря размяк и угрюмо ухмыльнулся.

— Мели, мельник, размолом, а отруби — дома, через сито. Дудоры!...

Будто по уговору, мы с Архипом вышли из камеры.

В коридоре было пусто. Даже Замятин замер в молчании: должно быть, устал от рева и теперь спал крепким сном здорового человека, не отравленного думами.

Мизинчик бродил по коридору, улюлюкал ключами и мычал в бороду дьяконским басом. Он прислушивался только к своему голосу: сгорбился, отсырел и голову вдавил в плечи. Вероятно, он плавал в своей песне, и она грохотала у него внутри, потрясая сумбурные глубины его души, как вой ветра в глухую ночь осенней непогоды. Мы притаились и стали прислушиваться. Мы никогда не слышали, чтобы Мизинчик пел наедине с собою в наших казематах, и одно то, что он зарычал мелодией и ушел в другой, внезапный для него, мир, — мы, пораженные, остановились и прилипли к стене. Он выводил „Похоронный марш“.

— Ты слышишь? Что это значит?

— А это значит, Архип, что и для тюремного стража не проходит даром дыхание революции. Эти моменты надо ценить. Не будем ему мешать

Но Мизинчик уже увидел нас и потух. Он круто повернулся и побрел вразвалку в ночную тьму коридора.

— Ну, так о чем же ты сговорился с Мизинчиком, Архип?.. Ах, да, насчет свидания с Праховым.

— Но я не сказал самого главного, товарищ Угрюмов.

— А ну-ка... Только, пожалуйста, без утопий.

— Почему—утопия?.. У нас почему-то всякое смелое дело считается утопией. Для трусов каждый шаг—утопия.

— Не считаешь ли ты и меня трусом?

— Не говорите мне никогда этого паршивого слова — утопия. Я его терпеть не могу.

Он оборвал себя и быстро наклонился к моему уху.

— Прахову необходимо немедленно бежать... бежать, не теряя ни одного дня, иначе он погиб. Они расправляются с такими быстро и незаметно. Ты знаешь, где они устраивают полевые суды? В тюремной церкви, при свечах, и стол у них — на амвоне. Это мне сказал Мизинчик.

И потом вслух сказал почему-то необычно громко:

— Это ты считаешь утопией?

Вместо ответа я остановился, и мы обменялись взглядами: я — изумленным, он — торжествующим и радостным. Эта мысль уже волно-

вала меня целый день, но я старался заглушить ее хозяйственными заботами по коммуне: она казалась мне несбыточной, безумной и праздной. Она и сейчас взволновала меня в словах Архипа, но и сейчас она показалась мне шальной, а потому и неосуществимой.

— Имей в виду, Архип, что это — невыполнимо, хотя это и не утопия. Не забудь, что мы сидим за пятью concentрическими стенами. Если бы даже была удача в центре, остальные кольца оказались бы ловушкой.

Он сразу вспыхнул, заискрился и нервно заторопился.

— Нет, нет, товарищ Угрюмов. Ты послушай... Я очень обдумал... Это так просто... Ты послушай...

— Больше ни слова, Архип: идет Мизинчик. Об этом не говорят ни вслух, ни шопотом, а особенно в коридоре. Молчок. Пойдем—сейчас будет поверка.

Я был бессилен перед его постоянным горением. Он был всегда праздничный, непотухающий, всегда с новыми беспокойными мыслями. Он врос в меня, незаметно и быстро. Мне было тоскливо и грустно, когда он долго не являлся ко мне. В эти минуты я бродил по коридору, по камерам и искал его с бессознательным нетерпением. А он был непоседа: никогда не оставался в своей камере. Целый день бегал из одной камеры в другую и говорил с каждым по несколько раз с одинаковым возбуждением и неутомимым любопытством ко всем этим людям и их делам. Я знал немногих из этих людей, со многими не сказал ни одного слова, и они для меня были далекие, тусклые, слишком обыкновенные, как тысячи тех маленьких жизней, которые прошли мимо меня за всю мою жизнь, не оставив следа. Их—много, попавших сюда случайно и по делам их. Придет час—их отправят в неизвестные дали, и я их забуду в тот же день, как забывал многих, и лица их навсегда потухнут в моей памяти. А он, Архип, знает уже всех—знает, чем живет каждый из этих семидесяти человек во всех тринадцати камерах, знает их прошлое, знает, какие они сказки творят о будущем. И я видел, что он всем был близок, и все были рады общению с ним и улыбались, когда он смотрел им в глаза.

Свидание у волчка

Митря похрапывал сытно и безмятежно. Архип лежал на койке Прахова и никак не мог успокоиться. Он рассказывал о своей матери—рассказывал долго, и ресницы у него искрились на мутном огне. Мать уже стара и работает до сих пор: стирает белье на чужих. Сестра учится на швейку.

— Одного я не могу изжить, товарищ Угрюмов. Сестра пропадет. Но не это... А вот—руки матери. Знаешь, они у ней всегда в язвах—простираны. И такие выносливые. Смотришь и чувствуешь, что эти руки четверть твоей жизни носили тебя. Сколько она перелила в тебя крови и сколько отдано силы! Ничего—ни глаза, ни лицо, а вот эти руки... Были моменты—особенно, когда я сидел первые месяцы.

в тюрьме,—я рыдал целые ночи от этих рук. И в тюрьме я впервые постиг, что за эти руки я должен отдать всего себя революции... самой беспощадной борьбе... и с радостью умереть...

Я слушал его, и эти грустные слова волновались в груди неумирающей болью воспоминаний: у моей матери тоже были замученные руки, и я сам плакал когда-то от жалости к этим материнским рукам.

Он был полон образами ранней юности: они еще трепетали не остывшими впечатлениями — подпольная работа, конспиративные собрания молодежи в глухие ночи где-то в развалинах, на краю города, или в лесу, в праздничный день, рабочие кружки, где он был пропагандистом, пылким и страстным, но беспомощным и наивным...

Потом мечтал о социализме. Как ребенок, спрашивал меня, как я представляю социализм. Я отвечал ему сухо и бледно — книжными словами. А он слушал внимательно, но глаза его думали свое. Не выдержал, заволокнулся и смял мои слова.

— Нет. По-моему, не то... Что-то слишком похоже на алгебраическую формулу. Я думаю не так. Ты понимаешь? Это — невиданная и неизведанная красота. Это — сказка, полная чудес. Но эта сказка — не сказка. Ведь будущее всегда похоже на сказку, потому что тогда не будет того, что есть сейчас, а будет новое, чего не видел никто. Все это мне представляется хрустальным, воздушным: прозрачные дворцы, солнечный океан, люди реют в воздухе, как птицы, облака подчиняются воле человека, всюду — золотой и серебряный блеск машин. И нет тюрем, нет оград, заборов и каменных стен, нет горя и несчастных, натруженных рук. Нет, это невозможно передать словами. А мы, наша эпоха, будет казаться проклятьем и ужасной тюрьмой.

— Ты — мечтатель, Архип. Революционеру вредно мечтать: наша энергия должна быть направлена не на вымыслы, а на практическую работу.

Он вскочил с койки, и лицо его стало суровым и гневным.

— Неправда. Как ты не понимаешь, что революционер только и силен своей мечтой. Грош цена твоему революционеру, который вязнет в будничных лозунгах, как в болоте. Энтузиазм революционера, это — мечта. Отсюда — герои, вожди и великаны мысли.

Я любовался им и чувствовал, что у меня у самого глаза наливаются восторгом и радостью.

Мизинчик тихо отпер нам дверь, и мы вышли в одних чулках. Я обеими руками держал кандалы. А Мизинчик пятал глаза под шерстью папахи и улыбался одной бородой.

— Удавят меня вместе с вами, крамольники... Чую, до добра не дойти.

И мне было смешно: от кого он скрывает свои поступки? Зачем эти воровские вылазки? Ведь Мизинчик — один на всю ночь в этом коридоре. Может быть, он прячется от самого себя, а может быть, хочет обмануть тишину?

В волчке смеялся глаз Прахова. А я дрожал от радости и любви к нему: точно мы не видались уже много дней, и мне хочется сказать ему такие слова, которые не уместятся в груди—они кипят и рвут сердце. Это были трогательные и бодрые слова: он, Прахов, нам родной, его нельзя оторвать от нас, и мы пойдем ради него на смерть, на голод, на побоище, на всякие жертвы. Но слова громоздились в горле, мешали дышать, а вдоха одного было мало, чтобы выдержать их сумбурный напор. И слова эти не сказались, а только растекались дрожью по нервам.

— Как видишь, Угрюмов, я опять воплотился в прежнюю шкуру. Если меня не отправят немедленно в мои родные палестины, то с удовольствием прикокнут в этих пещерах. Такое дело. Ну, как? Камеры живут, как жили, как-будто ничего не случилось. Теперь оппозиции не с кем драться.

А я торопливо шептал, перебивая его слова:

— Я пришел увидеть тебя, Прахов, и спросить, что делать. Надо делать что-то немедленно. Не партизански, а организованно. Давай быстро обсудим.

К моей щеке прижался горячей щекою Архип. Он тоже струился мелкой нервной дрожью.

— Товарищ Прахов... ну, пусть Чугунов, но вы для меня пока Прахов... Не в этом дело... Мы только хотели предложить вам... надо воспользоваться временем...

— Ну, ну, хорошо... Я уже по глазам вижу, что вы хотите предложить. Идите, ребята, обратно: не подведите Мизинчика.

Но Архип, не слушая его, торопливо шептал и задыхался от волнения.

— Нет, вы слушайте... План очень прост и легко осуществим... Во время проверки... камера ваша открывается... и вы...

Прахов строго цыкнул на него, и глаз его стал большой, круглый и злой. Затененный нашими лицами, он заполнял весь волчок и разбухал, как в лупе.

— Вы с ума сошли, черти. Идите по камерам!

Потом вдруг запнулся и ласково засмеялся.

— Ну, как там Митря? Он—хороший парень. Ты его не обижай, Угрюмов. Нас здесь трое. Ожидаем очереди, кому надлежит лететь в небесные пространства. Должно быть, придется быть званым и избранным. На пир к сатане. Придется надевать белый фрак и серый галстук. Говорят, там не принимают без этих причиндалов.

И ни боязни, ни дрожи в голосе не было у Прахова: каждое его слово было шуткой грубоватой и немного наивной.

— Протяни палец, молодой товарищ: я тебе пожму его за твой героизм. Ты хорошо держал себя. Из тебя выйдет матерой боец. Голыми руками тебя не возьмешь. Молодец!

Архип радостно просунул руку в волчок и залепетал, как маленький:

— Товарищ Прахов... для меня жизнь только в революции... Я всего отдал себя... и только для борьбы...

— Правильно. Валяй и дальше в этом роде. Главное, не унывай и ни на минуту не теряй веры в победу рабочего класса. Время теперь подлое, предательское, трусливое. Трудное время и ответственное. Нужны большие силы, чтобы пережить его и не скопытиться. Пусть бьют тебя, травят, распинают, но не залезай в подворотню. Подворотня, это—скотский двор, где ничего нет, кроме навоза и свиного хрюканья.

Архип прижался ко мне, вцепившись пальцами в плечо, часто глотал слюну и вздрагивал нутром. Мне показалось, что он плачет.

Не зная, почему — может быть, нужно было прорвать слезную пленку в груди,—я сказал неожиданно и совсем не кстати:

— Прахов, ты помнишь ту записку? Она — об Ольге. Ты читал ее? Муха, это — Ольга. Я не могу этого допустить... и у меня все спуталось...

— Ну, ну... Что поделаешь — зыбучее время. Не знаю, что тебе сказать. Я тогда сбрехнул сдуру. Ты не придавай значения и держись крепко. Впереди — всегда цель и надежда. А стал на месте, значит потянет назад, и тут ты сгибнешь, как сукин сын. Знай, брат, что под ногами — все-таки твердая почва. Только не теряй головы.

Он оборвал себя и оглянулся. Из-за его плеча я увидел камеру в оранжевом полусумраке. На койках сидели два парня в нижнем белье и, скрючившись, играли своими кандалами.

Прахов усмехнулся и прошептал едва слышно:

— Работа — на всю ночь. Учатся проделывать трудный фокус.

Сначала я не мог разобраться, что они делали, и только в последний момент я увидел, как у одного из них вспыхнули тусклыми пятнами руки и ноги. Парень в путаных пепельных волосах, с пушистыми щеками и подбородком, разгибал ступню и старался вытянуть ее в одну линию с голенью. Он учился снимать кандалы.

— Ну, идите, ребята. Имейте в виду, что я не хочу итти на виселицу. И я не пойду. Если потребуется ваша помощь, я скажу вам. Я уже готов... не к смерти, а — к жизни... Это не так легко в моем положении.

Архип опять рванулся к волчку и зашептал горячо и страстно:

— Товарищ Прахов, не лишайте нас возможности помочь вам хотя бы в мелочах. Если что... это помните... я буду с вами...

Обалдевший от тревоги, около нас стоял Мизинчик и теребил за рукава и того и другого.

П о б е г

Перед проверкой камеры запирали за полчаса, а в семь часов входил помощник с надзирателем, который вступал в ночное дежурство. Открывались камеры по порядку с № 1 по № 13. Первым входил помощник, а за ним — надзиратели. Они безмолвно стояли посредине камеры не больше секунды, внимательно шупали глазами заключен-

ных, обстановку, стены и — уходили. Звякали запоры, и камера захлопывалась на целую ночь, до утренней поверки. Коридор гремел железом и вздыхал хриплыми шагами. Так было каждый вечер, когда вешались полупудовые замки на двери; так было каждое утро, когда эти замки, как отрубленные головы, ржаво разевали пустые рты.

В этот вечер я лежал на койке и дрожал в лихорадке. В коридоре застойно глохла усталая тишина, а мне казалось, что стены тюрьмы потрясаются от гула, и воздух клубится в порывах и вихрях. Митря успокоенно и сонно попыхивал своей цыгаркой, задумчиво шмыгал носом и мычал от зевоты. И этот дремотный вой делал все простым и тяжелым.

Я чувствовал только самого себя, — не себя, а сердце: проходили через него горячими всплесками волны, и я качался на них — взлетал и падал, замирая.

Ждал я только этой последней минуты, — ждал, как страшного удара, как взрыва, который разнесет тюрьму в брызги и пыль, — ждал, как последнего часа моей жизни, который несет мне что-то большее, чем смерть. Может быть, то же самое переживают приговоренные к казни; может быть, то же переживал бы человек, если бы он сознательно ждал часа, когда он будет выходить из утробы матери.

Голова — пустая; бездумная муть заливает клеточки мозга, и уродливые, рваные образы кружатся и летят, кувыркаются и реют в фосфорическом хаосе.

Впрочем, Ольга... Эта боль уже глубоко и меня не тревожит. Меня уже ничто не тревожит: прошлое умерло и не воскреснет, и будущее сгущено только в одну точку — в эти непереносные минуты, горящие копотным язычком пламени тюремной лампочки в стеклянном пузырьке с отпечатками пальцев. Вот пройдет еще несколько этих огненных мгновений, и будущее взорвется грохотом железа и звериной борьбой за жизнь. Свобода! Свобода! Она рождается из крови и рычит оскалом зубов. Надо пройти через ужас, чтобы уметь распоряжаться жизнью и увидеть ее красоту.

Как только запирали камеры, Митря сейчас же ложился на койку и расслабленно замирал в дремоте. Он спал много и жадно: запертая камера для него была тихой, уютной колыбелью. А сейчас вот он не спал: возился, вздыхал и чесался в тоске. Может быть, воздух был уже отравлен испарениями нашей крови; может быть, наши нервные узлы заряжали своими токами всю эту массу нервных сплетений, и все переживали в эти миги странную тоску тревожных предчувствий.

Эту тайну знали только мы — я и Архип.

Митря поднял над собою руки и бросил их за голову.

— И что делают, что делают с рабочим человеком!.. До чего сдружились, до чего опустошили!.. Куда пойдешь, кому скажешь?.. Что получилось, осина-борона: конь без телеги, вожжа без коня, мельница без воды... Вот оно как, братцы милые, друзья и сродники!..

И от этого мычания Митри все опять стало обычным и устойчивым. Что если эти минуты пройдут так же дремотно и покорно, как всегда? Я не знаю, что со мною будет: может быть, припадок; может быть, я ударю Митрю, а, может быть, просто закоченею на длинный ряд каменных дней.

Я не мог уже лежать и ждать в терпеливом молчании. Это — острая грань, когда жизнь ломается, как палка, а следующий час уже будет иным, и ты будешь в неиспытанном пересечении с миром.

Я прошелся по камере, бессильный в борьбе со своим сердцем.

— Митря, вставай, дорогой друг. Сыграем с тобою в шашки. Ломает тебя какая-то нелегкая.

— Да как же, милый человек! Раздумался о домашности и прямо, скажи на милость, душа — сирота. Что делают, что делают с нашим братом!.. Сколь трудящего люда гниет по острогам! Сколь сгибло под кнутом и под пулей! Сколь удушено и замучено!.. ай-ай-ай!..

— А ты забыл, как о тебе здесь заботятся? И угол, и харч, и работой не утруждают.

— Эх, осина-борона! Память у человека, как соль: ее жуешь вместе с хлебом. А все же из брюха она идет не в парашу, а в кровь. Растревожь кровь, она сейчас тебе — в голову, и память тогда дюже соленая. А теперь вот места не нахожу себе: все о Прахове думаю, о родном человеке. И за что пропадает его отчаянная башка?

— Да, брат. Прахова скоро повесят. Может быть, этой ночью. Устроят полевой суд и — оттуда с арканом на шее на перекладину.

Он сидел передо мною около стола, и лицо его дергалось в младенческом изумлении и ужасе. Расставлял хлебные шарики на шахматной дощечке и не видел их: они рассыпались без всякого порядка — и на белых и на черных квадратах, — а он мешал их дрожащими пальцами, как глупенький. Вздрагивала челюсть, и глаза кружились в слезах.

Я боролся с собою: сказать ему или остаться немым, чтобы оглушить его через несколько минут?

— Вот что, Митря... Только ни звука — молчи, как могила. Хочешь, мы устроим побег Прахову?

Он вздрогнул, сбледнел, и лицо помертвело от внезапного удара. Вероятно, такое лицо у него бывало во время ослепляющей грозы, когда гром глушил его и валил с ног. Потом я вдруг заметил, что он стал наливаясь кровью, выпрямлялся, рос и весь засветился из глубины. Рубашка прыгала на груди, и на висках надулись жилы. Он встал и задохнулся от крика.

Я сделал скучное лицо и зевнул.

— Ну, не дури, Митря. Садись, расставляй шашки. Я пошутил. Он испугался и сразу сел в беззащитной растерянности. Потом опять рванулся с табуретки и замахнулся, слепой от ярости.

— Я тебе морду побью, собака, прелея гадина!..

Я схватил его за плечи и тряхнул изо всей силы.

— Дикарь! Иди на свое место и ложись спать. Чучело!

Он долго смотрел на меня слепыми глазами, порывался что-то сделать, что-то крикнуть из самого сердца, но не мог. Потом обмяк и сырым, неустойчивым шагом полпелся к своей койке.

Вдохнула выходная дверь и глухо тяпнула, как топор. Шаги принесли снег со двора, и подошвы заскрипели морозом.

Мизинчик гремел ключами и бормотал рапорт, а вперебой ему, на-ходу, лаял надорванный голос Дынникова:

— Ну, отверзай свои хляби, Мизинчик. Камера № 1 — рыцари пеньковой подвязки. Шире двери — надо с ними побеседовать. Давно не видался. Шагай гамузом.

Голос его был трезвый, но ломался истерикой.

Грохот замка и задвижек оглушил меня, и сквозь визг крови в ушах я услышал всхлипывающий вскрик Дынникова:

— Ты уже здесь?.. Уже не Прахов, а Чугунов?.. Поздравляю!..

Потом все затихло. Мне показалось, что я теряю сознание. Было мгновение, когда я уже не владел собою, и из горла уже рвался крик:

— Прахов! не теряй ни минуты!..

И сразу же по коридору шарахнулись какие-то огромные тени, глухо застонали, забились и растаяли. Где-то далеко крякали, задыхались люди, точно боролись с обычным вкусом, переплетаясь мускулами. И не было тревоги в коридоре: камеры успокоенно рокотали запертыми голосами, и никто не знал, что происходит в камере № 1, и какие события обрушатся на наш застывший мир через несколько секунд. Где-то грустно пели два голоса: „де ты бродышь... де ты бродышь, моя доля...“ Где-то смеялись.

Я стоял у волчка и прислушивался с затаенным дыханием. Митря лежал на койке неподвижно и сонно: его тоже не коснулось дыхание тревоги. А я точно вынырнул из мутного омута: на душе стало ясно и тихо, и мысли были четки, неторопливы и прозрачны.

А потом все сразу вздрогнуло и колыхнулось. Почудилось, что даже в лампочке затрепыхался язычок пламени, точно от порыва ветра.

Голос Прахова, необычно жесткий и сверлящий и необычно веселый, пропел по коридору, как команда:

— Товарищи, сохраняйте спокойствие и тишину. Заткните глотки, а копыта на место. Мы оставляем тюрьму. Кто с нами, выходи. Сейчас пройдет товарищ с ключами. Но условие: выбор сделаю я. Остальные будут оставлены на замке. Большой риск — не скрываю. Провалимся — петля, а кто не будет мне подчиняться — застрелю без разговоров.

Около меня толкался и царапался к волчку Митря.

— Пусти, чорт, морда... осина-борона!.. Сапатку побью... Уйди!..

И вдруг завыл по-собачьи:

— Прахо-ов... миляга!.. Али забыл?.. Прахов!..

В волчке забултыхалась горбатая тень, и меня оглушило железом. Распахнулась дверь, и тень исчезла, а где-то рядом опять звякнуло железо.

Митря выбежал из камеры, как выбегал обычно по утрам: голову — вперед, а руки — наотмашь. Широкими взмахам ног, задыхаясь, пробежали еще трое. Архип споткнулся около моей камеры и прохрипел, не владея восторгом:

— Скорее!.. Не теряй ни минуты... Беги!.. Сбрось кандалы...

И исчез, как призрак.

Я вышел в коридор и сразу же был подхвачен какой-то большой воздушной волной. Эта странная волна отбросила меня назад, по коридору, а потом опять хлынула обратно и неудержимо понесла вперед. Я физически ощущал дыхание этих волн и не мог им сопротивляться.

Навстречу мне волочили белую куклу двое парней. Они обливались потом, и глаза их набухли страхом и бешеной радостью. Куклу положили поперек коридора, лицом кверху. Руки были закручены за спину, и тело лежало на них всюю тяжестью. Ноги тоже были туго запутаны веревками из полотна. Я узнал Мизинчика. Он смотрел на меня обалдевшими глазами оглушенного животного. Подштанники и рубашка трепыхались на нем судорожной дрожью: вероятно, и от холода, и от страха. Я прошел мимо и забыл про него, потому что навстречу мне несли еще одну белую куклу, а за ней — еще. Дынников взглянул на меня спокойно. Мне почудилось, что он даже улыбнулся своей обычной усмешкой в усах. Лицо у него было в желваках от недавнего пьянства, но уже промытое трезвой и надрывной мыслью.

Двери камер кряхтели и задыхались. Кто-то ссорился недалеко от меня.

— А я тебе говорю, что не дам... К чорту!.. И ты не имеешь права...

— А ты не смеешь... Кто ты такой?.. Отпирай, товарищ... тебе говорят отпирай!..

А далеко визжал нетерпеливый, младенчески странный голос:

— Ну, и я же... ну, и что же это, товарищи?.. Ну, сюда же!.. да ко мне же!..

И опять:

— Я сказал: не позволю и — не позволю... Я не хочу под военно-полевой... Это — идиотизм...

Кто-то бегал от камеры к камере и брызгал слюною:

— Тише же, чорт бы вас побрал, дураков!.. Бараны!.. Тише!..

Около выходных дверей в корпуса стояли двое в черных шинелях и лохматых папахах. Они прислушивались и дрожащими руками затягивали ремни. Прахов — тоже в черном тулупе и папахе — очень похож был на Дынникова. Он стоял посредине коридора и тихой командой, немного гнусаво, басил в кучку людей около него:

— Как только войдет—немедленно за горло. Не забывать: прежде всего сделать немым. В рот—затычку. Раздевать, класть рядом с остальными. Надо выудить старшего—и тогда все пойдет по маслу.

Он стоял совсем неподвижно и даже как-будто скучал от ожидания.

— Взять себя в руки и не терять головы. Кто дрожит—отправлю обратно. Это—не игра в бирюльки.

Он поманил меня пальцем и сам шагнул ко мне, но меня будто не видел. Лицо его было странно чужое, деревянное, почти тупое.

— Вот что, друг. Иди-ка в камеру. Тебе здесь не место. Ты вздумал бежать? да еще в кандалах? Марш обратно и не смей выходить.

— Я не пойду в камеру, Прахов. Я не желаю оставаться.

Он вынул револьвер, прищурил один глаз, и губы у него стали тонкие и белые.

— Я тебе приказываю. Не заставляй прибегать к крутым мерам. Марш!

— Почему другим можно, а мне нельзя? Я протестую, Прахов.

— Если ты скажешь еще слово, я пришью тебя, как предателя. Ну! Шагай!

Я почувствовал, что слабею, и у меня нет никаких сил к сопротивлению. Если бы он даже не пригрозил револьвером—все равно я не выдержал бы его лица.

— Подбери кандалы, не греми. Иди, ложись на койку. Я знаю, что делаю. Прощай! может быть, не увидимся.

Навстречу мне размашисто шагал с папиросой в зубах Замятин. Он был без кандалов и выбрасывал ноги необычно легко и широко, должно быть, от непривычки.

— Спокойной ночи и счастливо оставаться. Чтобы бежать из казематов, надо иметь веселые и упругие ноги.

Я оглянулся. Прахов сортировал людей: брал за рукав, дергал к себе или отбрасывал в сторону. За мной нехотя брели еще несколько человек.

Уже из камеры я услышал, как Прахов приказывал Замятину:

— Опять в камеры и—на запор. А этих расставь по местам.

И без обычной дурашливости, но дурашливыми словами Замятин ответил:

— Принято к неуклонному исполнению, что подписом и приложением печати удостоверяется.

Зашоркали спутанные шаги по коридору и звякнула неосторожная россыпь ключей.

— Валяй, ребята, во-свояси. Не всякий глаголющий: господи, господи! внидет в царство небесное. Там, оказывается, тоже действует закон искусственного подбора.

Голос Архипа был рваный, но упругий и неподатливый:

— Я не пойду, Прахов. Можешь меня застрелить, задушить, но я не пойду. Употребил насиле, буду орать, драться, но в камеру не пойду. Я решил и выполню.

И по голосу Прахова видно было, что он усмехается.

— Можешь оставаться. Потом не скули, ежели что случится.

— Не беспокойся, пожалуйста, Прахов. За свои поступки отвечаю я. А за трусость можешь меня расстрелять.

В камеру вразвалку вошел Митря и кувырнулся на койку.

— Прогнал сапатка. Говорит: тебе нечего бежать— все равно скоро на волю. Оно — правильно: зима — куда пойдешь? Ну, только мне охота больно кости помять начальству. Облапил было одного гуся — прямо сердце занялось — а он, Прахов, сволочь, цап меня за шиворот: чуть не задушил, осина-борона.

Я стоял на пороге и смотрел в коридор. Все было спокойно: камеры дышали уже обычным ночным безмолвием, но в этой тишине была гнетущая дрожь и взрывы сердца: вот-вот кто-то забьется в истерике и захлещет в пустоте оглушительным безумным визгом. Потом обезумеют другие, и задрожат стены от плача и звериного воя.

Замятин, пыхая папироской, по-хозяйски подходил к камерам и широким взмахом загонял любопытных обратно в двери. И каждый взмах его руки пел с беззаботным весельем:

— Ну-ка, смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою... Заходите в свои раковины и прячьте головы под камень. Учитесь оберегать свой покой у страуса: мудрая птица.

И все послушно прятались в камеры и растерянно икали от смеха, застрявшего в горле.

Он перезванивал ключами и грыз двери тяжелыми запорами.

Двое смертников, которые черными надзирателями стояли у выходных дверей, точно по команде подняли револьверы. Все, кто стоял около Прахова, мгновенно исчезли в провалах дверных каменных ниш. Прахов браво пошагал к двери. Вместе с густым облаком пара вошел старший надзиратель. В этой клубастой морозной мгле он сразу растаял, а с ним растаяли и другие две черные фигуры. А когда клубы пара осели вниз и расползлись по полу, около двери пыхла изнуренная возня. Собачий придушенный хрип разорвал тишину:

— Он кусается, сволочь!.. Дави ему горло, стерве поганой... Его надо удавить, палача...

Спокойный и попрежнему сверлящий голос Прахова раздавил этот лай:

— Молчать! Хоть бы нос отгрызли — молчи про себя. Ты знал, на что шел — не жалуйся. Заткните ему глотку хорошей затычкой.

Из стены вырвались остальные ребята и с немим остервенением набросились на новую добычу. И опять так же торопливо и дружно сволокли и эту белую куклу к первым трем. Издали они бледнели нижним бельем в пыльном полусумраке, как трупы повешенных, снятые с перекладины.

Замятин с тем же беззаботным весельем захлопнул и нашу камеру. Когда я был уже за порогом, он протянул мне руку и сразу же стал совсем другой — тревожный, бледный, похудевший.

— Ты должен остаться. Это — ясно. Мы решили тебя оставить в стороне. А я люблю риск. В эти паршивые времена я все равно приговорен. Если приспичит — убежишь: торопиться тебе нечего. Ты и не догадывался, что этот побег мы с Чугуновым, иначе рекомо — Праховым, порешили еще в дни оны. Прощай и мужайся. Тут нужны здоровые нервы и мускулы.

Были минуты, когда в коридоре затихало, как ночью, во время сна. Не слышно было ни шагов, ни шопота, ни перезвона цепей в камерах. И это напряженное безмолвие давило последними мгновениями развязки. Вынести эту тяжесть последнего молчания не мог человек, ожидающий обычных рассветов и вечерних пепельных сумерек, койка которого нагрета скучающим телом. В эти несколько минут смертельной тишины я ждал, когда *они* пройдут мимо моего волчка, чтобы проводить их в невероятный путь к свободе. Но их не было, и за моим волчком реяла только мутная пустота и крошечная тишина. Что это такое? Струсили они? опоздали? поняли безнадежность своего положения? Раздавленный сердцем, я сел на пол около двери и стукнулся головой о стену. Передо мною у двери стоял Митря. Его черные валенки шагали на одном месте, и от них смердило удушливым потом и мокрой кошмой.

Очнулся я от задавленного утробного рычания. По коридору катилась какая-то рыхлая глыба и стонала не горлом, а чревом. А толпа шоркала подошвами, задыхалась и билась в борьбе с этой глыбой. Я слышал, как задыхался от неудержимого крика Архип, и как Прахов старался выправить свой надломленный бас. Как раз против нашей двери эта животная масса грохнулась на пол и закувыркалась в бешеной свалке.

Митря заплясал валенками и захлебнулся от хохота.

— Хоп, осина-борона!.. вот это так брякнули... Ох, ты, сволочь!.. Мнет и давит, как белуга... Да под пах ему, жирному борову... под пах!.. Черти сопливые, бабаи!.. а еще портки носите, мордоплюи...

Я столкнулся головой с Митрей, и меня обдало жаром его дыхания. Он очарованно смотрел в волчок, бился в дверь, точно хотел выскочить в узкую дырку и кувырнуться в эту остервенелую грызню.

Несколько человек сидели на бычьей туше Мымри и рвали на нем шинель, рассупонивали ремни и палкой вбивали в рот белую тряпку. А он стонал глухо, жирно, с задышкой, перекатывался на спине с боку на бок, огромный и, разбухший, выскальзывал из-под тел взбесившихся людей, как скользкая большая рыба.

Кто-то свирепо размахнулся железной фомкой и ударил его по голове. Ужас оглушил меня, и я не слышал звука железа по черепу. Я слышал только одно мычанье, глубоко спрятанное в утробе. Этот

стон выдавливал изо рта туго забитую тряпку и сотрясал все тело, раздутое жиром.

Тут был и Замятин, и Архип. Бывало ли такое лицо у Архипа? Оно было искажено отчаянием и яростью. Он, не переставая, бил концом палки в зубы Мымри и харкал в собачьем иступлении. Фомка опять взлетела над головами, и впервые я услышал чвокающий мясной удар. Мне почудилось, что брызги попали мне в лицо. Я гадливо стер их и пристально посмотрел на ладонь. Она была мокрая и липкая, но крови не было. А стоны все клекотали во всей туше Мымри и колыхали ее нутряными взрывами. Замятин подпрыгнул на коленках, быстро поднял руку и прицелился.

— Раз! Вот это — самый верный удар. Эге! Застрыл, подлец. Не думал, что глаз построен из крепкой кости...

Волчок заслонила густая черная тень, и голос Прахова звякнул коротко и строго:

— Ну, пошли, ребята! Живо! Забирай свои ноги. Марш!

И все быстро, бегущей толпой затопотали по коридору.

— Прощайте, товарищи!.. Молчите, не отвечайте!.. Прощайте и до свиданья!..

Где-то далеко упали ключи, свистнула дверь и опять тяпнула, как топор.

Мымря колыхался на спине и мычал нудно, задушливо, захлебываясь кровью. Голова его была обляпана черным студнем, и в глазу торчал перочинный нож с белой костяной ручкой под прямым углом к лезвию.

И всюду дышала припадочная тишина.

Р а с п р а в а

Я не знаю, сколько прошло времени после этого события: может быть, несколько минут, а может быть, час. Этот отрывок времени совсем исчез из моего сознания. Помню одно: я стоял около волчка и смотрел на Мымрю. А он бился, дрыгал ногами и все рычал с той же потрясающей живучестью. Голова его вздрагивала кровавым сгустком, и невыносимо было смотреть на ножик в глазу, изломанный под прямым углом. Камеры дышали в коридор сдавленным шопотом и паническим бормотанием. Только где-то далеко задушливо вскрикивал по-ребячьи одинокий припадочный голос.

В глубине стен, в корпусах, вздыхали двери. звякали звонки и сверлили воздух сверчковые свистки.

И сразу откуда-то из нутра вместе с гулом стен коридор взорвался большой толпой, ревом и погромом. Задыхаясь и не владея словами, кто-то взвизгнул короткую невнятную команду, и этот вскрик был похож на плач: ай-ах!.. Огнем взметнулся воздух в оглушительном громе, и я вместе со стенами кувырнулся на пол. С замирающим сердцем и тошнотой я на четвереньках пополз под свою койку. Уда-

рился головою о железную ножку и лег, уткнув голову в угол. Эта боль от удара опять успокоила меня, и опять все стало просто и обычно. Митря метался по камере и плакал:

— Да господи!.. Да куды ж я-то?.. Что ж я один-то?.. Браток!.. Милый!.. Убийство ведь... По душу ведь грянули... Где же мне-то?..

— Не вой... тюря!.. Лезь ко мне под койку... Ползи сюда!..

Поднялся край одеялки, и Митря, пыхтя и всхлипывая, полез на меня.

— Да что ты, чорт этакий!.. занял все... Разве тут спрячешься?.. Куды я тут денусь?..

— Ну, иди к себе. Лезь под свою койку. Чего визжишь? Дубина!..

— Да-а!.. как же я один-то? чай, страшно, осина-борона... Ведь смерть пришла... Нельзя, чтоб душа была сирота...

Лепетал, как маленький, — хныкал, всхлипывал — и мял меня, не находя места. Потом залез на меня и придавил горячим дрожащим телом.

И опять затряслись от взрыва стены и пол, и чей-то икающий, косноязычный крик залаял в пьяном отчаянии:

— Бей их, паразитов!.. Бей!.. Стриги под бритву, дармоедов!.. Держи ниже!.. Мишени не видите, каналы... Бей!..

Хрипел и кашлял, точно его рвало.

И — опять залп, и — опять рев зверей. И стоны, как бычье мычание. Это — Мымря. А, может быть, кто-нибудь другой, смертельно раненый.

Голос Мизинчика визжал по-собачьи:

— Да что вы, черти не нашего бога... в своих стреляете... Осатанели, мать вашу чорт!..

И опять истерическая команда, и опять она похожа была на крик раненого.

Лязгая железом, по коридору забегали люди. Они не кричали, а только надсадно хрипели, и эти хриплые вздохи рычали одной сумасшедшей неразберихой из матерных слов.

Воздух разлетался вдребезги и больно бил брызгами в барабанные перепонки. Глубоко в стенах выли и визжали замурованные голоса. Это были уже не отдельные выстрелы пачками, а рваная то-ропливая, беспорядочная стрельба. Заскрежетала железом и забухала дверь, точно срывалась с петель. Потом с размаху чебурахнулась на пол и раскололась с страшным треском. На голову мне обрушилась стена камнями и щебнем. Я хотел отодвинуться от стены назад, но рыхлая тяжесть Митри придавила меня к полу, и я никак не мог повернуться.

— Поднимись, Митря. Дай подвинуться, а то штукатурка бьет по лицу.

— Ну, тебя к лешему! Лежи! Чорт с ней, с головой!.. Что мне — задницу, что ли, подставлять?.. Ишь, какой ловкий!..

Я разозлился. Этот скот только бережет себя, а до меня ему нет никакого дела. Хотелось вцепиться ему в горло и с яростью сбросить его с себя и вытолкать вон. Штукатурка брызгала мне в голову, и струйки песку и пыли сыпались на лоб, на глаза, попадали в ноздри и в рот. Лопались и ломались стены, и воздух задымился каменной гарью и серой.

Митря заплакал и закорчился. Руки его впивались мне в плечи скрюченными пальцами до невыносимой боли. Он полз по мне ближе к стене, давил и мял меня, и на лицо мне закапали слезы и холодная липкая слизь.

— Убери свою морду, скот! Измазал соплями. Животное!

А он прилипал ко мне дрожащим телом и плакал:

— Родненький! спрячь меня... Страх-то какой!.. Ляг на меня... Не вынесу я... Мочи моей нет...

Я с омерзением плюнул ему в лицо, но слюна моя обратно сползла мне на подбородок.

— Ну, вались к стене, урод. Поднимись немного... Ну!.. проваливайся за меня... к стене... глухой чорт!..

И в тот момент, когда он завозился на мне, переваливая свое тело к стене, я оглох от нового взрыва. Митря внезапно дрогнул и весь обмяк, как тесто. Голова его упала мне на лицо, и весь он стал стекать с меня густо и тяжело. И очень спокойно, с нежной лаской, залепетал в ухо:

— Вот... Видишь, как?.. Вот и готово... Ты лежи... тихонько... Тебе—ничего...

И замолк, только около моего уха что-то хрипело, пенилось и разрывалось, как паутина. По щеке на шею щекотно ползла горячая тягучая струйка.

В коридоре и где-то далеко, в разных местах, громыхали запоры, выли и стонали люди, лаяли и рвались, как псы, что-то трещало и ломалось, бухали удары чем-то тяжелым, и в ужасе и боли визжали голоса в глубине камер.

Через лязг и бряканье железа в камеру приборной волной во-рвалась ревущая толпа. Меня рванул кто-то за ноги и выволок на середину пола. И чудилось, что желто-сумеречная высота камеры до туманного потолка загромождена огромными крылатыми чудовищами с косматыми лицами и раскаленными глазами. Кто-то из них заржал в смешливой злобе:

— Один—готов... Добивай другую гадину!.. Кроши с ошметками!.. Дроби прозвонки, выворачивай ребра!..

Это была сплошная ералаш из невыговорной ругани, а отдельные осмысленные слова кувыркалились в ворохе мата, как падающие листья на ветру.

Два раза откуда-то с высоты обрушилась на мое лицо исполинская мокрая подошва. Боли я не чувствовал, а только костистый хруст в голове, и при каждом ударе она становилась тоже огромной и пле-

скалась полынно-горьким колокольным звоном. И не было страха — был только нелепый кошмар и бред, уродливые видения, падение в бездну и — немая безнадежность. Я чувствовал себя совсем маленьким — не больше мухи, разорванным на две части: была только голова и ноги. Голова набатно звонила и бултыхалась полынью, а по ногам кто-то изо всей мочи колотил молотком.

И когда я увидел почти около своего лица такой же исполинский и уродливый револьвер, я не испугался: пусть стреляют — все равно... Сейчас я угасну, превращусь в ничто и совсем не почувствую боли.

Блеснула вспышка молнии, но выстрела я не услышал и не ощутил никакого толчка. Все равно: может быть, я уже убит, а, может быть, это только удар той же исполинской подошвы, которая ломает кости и выдавливает внутренности.

— Бей еще — грохай почем зря!.. Видишь — не берет: засела в костях... Бей!.. Тьфу, сволочь, — осечка!..

— Вдарь своей корчагой, у меня — ни боже мой... Не орудие — пугало на воробьев..

— Да чорт ли... у меня тож — никак: все выстегал... Лупи рукояткой... Энттой ёлдой любой черепок — вдрызг... Стегай!.. Дай, чебурахну...

Черная махина рухнула на меня целой копной шерсти и обломков и сразу же проглотила всего без остатка. И опять оглушительно бахнул колокол и раскололся. Эта боль разбитого черепа была тупая и твердая, будто воткнули деревянный кол в голову, и он прошел до самого живота. И не знаю, звонил ли дрябло расколотый горшок, или я это выл от омерзительной боли. Потом вдруг все смолкло, и я погрузился в густую тьму, точно попал в сухой песок, а он опускался в узкую воронку и неудержимо всасывал меня, скручивая в веревку. Где-то около самой головы молотили цепи — дзук, дзук!.. Они мягко колошматили по снопам, а они вздыхали и позванивали, как пустые боченки.

В прорывах сознания я на очень короткие миги чувствовал, что меня волокут за кандалы, и голова моя безбольно бумкалась по ступеням крутой лестницы. Голова была привязана к ногам тоненькой ниточкой и вертелась на ней, чужая, распухшая и мягкая, как пузырь.

Военно-полевой

Нужно было открыть глаза, но от усилий голову пронизывала воющая боль. Лицо залила липкая грязь. Она подсыхала, и корки ее больно вонзались в кожу. Я стонал протяжно, нудно, одним нутром, а сознание отмечало, что стонал не я, а кто-то другой около меня — не один, а множество людей. Потом я почувствовал, что весь трясусь от страшного холода. Надо мною и всюду необъятным размахом — морозная пустота, и эта пустота рычит криками и плачем. И — запах ладана и горящих свечей, шоркающие шаги, шопот, сдержанный говор и далекий звон бубенчиков.

Где-то рядом пискливый воробьиный, почти младенческий, голос невятно дрожал обрывками слов:

— Я умираю... товарищи!.. Прощайте, товарищи!.. Жизнь... уже... Хорошо...

Да. Это — Немилович, это — он. Так никто не мог говорить, кроме него: у других не было такого голоса. Только у него этот воробьиный всхлип трепетно вздрагивает улыбкой.

Я долго собирал силы, чтобы поднять руку и коснуться пальцами лица. Но рука была чужая, гигантских размеров, и не слушалась меня. Сжимая зубы до треска в челюстях, я толчками долго волочил ее на грудь, с груди — к подбородку и потом — на лицо. Другой руки я не ощущал совсем и забыл, что она есть. Эти липкие льдистые сосульки застывшей слизи покрывали лицо — заливали нос, губы, шею и жирными шматками и лепешками коробились в глазницах. Кровь.

Когда я с режущей болью открыл глаза, я увидел сверху очень далекие своды, огромными скалами улетающие в ночную высь. И вправо и влево таяли в огнистой полутьме пузатые колонны и острые ребра простенков. Оттуда, из ночной высоты, черной струей стекала каплей железная цепь и расцветала горящими гроздьями. Огненные пятна ползали по стенам и колоннам, и всюду играли мутные искры, звезды и язычки пламени. Это были иконы в золотых рамах и ризах, и лица изображений тупо и бледно глядели на меня неподвижными, смиренно-кроткими масками монахов и монахинь. Впереди, тоже очень далеко сверкала золотая, причудливо увитая сусальными лозами винограда, стена иконостаса с ажурными, матово сияющими, дверями. На амвоне стоял стол с зеленой скатертью до самого пола. За столом сидело трое офицеров в серебряных погонах и белых аксельбантах, похожих на привязанные к плечам нагайки. Двое из офицеров были молодые, сочные, с лицами, вымытыми молоком. У одного черные усики — вверх, у другого рыжие — вразлет. В середине — генерал в баках, весь серебряный от погон до седой щетины на голове.

Направо — аналой в золотой парче, а за аналоем — священник. Борода у него, как у Немиловича, — шелковая, глаженная, любимая. Он смотрел в глубину церкви, тупо скучал, держась левой рукой за наперсный крест, и похож был на этих святых, которые плоско и благочестиво скорбели на стенах и иконостасе.

Около клиросов сидели тоже офицеры. Направо — коротко остриженный, с длинными пышными усами, закрученными винтом. Другой, налево, — белокурый, курносый, очень похожий на Николая II.

Генерал часто смотрел на часы и наклонялся и вправо и влево, перешептываясь с офицерами.

Мне неудержимо хотелось посмотреть в стороны — узнать, кто около меня и почему мы — в церкви, но я никак не мог повернуть головы. Впрочем, я уже знал, что кругом, по всему полу, рядами лежат товарищи. Я чувствовал это по стонам, по хрипам и по шелесту рук и ног и просто потому, что на меня со всех сторон громоздилась

и дышала теплыми волнами груди тел: их теплота и дыханье наплывали на меня встречными волнами и колыхались по всему размаху здания. Потом я увидел вдаль частую шеренгу солдат в шинелях, с винтовками у ног. Чернели неуклюжие фигуры надзирателей во главе с молоденьким помощником.

Генерал поднял серебряные брови и быстро дернул лицом в сторону священника. Я не разобрал его слов, а слышал только сиплый кашель. Потом он откинулся мундиром на спинку стула и ладонью стал взбивать к ушам седые бакены. Священник пропел тихо и робко какой-то возглас и раза два трепанул волосами. К аналою зашоркала черная куча надзирателей. Бородатая голова старшего надзирателя истоиво наклонилась и кашлянула в руку. Позади прятался за спины и растерянно поглядывал в нашу сторону Мизинчик, исковерканный пережитой ночью.

Точно потрясенные одним ударом, завyli и заметались все эти, нагроможденные вокруг меня, люди. Подчиняясь общему гулу и стонам, я тоже закричал и завыл, извиваясь от холода и судорожной дрожи. В передних рядах кто-то надрывался от злобы.

— Не разводите же комедии, палачи!.. Вешайте сразу, если вы еще не захлебнулись нашей кровью... Это же — наглое издевательство...

Из кучи тел поднимались на локтях или садились, опираясь на руку, измазанные кровью, растерзанные люди, тянулись к столу и потрясали кулаками.

Заулюлюкал колокольчик, и генерал скомандовал что-то непонятное, но по бакам и бровям видно было, что слова сказал строгие и властные. Волна пронеслась быстро, и опять стало тихо и пусто, только высоко, под сводами, звонко рокотало эхо шорохами, вздохами и шопотами.

Встал один из офицеров, справа от генерала, ткнул пальцами в пенснэ и близоруко уткнулся в бумагу. Он держал ее левой рукой в белой перчатке, а правой, без перчатки, опирался пальцами о край стола. Он стал читать быстро, но четко, с красивыми изломами в голосе, точно декламировал. Так он, вероятно, говорил с женщинами в минуты флирта или в гостиных, когда нужно вести привычную светскую болтовню. Усатый офицер злобно смотрел на него и нетерпеливо отмахивался от своих хвостатых усов.

Я изнемогал от холода, и каждая клеточка моего тела ныла и звучала, как струна. Я сжимал зубы, чтобы оборвать эту струнную дрожь, но зубы лязгали и скрипели от бессилия и боли.

Военно-полевой суд. Пройдет час, и мы все, избитые и изуродованные, будем висеть на перекладинах, которые уже ставят на одном из маленьких двориков. Я понял это сразу, но не удивился и не испугался. Я был в тупом оцепенении. Все равно. Вот и — смерть. Сейчас — ночь, и днем меня уже не будет. И их, этих моих товарищей, тоже не будет. Все равно. И совсем не страшно. Скорее бы. Больше уже не будет этих мучений. Ни ужаса, ни предсмертного крика. Только

болит голова—невыносимо болит. И кровавый туман, и омерзительный холод, а вместе с холодом—удушливый огонь в голове и где-то в области живота. Зачем этот золотой и серебряный блеск? Зачем сидят эти нарядные куклы и глупо играют нелепую канитель в этом христианском храме,—бездушно, уныло, мертво, как восковые автоматы из паноптикума? И не я, а судороги в горле и эта струнная дрожь вырываются визгом.

— Я замерзаю, мучители!.. Довольно пыток!.. Скорее душите, мерзавцы!

И — опять ералашный, безумный наплеск стонов и надрывных выкриков. Офицер будто не слышал этих припадочных проклятий и читал невозмутимо и выразительно, со смаком, а генерал все взбивал ладонью седые бакены.

И опять волна замерла и рассыпалась успокоенным шелестом. Все равно: ведь это—неизбежная ступень к смерти.

В эти последние мгновения нашей судьбы я услышал о Прахове, об Архипе и Замятине. Было это или не было? Может быть, то, что сейчас происходит, это—бред? Может быть, это — агония, и эти уродливые ночные тени потухнут, а мир превратится в черную бездну, лишённую измерений? Ольга... Была она или не была? Может быть, это—тоже призрак агонии?.. У ней—пустые глаза. Все равно. Это было во сне. Сны—это призраки того, чего нет. Может быть, это—игра света и теней,—только короткие вспышки звездного спектра...

Там читал офицер в белой перчатке на левой руке, его слова били по разбитым костям моего черепа, и где-то глубоко внутри творилась легенда, насыщенная жизнью.

...Восемь черных теней прошли по ночной синеве снега на маленьком дворике секретной. Вверху, над головами, недоступно лучились звезды, а внизу, по сторонам, громоздились каменные корпуса и высокие пали безнадежными преградами. Большой человек в тулупе вспыхнул спичкой и зажег папиросу. Докрасна раскалилось лицо, и тускло заогнились контуры плеч и шапок других силуэтов. Задрезжала старая калитка, и испуганно промывчал простуженный голос из тьмы:

— Это—кто?

— Ну, отвори!.. Не знаешь, кто ходит в такие часы? Занозило, ядренцы...

— Виноват, вашбродь!.. Для порядку...

Ржавый скрежет запора и визг калитки. Торопливая безмолвная возня. Скрип снега под ногами. Звезды. И опять:

— Ну, отпирай. Принимай смену. Шагай, Мизинчик.

И опять—ржавый скрип калитки и скрежет запоров. И опять—безмолвная возня и скрип снега под торопливыми шагами.

А уже перед каменной крепостной стеной, высокой, как скала, врезающейся в двухэтажные корпуса зданий, набатно завыл колокол, и пронзительно завизжали сверчковы свистки. Где-то далеко, в утробе внутренних стен, глухо захлопали двери и в панике залаляли голоса.

Выхода не было. Восемь человек наглухо были отрезаны от мира. Последний шаг их был отброшен от ворот тюрьмы в каменный тупик. Чтобы коснуться свободы, нужно было разбить черепа о кирпич неприступной стены. Смерть. Смерть и—там, позади, смерть и—здесь, у подножия крепостной преграды, скалой улетающей к звездам. Свобода—так близко, и есть еще надежда перешагнуть через невозможное, которое тьмою смотрит в глаза. Лучше смерть здесь, в борьбе за жизнь, чем позади—в тупой покорности перед веревкой.

Прахов с уверенностью человека, выполняющего будничные труд, заботливо распоряжался:

— За мной, товарищи! Лестница на крышу. Валяй смелее...

Один за другим, гуськом, стали карабкаться, как пауки, с торопливой поспешностью. Зарокотало железо под ногами, а позади, в глубине,—там, где были казематы старой секретной, набатно выл колокол, свистели сверчки и захлебывались голоса, придушенные ночью.

Внизу, под стеною, в изумлении и страхе, стояла окоченелая тень караульного солдата, и видно было, что он обалдело смотрит на эти невиданные ночные тени, блуждающие по крыше, не может двинуться с места, оцепенелый от ужаса, и не в силах вскинуть винтовки. Прахов наставил на него револьвер и с угрозой скомандовал, как боевой солдат, которому уже нет спасения, который ждет удачи только от чуда:

— Кругом марш!.. Бегом!.. Брось винтовку!..

И, подчиняясь этому окрику, солдат побежал вдоль стены, судорожно вцепившись в штык, и его черная крылатая тень трепыхалась в ночном мерцании снега, как огромный уродливый нетопырь.

— Прыгай, ребята!.. Осторожнее... Не поломай ног...

И Прахов первый полетел вниз, как исполинская птица. Вслед за ним ворохом закувыркались другие.

Свобода—так близко: она—вот, в этом снежном размахе полей и далеких волнистых взгорий, в этом безбрежном просторе бездонного неба, блистающего звездами. Вон, недалеко, за молочным провалом оврага, дрожат и уютно дышат теплом людского жилья оранжевые домашние огоньки, а вправо, в ночном морозном тумане, подземными вздохами рокошет город, издали похожий на взгроможденные вороха льдин на оснеженной реке. Вот она—жизнь и свобода. Нужно только броситься в молочный овраг и затеряться в этих лагунах рабочего предместья. Черные тени заползали по снегу и одна за другой покатались вниз, по сугробам оврага. Около стены, приликая к снегу, закорчились и застыли четыре беспомощных тела.

— Товарищи... помогите... Вызволяйте, товарищи!.. Мы—обезножили...

А потом, падая на грудь, поползли, смертельно раненые, вслед за другими.

В ушах моих с бархатным изломом в голосе декламировал офицер в белой перчатке:

— ...Из них скрылись: государственный преступник Чугунов, он же Прахов, ссыльно-поселенец Архип Цветков и двое приговоренных к смертной казни... Государственный преступник Замятин обнаружен в овраге, что около тюрьмы, в бессознательном состоянии, обмороженный, с переломом обеих ног. В том же овраге в разных местах обнаружены остальные...

В груди клокотала радость. Милый Прахов, милый Архип. Я так же свободен, безгранично свободен... Все так просто и нестрашно, когда в сердце клокочет радость.

Среди внезапной тишины—солдатский рапортующий голос:

— Трое скончались. Четверо отходят.

Что-то выкрикивал офицер с хвостатыми усами. Он махал рукой в нашу сторону и бил кулаком по столику. Говорил и другой офицер, похожий на Николая II. Говорил невнятно и гнусаво. Он часто сморкался в платок и потрясал своды церкви трубным ревом. Должно быть, у него был насморк.

И голос Мизинчика был хриплый и больной. Он, Мизинчик, старался стоять браво, как старый служака, но, потрясенный, не мог владеть собою и горбился.

— Его благородие Дынников сейчас же были убиты... как есть раздался первый залп... Ну, нас развязали... Никого из заключенных, которые заперты, в коридоре не было... Преступником Праховым взяты были только желающие... а все никак не пожелали...

Простяга Мизинчик! Он не изменил себе и в этот час. Грозная сила не затуманила его добрых медвежьих глаз.

Я уже не слышал, что говорили там, у амвона. Теряя сознание, я погрузился во тьму и невыносимый холод. Потом опять на мгновение в поющих звуках и вспышках свечей блеснуло сознание. И опять—холод и мрак. Разорванными образами сна озарялись клеточки мозга, и я равнодушно, далекий от жизни, погружался в ледяные глубины, безучастно внимая недостижимо мерцающим голосам.

...Военно-полевой суд... всех, находившихся в камерах... не участвующих... оправдать... Государственных преступников... захваченных... в тяжелом состоянии... Замятина... подвергнуть смертной казни через повешение... немедленно привести в исполнение...

...Огромный шквал добросил меня, как пылинку. Я летел долго и плавно. Рев, хохот, рыдания потрясали колонны и стены. Кто-то кричал раздирающим голосом, захлебываясь, рвался, бился в припадке бешенства. Большая толпа бегала в панике по всему размаху церкви, сбивалась в плотные кучи, опять разбегалась и задыхалась от изнеможения и ужаса. И среди этой толчи и топота надсадный голос Замятина выл, как труба:

— Товарищи!.. Прощайте, товарищи!.. Погибаю, товарищи!.. Будьте вы прокляты, палачи и убийцы!.. Будьте вы прокляты!.. На всю жизнь запомните, товарищи... Проща-а!..

И сквозь рев и гул толпы я опять погрузился в холодную бездну.

Контрабандисты

Э. БАГРИЦКИЙ

По рыбам, по звездам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
На правом борту,
Что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки,
Папа-Сотырос.
А ветер как гикнет,
Как мимо просвищет,
Как двинет барашком
Под звонкое днище,
Чтоб гвозди звенели,
Чтоб мачта гудела:
— Доброе дело! Хорошее дело!
Чтоб звезды обрызгали
Грудю наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...
Ай, греческий парус!
Ай, Черное море!
Ай, Черное море...
— Вор на воре!
.....
Двенадцатый час—
Нехорошее время.
Три пограничника,
Ветер и темень.
Три пограничника,
Шестеро глаз—
Шестеро глаз—
Да моторный баркас...
Три пограничника!
Вор на доворе!
Бросьте баркас
В басурманское море,
Чтобы вода
Под кормой загудела:
— Доброе дело!
Хорошее дело!
Чтобы по трубам
В ребра и винт

Виттовой пляской
 Двинул бензин...
 Ай, звездная полночь!
 Ай, Черное море!
 Ай, Черное море—
 Вор на воре..

 Вот так бы и мне
 В налетающей тьме
 Усы раздувать,
 Развалиясь на корме,
 Да видеть звезду
 Над бугшпритом склоненным,
 Да голос ломать
 Черноморским жаргоном,
 Да слушать сквозь ветер,
 Холодный и горький,
 Мотора дозорного
 Скороговорку...
 Иль правильной, может,
 Сжимаемая наган,
 За воров следить,
 Уходящим в туман...
 Да ветер почуять,
 Скользящий по жилам,
 Вослед парусам,
 Что летят по светилам...
 И вдруг неожиданно
 Встретить во тьме
 Усамого грека
 На черной корме...
 Так, бей же по жилам,
 Кидайся в края,
 Бездомная молодость,
 Ярость моя,—
 Чтоб звездами сыпалась
 Кровь человечья,
 Чтоб выстрелом рваться
 Вселенной навстречу,
 Чтоб волн запевал
 Оголтелый народ,
 Чтоб злобная песня
 Коверкала рот,—
 И петь, задыхаясь
 На страшном просторе:
 — Ай, Черное море,
 Хорошее море!..

Очередные рассказы

БОРИС ПИЛЬНЯК

I. Олений город Нара

Луна посыпала росу — „полный месяц — длинный вечер“, — „ветер и луна знают друг друга“: эти фразы подслушаны мною у японцев. И те вечера в Нара были очень лунны.

Тысячу триста лет тому назад город Нара был японской столицей. Ныне от этих столетий в городе осталась сосновая тишина и сосновое — кажется — светит над городом солнце. И ныне, должно быть, это единственный город, который состоит не из домов, а из древнейшего парка и населен, кроме богов, памяти и людей, — теснее всего населен священными оленями, в честь которых — в сосновой тишине парка, под сосновым солнцем — многие уже столетия стоят храмы. В городе, который выродился в столетние леса, в котором пасутся олени, и в соснах стоят храмы, покоится исполинское изваяние Будды, Дай-буцу, лотос под Дай-буцу в шестьдесят девять футов окружностью, высота его в пятьдесят три фута, и усмешка его хранит непонятность всех феодальных столетий. Людей, кроме бонз и паломников, в этом городе нету. Чтобы проехать в этот город, надо ехать длиннейшими горными тоннелями, — и вокруг города — горы, в зелени лесов сначала, а выше там — в холоде камней. Сосновая тишина, олени, да боги — горный ветер, бег оленей, да буддийские колокола — нарушают тишину этого города.

И в этом городе, около парка, над озером японцами построен отель — Нара-хотэру, — для тех американцев, которые на эмпрессах в шесть месяцев путешествуют вокруг Земного Шара, чтобы осмотреть за этот срок все мировые достопримечательности. Отель построен по всем правилам англо-американских солидностей, строгих гонгов, бесшумнейших боев, тщательнейших брекфестов, ленчей и динеров, мягчайших кроватей, удобнейших ванн с резиновыми душами, покойнейших гостиных и читален, где собраны книги и журналы всего Шара, вплоть до русских „Известий“ и „Красной Нови“, — и, хотя и написано в справочнике, что „комнаты (по-американски) 7,50 иен

и дорожке за сутки“,—дешевле четвертного в сутки там не получают.

Я приехал в Нару, чтобы подслушать ее тишину, я поселился в Нара-хотэру, чтобы побывать в быте „эмпрессов“,—и я поехал один, без переводчиков и друзей,—чтобы понаслаждаться одиночеством в молчании единственного этого города, где люди не нужны. Со мною была Ольга Сергеевна, человек, с которым я умею молчать. За моим окном было озеро, за озером парк, парк уходил в оленные горы, к храмам,—оттуда шли звоны буддийского колокола, и было совершенно верно, что „ветер и луна знают друг друга“, потому что с гор в эту майскую ночь дул холодный и какой-то пустой ветер. И после динера я не пошел из отеля. В гостиной сидели безмолвные американцы, дамы пили кофе, мужчины курили. В баре у стойки англичане пили виски и по команде хохотали. В тишине читальной было пусто. Шопотом, по-русски, я порадовался, нашед „Красную Новь“. Кроме нас в читальной сидели двое: я решил, что он швед, а она—француженка. Я листал „Красную Новь“,—и я увидел, что швед взял „Известия“.

— Вы говорите по-русски?—спросил я.

— Да, немножко,—ответил он.

В первые десять минут мы с удивлением узнали, что оба мы писатели,—он передал мне свою визитную карточку: П. Г., — он был еврейским—из Америки—писателем, американско-еврейским. Почти тридцать лет тому назад он покинул Россию, и он с трудом говорил по-русски. Его жена, тоже еврейка, родилась уже в Америке, и русские слова в ее памяти возникали сквозь сон рождения. Через час мы пошли гулять в тот ветер, который знает луну.

И три мои нарских дня навсегда будут связаны в памяти моей с этими двумя прекрасными людьми, с мужем и женою Г., людьми, дорогими мне—и скорбью и нежностью. Не существенно, что оба они писатели, что она похожа на француженку, а он—на шведа: существеннейшее мне—человечность.

Первым тем вечером, когда луна знала ветер, поистине полная эта луна родила длинный вечер. Мы шли парком, неизвестными мне тропинками,—и все пытался мистер Г. зажечь спичку, чтобы показать мне нечто в кустах, но спички тухнули в его ладонях, освещая на момент седые волосы. Он шутил и не открывал своей кустарной тайны. Мы говорили о пустяках, теми мелочами, которые,—как булавки, растягивающие шелк на пальцах, чтобы на шелке шить кружева,—устанавливают человеческие отношения.—Да, у мистера Г. были седые волосы, зачесанные назад; да, серые его глаза были усталы и печальны и очень медленны. Она же, миссис Г.,—была молода, черноволоса, обильноволоса и очень красива и таинственна для меня, заново рождающая русские слова, найденные во сне рождения. До последнего установленного по-американски ко сну часа просидели мы на веранде в синем лунном мраке и в ветре с гор, четверо в этом странном

городке, мы двое в десятке тысяч верст от родины и от людей общего языка, они двое — —

— они двое из'ездили весь Земной Шар. Они были в Капштадте, в Австралии, в обоих Америках. Сейчас они покинули Америку в 1924 году, пробыв год в Мексике; пять месяцев они плавали с грузовым пароходом по островам Тихого океана,—теперь они в Японии, осенью они в Китае, весной в Индии, новой осенью в Палестине,—в январе 1928 года—в России, в Москве. Мистер Г. сказал мне, что всегда, с первых же слов знакомства, он говорит о своей национальности, потому—что очень многожды раз было в его жизни, когда—по быту его жизни, по его наружности, костюмам и манерам, по тем отелям, где они останавливались,—часто не узнавали их национальности и, узнав, очень часто делали вид, что их—не узнают. Мистер Г. сказал, что они путешествуют одни, у них никто нигде не остался и не ждет их,—он никому не пишет писем, кроме корреспонденций своей газеты,—нигде никто не ждет их, и они могут путешествовать сколько угодно. Миссис Г., рождая заново слова, говорила, глядя на луну, о ночах в Африке, в Австралии, в океанах. И в полночь в Нара отбивают тишину буддийские колокола. Полный месяц знает длинный вечер.—На три дня я поехал в Нара, чтобы одиночествовать:—эти люди так, как я в Наре тремя днями, одиночествовали, одиночествовают многие годы!..

И наутро, в сосновом солнце, заботливейшей нежностью встретили нас эти люди. За табль-д'отом мы приказали сдвинуть наши столики,—и у меня был отец, который заботился, чтобы я хорошо ел,—именно отец. Наши дамы чуть-чуть териблствовали за брекфестом и сейчас же после завтрака побежали в кустарную лавочку при отеле рассматривать игрушки, платьишки и покупать tout a fait japonese. Мы, мужчины, сели в кресла на террасе, над озером в сигарном дыме, в должном для американцев покойствии и благочинии, пока не пришли наши дамы. И, вернувшись, Ольга Сергеевна шепнула мне о своем смущении, потому что миссис Г. вела себя так, точно хотела всю лавочку перекупить и подарить Ольге Сергеевне. В американском покойствии и в сигарном дыме мы, мужчины, вели совсем не американские разговоры, потому что мистер Г. спрашивал меня о евреях в России, и всей искренностью я говорил об этом распепеленном народе,—всей искренностью и всей той осторожностью, которые я мог собрать, ибо мне скоро стало ясным, что для мистера Г. вопрос о судьбах еврейского народа и о судьбах его в России—гораздо существеннее, чем вся его жизнь. Совершенная осторожность, я полагаю, кроется в совершенной откровенности, в откровенности же кроется и искренность и честь. Если нервы человека представить березовой берестой, сворачивающейся на огне, если представить, что эта береста будет выправляться, как ослабнет огонь,—то передо мною в то утро сидел человек, нервы которого были похожи на березовую бересту. Словами своими—отцовски—он гладил меня по голове, этот седой человек с усталым лицом шведа

и еврея одновременно, с сердцем как береста. Мне хорошо было чувствовать себя сыном, но, как часто сыновья, я чувствовал себя сильнее отца... Этот испепеленный народ, рассеянный по миру, испивающий чашу строительства социализма в Союзе Республик моей родины,— этот седой человек с бритым лицом философа, писатель и пророк этого рассеянного народа, отец, который не судит, но хочет знать,— только знать для того, чтобы иметь мир, чтобы иметь покойствие за свой народ,— этот человек, который бродит по миру от одного отеля к другому, который не имеет родственников и говорит на всех языках мира,— человек, узнавший, что истины возникают всюду, даже в мерзости погромов! — —

Наши дамы давно уже с русского языка перешли на французский, чтобы сообщить друг другу об улицах, делах и событиях — событиях их дел — в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Москве, Мехико, Токио.

Мы пошли в парк, к храмам, к стадам оленей, в сосновую тишину, в сосновое солнце,— я узнавал, что вон тем часовням на горах — пятьсот лет. О тишине парка и о Дай-буцу я написал уже. Теперь я хочу говорить о другом. Мистер Г. повел меня в чашу деревьев, куда не заходят люди. Он не предупреждал меня ни о чем.

— Вот смотрите на этот куст. Что вы видите? — спросил он.

Я ответил, что я ничего не вижу.

— Присмотритесь.

Я присмотрелся и ничего не увидел. Тогда он мне показал, что одна из веток этого куста — искусственная, она сделана пауком, сплетена сеть паука и на нее паук натаскал кору.— Он повел меня к другому кусту. Прутиком он снял паука, тот побежал,— его же паутиной запутал его мистер Г. Этого паука мы посадили в чужую паутиную сетку.

— Подождите,— сказал мистер Г.,— этот паук сильнее, он прогонит хозяина. Сначала они будут драться, затем хозяин убежит.

Имя писателя Г. мне было известно до встречи с ним, его надо поставить в ряд с еврейскими писателями Перетцем, Шоломом-Алейхемом, Бяликом,— мистер Г. сказал смущенно, наклонясь к пауку:

— Кроме моих повестей и пьес, вот уже двадцать лет я пишу книгу о пауках, о их быте, их разуме, их особенностях. Я знаю больше тысячи видов пауков. Всюду, куда бы я ни приезжал, сюда, в Австралию, в Аргентину, я разыскиваю пауков и слежу за ними, пишу их дневники.— Мистер Г. прочел мне маленькую лекцику о пауках, которую восстановить я не могу, потому что я не знаю ни паучьих пород, ни паучьей литературы, ни утверждений различных паучьих ученых.

Но— вот: все три мои дня в Нара, каждый день я ходил с мистером Г. на его паучьи экскурсии, утром, в полдни, вечером (с электрическим фонариком),— и в этом древнейшем городе, который тысячу триста лет тому назад был японской столицей, а ныне существует для сосновой тишины, город единственной архитектуры, город для свя-

ценных оленей, — в этом городе — я увидел гораздо более таинственное, чем многосаженный Дай-буцу, — таинственную жизнь паучьих пород, — и таинственную, и жестокую, и трагическую, где самки поедают самцов в тот час, как самцы оплодотворят их, где сильный побеждает слабого в открытом бою, где слабый, но хитрый (или умный) побеждает сильного, но глупого, где нет никакого равенства, где справедливость строится на силе, и все судится единственным судом — смертью. Утром, днем и вечером в чашах города Нара, на стенах нашего отеля, в полумраке храмов — руками и умением мистера Г. — я принимал к этому таинственному, — живущему, чтобы жить вопреки бытию муравьев, пчел и человека, — живущему страшным одиночеством, разбоем, смертью.

В час мы лёнчили, после ленча мистер Г. и я, мы сидели по своим комнатам за бумагу, наши дамы пропадали по своим делам, в пять часов мы сходились к чаю и после чая шли в сосны города, вечером поднималась луна, которую знает ветер. Приходил японский июнь, месяц плесеней, и однажды на Нору спустились облака, точно Нара, святой город, со всеми нами и нашими грехами поднялась на небо.

Так прошли эти три дня, которые в памяти моей священный город Нору смешали с волчьим бытом паучьих тайн и которые заглушены сосновой тишиной и сосновым солнцем. В сумерки, перед динером, мистер Г. всегда в читальной читал газеты и книги. Он сидел около зеленого абажура, наклонив голову, подперев ее ладонью, — я следил за ним: по десятиминутным лицо его было неподвижно, и не мигали даже глаза, очень усталые его глаза. — Миссис Г. была молода, красива, черноволоса, женщина, воспитанная по-американски, свободная и достойная. Я мужчина: ничего не напишешь, — кроме того, как я воспринимаю людей, каждую женщину я воспринимаю еще и по-мужски. Вот эта женщина, которая за мужем бродит по всему миру, молодая женщина, у которой все впереди. Был вечер, четвергом мы возвращались с пауков, я подал руку миссис Г., чтобы помочь ей войти на мостик: я ни в какой мере не хочу оскорбить ее память, — вдруг тогда, когда она ступала на мостик, мужски я понял, как прекрасна эта женщина. — Она писала стихи: в тот вечер я попросил ее перевести мне ее стихи и прочитать их мне на языке их возникновения, древнем, еврейском. — Это были ночные, лунные стихи, — миссис сложила балладу о своих волосах, об обильных черных волосах, смолистых, которые распущены и в которых под луною отражается синий свет луны, которые синеют в лунном свете. — В сумерки, в читальной я присматривался к лицу его, ее мужа, этого человека, которого я принял, как отца, который бродит по миру из края в край, которого я стеснялся спросить о том, почему у него нет своего дома, но бродит который совершенно по-американски, твердо рассчитав, что в Москве мы встретимся в январе 1928 года, — человек, который пишет книгу о пауках — не для печати. Лицо его было очень устало,

не физической утомленностью, но усталостью раздумий... а образ стихов миссис Г., тот, что под луной волосы светятся, как в море,—я никогда не забуду...

... „Полный месяц — длинный вечер“ — „луна посыпала росу“ — „ветер и луна знают друг друга“... — Мы расстались с Г. в городе Киото, куда Г. поехали нас проводить. Мы спустились с нарских гор к долинам Киото, этого города императорских замков и дворцов, монастырей, музеев и храмов, города микадо эпох феодализма, уделов и Токугава,—и Киото встретило нас плесенными, теплыми, как в бане, японскими дождями. Дождь лил весь день, все сумерки, всю ночь, проливной дождь, стена воды. В киотском отеле можно было скинуть американство. Это был вечер расставания, мы собрались попросту в моем номере, все четверо. Мне было ясно, что этим людям со мною хорошо—не только по причинам, зависящим от моей индивидуальности, но и просто даже—сколь это ни свинственно — потому, что первые фразы, когда мистер Г. подчеркивал свою национальность, для меня не могли, как для многих европейцев, стать поводом к тому, чтоб перестать кланяться.—Мы сидели в моем номере, таком, который заключил в себе всю неуютность всех гостиничных номеров мира. За окнами лил дождик, удивительнейший,—за окнами лежал замковый, музейный, храмовой Киото: мне стало понятно, почему так в чести у японцев лаковые изделия,—в этом дожде этот город был построен из серого мореного дуба, и залакировано было все, небо, камни мостовых, дома, храмы, парки, лебеди за окном моего номера, около канала в садике.

В этом номере, таком же, как номер в любом городе мира, мы прощались. Мистер Г. подарил мне парчевую книжечку для записи памятей,—и он первый написал мне в нее, на древнем своем языке:

„Вековую тяжесть положила Россия на мои плечи. Колени сгибаются под этой тяжестью на побочных путях. Я приближаюсь опять к этой стране. Новая жизнь в России облегчит мне мои тяжести, и такая надежда растет во мне, когда я говорю с Вами, Борис Пильняк“ — —

Мы уславливались встретиться в Москве, в январе 1928 года.

И тогда я спросил о том, что раньше я стеснялся спрашивать. Я спросил, почему он так осудил свою судьбу, что у него нет дома, что дом его сложен в чемоданы и едет с ним по номерам гостиниц Земного Шара?—Почему он так бродит по миру, вдвоем с женою?

Он мне ответил:

— Я езжу по свету не потому, что я приезжаю, а потому, что я уезжаю. Я брожу по миру не потому, что я хочу увидеть невиданное, но потому, что я не могу видеть знакомое.

Он помолчал. Он сказал:

— Нету места в мире...—и не кончил своей мысли.

...Я постыдился спросить о пауках. Я смотрел в лакированный мрак и на лакированные фонари города, на храм перед гостиницей.

Ночью, когда мы разошлись, чтобы спать, я записал в свою новую книгу памяти:

„Как велик Земной Шар—как мал Земной Шар. Я научился у Японии тому, что все течет, все проходит. Сегодня я приехал сюда из Нары, завтра я буду в Кобэ,—а там—просторы Великого океана, великие просторы“...

Да. Нара же—единственный в мире город, переставший быть городом людей, ставший городом оленей.

II. Поокский рассказ

...Два лыжных следа идут под гору. Если внимательно рассмотреть, можно десятками мелочных примет установить, что на лыжах прошли две женщины, взрослая, уже немолодая, и девочка-подросток лет тринадцати,—женщина расставляет лыжи шире, чем мужчина, и шаг делает меньше. Очень хороший лыжный следопыт установил бы, что женщины — не русские. След идет с горы, по скату очень прямой,—вниз к Оке. День декабрьский, морозный, снег сыпется, не мнется...

Нельзя сказать, кто герой этого рассказа, возникшего на русском Поочьи, в муромских лесах. Лыжный след принадлежит фрейлейн Леонтина Вальтер—во девичестве,—Леонтина Карловне Битнер—в замужестве. Ее муж, Готфрид Готфридович Битнер (крестьяне называли Федором Федоровичем), был земским зоотехником, разводил племенной скот и насаждал маслодельные заводы на пооцкие луга. Готфрид Готфридович, русский немец, обучаясь в Галлэ, встретил фрейлейн Леонтину Вальтер, они полюбили, поженились,—и она вместе с ним приехала в муромские леса коротать русские дни: муромские дни стали отсчитывать годы.—Если Битнеры суть герои этого рассказа, тогда надо утвердить, что человеческое всегдаечно: пусть немецкая культура шьет свою вышивку на пооцких суходолах. Леонтина Битнер—как, какими словами рассказать, что вот этот лыжный след, прямой, белый, твердый, прошедший по суходолу к Оке,—есть символ этой женщины, этой высокой, худощавой, красивой женщины, всю свою жизнь проходившей в белых платьях с глухим воротником и с глухими рукавами?..—Лыжный след девочки возник через десятилетия: фрау Леонтина Битнер навсегда была бездетна.

Глава первая рассказа—

возникла в тысяча девятьсот одиннадцатом году и протекла в губернском городе.

В доме агронома-зоотехника Готфрида Готфридовича Битнера разместился строжайший немецкий порядок, недоставало только курантов кирки в часы немецкого регламента. Тринадцать градусов тепла хранились в доме круглый год; рододендроны в зале-гостиной

росли, как инженерные постройки; пол блестел солнцем; а на пороге в гостиную незаметные стояли туфли фрау Леонтины, как такие же туфли стояли на порогах кухни, столовой и спальни, для каждой комнаты свои туфли. Очень много было в комнатах солнца, покойствовавшего в тишине дома. Минута в минуту в семь было кофе. Минута в минуту в десять потухало электричество. Дом стоял на окраине города, большими своими окнами глядел на губернию, на пригородные пустыри, на тюрьму, на Заочье.

Фрау Леонтина только несколько слов могла произносить по-русски, с тяжелым трудом. Агроном Битнер утром уходил в управу, в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый и круглоголовый. Каждый день, от четырех до семи, за отдыхом, он говорил о сепараторах, о племенных телках и нетелях, об Эрнесте Геккеле, Бюхнере (произнося Бюхнера—Бихнер), о Мечникове, о его „Сорока годах искания рационального мировоззрения“: к нему в эти часы приходили агрономы, крестьяне, кооператоры, маслоделы, студенты, — он курил толстейшую сигару. С семи, после ужина, он читал книги в переплетках, с красно-синим карандашом в руках (и автору этого рассказа только единственный раз пришлось видеть—в руках Готфрида Готфридовича—осмысленное применение красно-синего карандаша, когда красным карандашом делались положительные пометки, синим же—отрицательные, строгим правилом). Без пяти десять он был в постели, ровно в десять потухал свет. Детей у Битнеров не было.

Иногда Готфрид Готфридович уезжал в уезд,—тогда на эти дни дом замирал в тишине.

Глава первая рассказа должна начаться с возникновения в быте Битнеров юноши Алексея Битнера, племянника Готфрида Готфридовича. Юноша, сын старшего брата Готфрида Готфридовича, приехал к ним на зиму, чтобы окончить в этом городе реальное училище. И эта же первая глава сообщает о девушке-курсистке, Шуре Белозерской: Шура Белозерская—никак не эпизод этого рассказа. Она была студенткой—Петровской тогда—сельско-хозяйственной академии, ученица Готфрида Готфридовича.

Реалист Алексей Битнер, сын русской матери, никак не мог не опаздывать к кофе и каждодневно принимать ванну. Готфрид Готфридович прозвал его—„шалаш некрытый“, по-русски. Юноша читал Достоевского и Соловьева, твердил брюсовские стихи, и по естественным наукам с трудом у него выходили тройки. Впрочем, Готфрид Готфридович не тратил на него времени, предоставив его фрау Леонтине. Ласков ли был юноша, или в нем говорил пол, запутанный родством,—этого не знал он сам,—и он, конечно, не умел разбираться в бытском и духовном мире фрау Леонтины. Фрау Леонтина вела хозяйство, помогала мужу в его литературных работах, рылась в справочниках (также с красно-синим карандашом), переписывала доклады и статьи для „Сельско-Хозяйственного Вестника“ и для „Зоотехнии“. Реалист ходил в школу, учил уроки. В новом городе дружб у него

еще не возникло. В досуги он приходил к фрау Леонтине, ластился к ней, звал ее на диван, и на диване, положив голову свою к ней на колени, на белое ее платье, читал вслух ей—Брюсова, Андреева, Чирикова—то, что попадалось в толстых журналах. Читая, ее рукою гладил он свои щеки,—и, отрываясь от чтения, целовал белую ее руку. Прощаясь, они целовались. Все это отступало от немецких правил,—быть может, ей казалось, что он, юноша, оторванный от матери, от русской матери, нуждается просто в материнской ласке?—быть может, он восполнял отсутствующую у нее заботу матери к ребенку, потому что своего сына у нее не было?—ей тогда было тридцать три года—быть может, ей—женщине—нужна была человеческая ласка?

Реалист был переполнен всяческими мечтаниями, как и подобает в восемнадцать лет, когда все впереди. Реалист был наполнен любовью к миру и ко всему мирскому, еще непознанному. Он был общителен, шутлив, озорват,—вскоре у него появились друзья,—вскоре сам он не знал, в какую из десятка его подруг-гимназисток, Кать, Оль, Зин, Ась,—он сегодня влюблен,—время его заполнилось, кроме уроков, свиданьями с друзьями и любимыми девушками. С друзьями он вслух читал „Гоголя и чорта“—Мережковского, „Толстого и Достоевского“—Вересаева,—подружкам—во мраке кинематографа—читал стихи Бальмонта. Четверть принесла двойки. Готфрид Готфридович разяснил, что такое значит—„шалаш некрытый“. Фрау Леонтина поступила круто, строжайше предложив ему войти в ее регламент: на час в день он может выходить гулять с коньками на каток; в театр и в кино он может отправляться только раз в неделю, по субботам; друзей он может приглашать к себе только в воскресенье, он должен говорить, куда он ходит, и может в гости выходить—опять-таки в субботу, выбрав по желанию гостей или кино,—девушки были выкинуты из обихода.—Здесь надо говорить о том, как иной раз находит коса организованности немецкой на камень российских безалаберств: потому что однажды, удрав потихоньку, ночевал Алексей в прихожей на сундуке, ибо двери, сколь он ни дубасил в них и ни ломал, не отворились,—потому что, опоздав к кофе на три минуты, кофе он не получал,—потому что очень странными были минуты примирения, когда фрау Леонтина тихо приходила к нему в комнату, смотрела, что он читает, гладила его голову и щекою своею прислонялась к его щеке. К весне все это кончилось тем, что юноша Алексей захворал острой формой неврастении:—врачи повелели ему елико возможно больше гулять,—в реальном дали ему бумажку, что может он появляться на улицах позже восьми, в целях лечения,—а дома трижды в сутки Готфрид Готфридович, ворча о шалаше некрытом, поливал его из ведра подсоленной водою.

На рождественские каникулы, когда первые приступы неврастении приходили к Алексею в ряд с прибывающими и солнечными предянварскими днями, когда по утрам не мог Алексей поднять с подушки развинченной головы и не мог спать ночами, когда метался он

от буйства к ипохондрии, часы ипохондрии вылеживая на диване лицом в подушки, — на каникулы приехала из Москвы Шура Бело-зерская, некрасивая, в сущности, девушка, годами старшая, чем Алексей.

В сумерки, однажды, когда Готфрид Готфридович с фрау Леонтиной поехали за покупкой к сочельничьей елке, Алексей сказал Шуре, рассматривая свой помятый носовой платок:

— Видите вот этот носовой платок. Утром он был свеж и бел, сейчас он мят и сер. Это жизнь. Жизнь—это серая стена, около которой, не видя ее, тоскуют люди. Сегодня я шел по улице, я увидел, как на морозе корчится нищая старуха, — мне захотелось кричать и плакать,—я отдал ей все мои деньги и я поцеловал ее... Посмотрите, вы тоже будете, как этот смятый платок.

Шура ничего не ответила, Алексей ушел к себе и лег на диван, носом в подушки. Около часа была тишина. Тогда Шура на цыпочках прошла к Алексею, наклонилась к нему, потрогала его голову руками, поцеловала его затылок. Алексей медленно повернулся, взял ее плечи, посмотрел на нее, привлек ее к себе, поцеловал в губы, положил голову ее себе на грудь, сказал:

— Мы — несчастные люди, мы — как тени. Как Диоген, мы при солнце ходим с фонарями, потому что мы слепы. Я хочу тебя полюбить, но я не могу, у меня нет сил.

Шура ничего не ответила, — она нашла его губы и поцеловала. Алексей сказал:

— Уйди. Я хочу быть один.

Шура ушла. Приехали старшие. Минута в минуту в семь был ужин. Минута в минуту в десять погаснул свет. Алексей зажег секретную свою свечку, лег с книгой. В одиннадцать, со свечкой в руке, Алексей стал гвоздем сверлить стену в соседнюю комнату, в комнату приезжих. Из-за стены он услышал шопот:

— Зачем ты портишь стену? Тебе не хочется спать? — приходи ко мне, будем разговаривать.

— Я не одет,—ответил Алексей.

— Ну, так что?—мы же не мещане. Я тоже разделась,—ответила Шура.

Алексей пришел к ней, накинув на плечи плед. Она лежала, до подбородка закрыв себя одеялом. Алексей сел на край кровати. Он заговорил о Гамсуне, о гамсунских несбывающихся любовях.

Он сказал:

— Я не могу спать ночами. Весь мир, все мои представления о мире и все мои инстинкты я сейчас перестраиваю. От детства мне казалось, что я—центр, от которого расходятся радиусы жизни. Теперь мне ясно, что я только пешка в лапах жизни. — Нет, Александра, я никогда не полюблю тебя.

Затем он сказал:

— Александра, мы же без предрассудков. Я никогда не видел обнаженные женских плеч. Покажи мне.

Она молча обнажила плечо. Он рассматривал, как инженеры рассматривают новую машину.

— Можно поцеловать? — спросил он.

Она кивнула утвердительно головою. Он поцеловал так же, как дегустаторы распробывают качества вина.

— Ты девушка, Александра? — спросил он.

— Нет, — ответила она. — Был такой человек, когда я в последнем классе гимназии...

Алексей перебил ее, он сказал:

— Мне не интересно, Александра. Я не люблю тебя, прости. Я пойду одиночеством.

И он ушел. — Все же он провертел в стене дырочку, дырочка приходилась к изголовью постели Шуры. Ночами Алексей пододвигал стул к дырочке и разговаривал через нее с Шурой, доказывая ей, что он не любит ее. Больше он не ходил к ней ночами. Два раза она приходила к нему, — ей было холодно, и она залезла к нему под одеяло, чтобы слушать ту кашу, которая творилась в его голове. — В ночь, когда на завтра Шура должна была уезжать в Москву, через дырочку Алексей сказал ей:

— Александра, мне стыдно сознаться. Я ни разу в жизни не целовался с женщиной. Мне страшно думать, что это будет с любимой женщиной. Я хочу, чтобы это было с тобой.

— Я тоже хочу, — ответила она, — приди ко мне сейчас.

— Нет, ты приди ко мне, — сказал он.

Он знал, что, если пойдет он, у него на пороге двери задрожат руки, и он будет совершенно влюбленным. — Так ни он к ней, ни она к нему и не пришли в ту ночь, — ни в ту ночь, никогда. Утром Алексей ушел в реальное. Шура уехала без него. Они не простились. Только на другой день он нашел записку, всунутую в книгу.

„Ах, Алексей! — Брюсовская холодность Вам не к лицу. В провинции, на окраинах, живут такие девушки с ямками на щеках: от полнокровия им нужна брюсовская холодность. Продумайте хорошенько ноябрьскую ночь“... — так написала она ему такое, чего он не понял.

В январе, по примеру с нищей, Алексей поцеловал в лысину учителя математики, в слезах сказав ему о том, что он милый и несчастный, как мир, — в этот же день Алексея освободили от занятий, и Готфрид Готфридович стал лить на него по три ведра в сутки соленой воды. В январе ж Алексей с компанией гимназистов угодил в публичный дом, впервые в жизни: инстинкт чистоплотности заставил его быть только свидетелем, — но на другой же день он завопил, что весь мир и он сам в первую очередь заражены сифилисом, чтобы его не трогали, чтобы не заразиться. Теперь сам он уже никуда не хотел идти, просиживал дни у печки, а в сумерки, несмотря на выдуманный свой сифилис, шел к фрау Леонтине, ластился к ней, клал голову к ней на колени, говорил, что она единственный его человек, целовал

ее руки, шею, глаза и щеки. А ночами, в бессонницы, всю кашу своих домыслов он изливал в письма к Шуре Белозерской, в Москву. Шура ему не отвечала, ни разу.

В начале февраля в Москву на с'езд на неделю поехал Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович вернулся и передал Алексею его—Алексеевы—письма к Шуре. Письма были распечатаны. Готфрид Готфридович сказал, передавая письма:

— Шура просила вернуть тебе твою белиберду. Я прочитал,—какие безобразия ты пишешь девушкам!

Алексей полез на дядю с кулаками, чтобы доказать ему возмутительность чтения чужих писем. Дядя отшутился, в шутке взяв руки Алексея и помяв ему кости. Алексей не понимал такой гадости—ни со стороны Шуры, ни со стороны дяди. Готфрид Готфридович сказал:

— Ты разорви эти письма, тебе должно быть стыдно за них.

Алексей пошел читать письма фрау Леонтине. Тогда Готфрид Готфридович, несвойственно для немцев осердившись, отнял эти письма и бросил их в печку. И тогда впервые увидел Алексей, как плакала фрау Леонтина крупными, безмолвными слезинками.

Здесь кончается глава первая рассказа. Алексей уехал в мае от Готфрида Готфридовича—навсегда, чтобы поступать в жизнь.

Глава вторая рассказа—

истоками своими имеет главу первую, но узлы ее развязались пять лет спустя. За эти годы возникла война, увертюра революции. В эту увертюру Готфрид Готфридович купил себе на реке Кадомке, над Окою, усадьбу. Сам он попрежнему жил в губернском городе, разъезжая по уезду,—в усадьбе же посадил фрау Леонтину, где она примерное немецкое завела хозяйство, молочное, маслобойное, свиное, усадьбу покрыв, по-немецки, черепицами.

Надо восстановить историческую обстановку. Проходили четырнадцатый, пятнадцатый годы: война с немцами, когда каждая победа немцев на фронте отражалась немецкими погромами в тылу. Фрау Леонтина почти не говорила по-русски. В колоссальном одиночестве (излюбленное немцами слово—kolossal!), в чужой стране, в непонимаемой стране, во враждебной стране (ибо, все же, Германия была страной рождения и—в дали—была идеалом), без языка, гордая эта женщина, молчаливая, всегда в белом платье,—неделями, месяцами одиночествовала в чистоте и порядке поистине уже немецкого под черепицами дома, в коровниках, где пол блестел, в свинарниках, где свиньи утверждали неизвестную в России истину того, что свинья—чистоплотнейшее животное. Вечера проходили у лампы с книгами в напряженном слухе, когда инстинктивно слушали уши—не зазвенел ли уездный колокольчик пары Готфрида Готфридовича (который действительно стал к этому времени Федором Федоровичем!),—не крадутся ли

погромщики громить—ее—немку?..—Зимами в сумерки уходили лыжные следы: женщина шла ровно, покойно, чуть наклонив вперед и вниз голову, руки ее не по-русски были отброшены назад.

Готфрид Готфридович—Федор Федорович—наезжал всегда неожиданно, вечерами,—справлялся о телках и нетелях,—с фонарем обходил хозяйство,—говорил политические новости, шопотом сообщал и о русских, и о немецких победах, шопотом ставил прогнозы сепаратного мира,—затем отпирал свиной кожи свой портфель и садился к письменному столу за бумаги, за сине-красный карандаш: он был очень занят, он очень спешил. Перед сном, прячась от фрау Леонтины, он вынимал из кармана и клал под подушку револьвер. Наутро он шел в волостное правление к волостному писарю, шутил с ним, стараясь без акцента говорить по-русски. А в полдни, после обеда, не ложась по немецкому обычаю отдохнуть до кофе, он уезжал дальше, запахивая горбатый свой нос в воротник шубы,—фрау Леонтина оставалась одна. В этот день вечером особенно крепко засовывала она засовы и особенно тщательно просматривала замки: замки и засовы—единственное русское в ее хозяйстве, ибо у немцев нет в деревенском обиходе громил, замков и засовов. Так шли недели и месяцы. Рабочими у нее служили татары, народ более честный, чем русские,—так же, как она, плохо говорившие по-русски: они понимали друг друга,—но российское окрестное население „немкину усадьбу“ обходило стороной.

Об Алексее не было никаких вестей: где-то на фронте он воевал в качестве артиллерийского офицера. Шура Белозерская бросила Петровскую академию в год войны. В дом к Битнерам она не приезжала ни разу,—мельком от Готфрида Готфридовича фрау Леонтина знала, что Шура поступила на службу в их губернии в качестве заведующего молочной станцией, на маслодельный завод, что она сошлась с кем-то и что у нее двое детей, две девочки, и одна из этих девочек—слепенькая.

И вот весной, в половодье эсеровской революции, фрау Леонтина получила от Шуры письмо: Шура просила приехать фрау Леонтину к ней, возможно скорее, для очень важных переговоров. Фрау Леонтина ответила, что она приедет на Троицын день, чтимейший немецкий праздник.

Надо было ехать шестьдесят верст. Фрау Леонтина приказала заложить лошадь к рассвету—в телегу, потому что в шарабане опасно было ездить. Она вышла к телеге в белом платье, в кружевной косынке на голове, в сером дорожном пыльнике с капюшоном, вывезенном еще из Германии. В руках у нее был зонтик, руки ее были в белых перчатках. Она улыбулась восходящему солнцу. Она сорвала цветочек с дороги. Она пошутила с татаринном, дала ему ключ, чтобы тот взял больший запас овса. Татарин спросил, куда они едут. Она сказала. Татарин насупился.

— Не нада туда ехать,—сказал татарин.

— Потшему?—спросила она.

— Не нада,—ответил татарин.

Фрау Леонтина свела брови. Она села на торбу с овсом. Они поехали в российские поля, в щебет жаворонков. Они молчали. На полдороге фрау Леонтина развязала дорожную корзиночку, достала бутерброды, дала бутерброд татарину. Татарин улыбнулся и сказал:

— Я знай. Не нада туда ехать.

Фрау Леонтина взглянула на него гордо,—в достоинстве, она не спросила его—почему не надо туда ехать?..

Придорожные села и всесолнечный день ушли назад. К сумеркам, когда солнце кидало красные косые лучи, они приехали в то село, где был маслодельный завод. Их никто не встретил. Она постучала в окно, спросить, где живет Шура Белозерская; в окне—она видела—появился старинный знакомый агроном-маслодел—и сейчас же исчезнул,—высунулась баба, спросила:

— Вам Александру Ивановну? Она вот по этой лестнице в мезонине.

Фрау Леонтина пошла по лестнице в мезонин. В комнате плакал ребенок, никто не откликнулся. Косые красные лучи учиняли сумрак в комнате и беспокойство, уперлись в помятый самовар и разбивались в нем. В комнате пахло только что спеченным черным хлебом и пеленками—русский запах. Шура вышла из соседней комнаты с тазом в руке. Она увидела фрау Леонтину—и она заговорила так, точно они виделись последний раз вчера:

— Здравствуйте, Леонтина Карловна, садитесь. Я сейчас вылью таз.

Фрау Леонтина стояла у дверей, дожидаясь. Шура вернулась, вымыла руки у ручного умывальника над ведром и села к столу.

— Нам надо об'ясниться, Леонтина Карловна,—сказала она.— Я думаю, что нам обоим очень тяжело. Произошла революция, которая уничтожает все предрассудки. Мне ужасна та ложность, в которой я живу. Те две девочки, которые у меня родились,—дети Готфрида. Посудите сами, — я больше, чем вы, имею право носить имя его жены.—

Фрау Леонтина прервала Шуру приказывающим жестом руки. Она сказала, первый раз, должно быть, очень правильно по-русски:

— Да, мы будем иметь с вами беседу. Но прежде, чем говорить с вами, я должна переговорить с Готфридом Готфридовичем. Я жду вас у себя. До свиданья.—

Прямая, совершенно достойная, которую ничто не может замарать, фрау Леонтина вышла из комнаты. Возница ожидал, не распрягая. Она села на телегу, сказала:

— Домой.

Они молча с'ехали со двора. Солнце село за землю, свет был лиловым. Ночь пришла скоро, как всегда в мае. В лугах полошились птицы. На полдороге обратно их догнал конский топот: верхом мчал Готфрид Готфридович. Татарин остановил лошадь. Готфрид Готфридович, в молчании, без слов, бросился при дороге на землю, в придорожную пыль, лицом к земле.

Фрау Леонтина сказала по-немецки:

— Встань, Готфрид. Не унижайся перед Саддердиновым!—и приказала по-русски татарину:—Езжайте!

Татарин нукнул лошадей.—Они уехали. Они приехали домой,— и всю ночь не потухал свет в окнах битнеровской мызы. Всю ночь татарин простоял у окна, тайком прислушиваясь к свету в окне,— лицо татарина было раздумчиво и печально, и на усы ему села роса. В комнатах была тишина, беззвучная,—татарин подсматривал: всю ночь, ни разу не двинувшись, не двинув ни одним мускулом, просидела фрау Леонтина в кресле, откинув голову к спинке, вытянув ноги. В шесть она поднялась и, с ключами в руке, пошла на птичий двор. Пошел день забот и будней. Татарин не спускал глаз с фрау Леонтины.

Татарин—эпизодическое лицо, человеческая теплота. Суть второй главы в том, что наутро тогда прикатил Готфрид Готфридович,— Готфрид Готфридович пытался встать на колени, чтобы молить прощения, и хотел плакать, утверждая, что—все же, все же—лучшее в его жизни—Леонтина, его молодость, его путь по жизни. Фрау Леонтина не позволила ему—ни вставать на колени, ни плакать. Она разрешила ему поцеловать ее руку,—и она сказала:

— Дети Александры—твои дети, Готфрид. Нам суждено умирать, им надо жить: надо думать о них,—все наши несчастья—позади. Я не верю Александре, ее воспитательским способностям: у нее так пахнет пеленками, и домашнее ведро у нее стоит в той же комнате, где печется хлеб. Ты имеешь такие же права на детей, как и Александра. И я требую, чтобы ты взял у нее детей и передал мне. Дети никогда не узнают, кто их мать,—и я воспитаю их достойными их отца. Ты можешь не приезжать ко мне, Готфрид, пока не привезешь детей. Передай об этом Александре!

Единственное, чем покривила в этой своей речи фрау Леонтина,— это было то, что Александру она называла—не фрау, но фрейлейн: барышней Александрой. Сказав, фрау Леонтина пошла на коровник;— и, потому что доходил седьмой час, на столе в столовой стал накрываться ужин.

Прошли недели, когда никто не приезжал на мызу,—и не было никаких вестей. И тогда приехала Шура с двоими своими детьми, бодренькой Анной и слепенькой Марией. Фрау Леонтина вышла навстречу. Она поцеловала в лобики девочек,—она протянула—не русским, прямым крепким жестом—руку Шуре. Они вошли в дом, фрау Леонтина несла на руках слепенькую Марию. Обе женщины были сосредоточены на детях: детей помыли, покормили и уложили спать. Тогда фрау Леонтина пригласила Шуру в гостиную, к филодендронам. Она попросила Шуру сесть и она сказала:

— Я вас слушаю.

— Да,—ответила Шура.—Мы должны все обрешить. Все понятно,— Готфрид переживает тот период, когда мужчины вдруг полошатся перед старостью,—в общем, он, конечно, только бюргер, человек

немецкой мещанственности. Готфрид передал мне ваше решение. Я никогда не подчинилась бы ему. Но Готфрид бросил меня. Знаете ли вы, что Готфрид сошелся с новой женщиной, помещицей Соловьевой, муж которой на фронте, с веселящейся дамочкой? Я отдала ему лучшие мои годы. Мы с вами—обе брошенные женщины,—мы найдем, конечно, силы быть джентльменами друг к другу.

Заговорила Леонтина:

— Дети останутся у меня, навсегда,—вы о них забудете, я буду их мать. Но я вас совсем не гоню. Вам надо учиться, вы прервали ваше учение,—вы поедете опять в Москву, я буду вам помогать, я и Готфрид. Вы станете агрономом.

Заговорила Шура.

— Да, я оставлю детей вам. Не будем говорить о жестокости: вы же знаете, что мне остается пойти на улицу нищенствовать. От службы мне отказано. Какой негодяй и мещанин—Готфрид!..

Фрау Леонтина сказала строго:

— Готфрид—мой и ваш муж. Порицая,—вы порицаете себя. Не надо так говорить.—Пойдемте прогуляться, пока спят дети.

Они пошли в поле, к большаку. Солнце садилось за суходолы, был красный закат, от которого лиловет воздух,—приходил август. По большаку проехала коляска,—в коляске сидела женщина в лаковых городских туфлях (туфли блеснули заходящим солнцем), красивая, немолодая уже,—кучер был в павлиньих перьях. Шура медленным взглядом проводила коляску.

— Вот это—та женщина, ради которой бросил нас Готфрид,—сказала она.

Фрау Леонтина ничего не ответила. Она шла вперед. Они долго молчали, идя рядом. Тогда фрау Леонтина спросила:

— Шура, вы помните, еще в городе, когда у нас жил Алексей.. Каким образом тогда получилось, что письма, компрометирующие вас, письма Алексея, вы переслали через Готфрида не запечатанными, дав их прочитать Готфриду?..

— Тогда, в ту его поездку, я сошлась с ним,—сказала Шура.

Опять шли они молча. Небо давно уже померкло, земля августовски посинела, заголодела. Около мызы, у ворот, фрау Леонтина сказала:

— Судьба сделала нас товарищами, Александра. Но вы должны завтра уехать—навсегда. Слышите?—навсегда!..

Свет в этот вечер на мызе потухнул ровно в десять часов,—но Саддердинов не спал в эту ночь, прислушиваясь к тишине дома. В комнате фрау Леонтины было беззвучно,—и далеко за полночь из комнаты Шуры послышались рыдания, Шура причитала, как причитают русские бабы:— „...девочки мои милые, доченьки мои милые“...—Комната фрау Леонтины осталась беззвучной.

Наутро Шура уехала в город, к поезду в Москву, навсегда. Они поцеловались на прощанье. Фрау Леонтина сказала: „Мы—товарищи, Александра“. Через месяц, сентябрьскими распутицами, вернулся

к фрау Леонтине Готфрид Готфридович—плакать старческими слезами, мучиться, опохмеляться: ту женщину, с которой он жил последнее свое лето, помещицу Соловьеву—убили крестьяне, спалив ее усадьбу. Готфрид Готфридович пришел, а не приехал, к фрау Леонтине—ночью, в сбитых ботинках, в придорожной грязи. На утро тогда Саддердинов поехал в город за вещами Готфрида Готфридовича, привез немецкие его чемоданы. Готфрид Готфридович сидел в кабинете, не выходя оттуда. Саддердинов, втаскивая чемоданы, видел, как Готфрид Готфридович подпер ладонями голову, закрыв пальцами глаза, перед письменным столом, на котором не было ни одной книги.

Глава третья рассказа —

есть глава заключений. Время этой главы текло в десятилетия русской революции,—и оно выглядит столетием новых геологических эпох. Из сломов эпох—текут новые реки, и в них истлевают старые.

Сентябрьской распутицей вернулся на мызу Готфрид Готфридович. Революция сочла мызу—культурным хозяйством, под мызой было только двенадцать десятин земли,—и немцев не выселили с мызы. Готфрид Готфридович—тогда вернувшись—и разу не вышел с тех пор—не только с мызы, но и из дома: что русскому на пользу, то немцу вред: революция его сломала—или еще что?..—Исчезали соль, хлеб, мясо, свет, деньги, заметались дороги, знание заменялось шопотом, здоровье выковывалось тифами, слова заменяли дела: Готфрид Готфридович расхварывался на несколько дней, сваливался в постель, когда при нем говорили о революции. Его лицо судорожно искажалось в боли, когда он видел новый листок газеты, новым правописанием. Он очень много читал: он читал по-русски: он наизусть запомнил Щедрина и каждый день перечитывал „Русские Ведомости“, комплекты которых собирались аккуратностью фрау Леонтины. Стилизовать его время, остановившееся в сентябре 1917 года,—не стоит: не стоит утверждать время стариков, которые плачут от того, что кофе—ячменный и к кофе нет сахара,—которые цитируют Щедрина, начетчески, как раскольники. Логово таких стариков неминуемо должно быть пролежено: и в чистоту обихода фрау Леонтины вплелся запах старческой неаккуратности, валенок, плохого табака.

Все ушли с мызы, кроме татарина Саддердинова: он и фрау Леонтина вели хозяйство. Фрау Леонтина сшила себе овчинную кофточку, чтобы выходить на скотный двор. Девочки росли. Фрау Леонтина воспитывала их. Татарин Саддердинов знал больше слов по-немецки, чем по-русски. Девочки говорили по-немецки и одинаково плохо—по-русски и по-татарски. Младшая девочка имела от рождения бельма на глазах. Она ничего не видела. Обе девочки были аккуратнейшими „мэдхэн“. В это время возникли вторые—детские—лыжные следы: в сумерки фрау Леонтина брала с собой старшую пойти на лыжах по откосу к Оке. Все дороги к мызе замело.

Очень тогда заметало метелями дороги. Каждое утро тогда надо было откапывать мызу от снега, снежные строя траншеи. Неделями ни единый человек не приходил на мызу. В доме не все комнаты топили. Готфрид Готфридович в своем кабинете сидел—в валенках и шубе—над Щедриным, обросший бородою.—Однажды приходила баба из соседнего села, сказала, что через село в селе—объявились людоеды и там голодный бунт, убили комиссара: это было так же далеко, как если бы фрау Леонтина прочитала детям о Робинзоне Крузо. И вдруг тогда в заповедни, прямо через забор проехав по снегу, под'ехала пара к черепитчатому дому. И из саней вышел— Готфрид Готфридович, тот в молодости, двадцать лет назад, только что вернувшийся из Галлэ, бодрый, мужественный,—в прихожей он скинул шубу и предстал пред фрау Леонтиной—в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый, круглоголовый, горбоносый—немец.

— Не узнаешь?—спросил он по-немецки.—Алексей Битнер, твой племянник!

В дверь высунул голову—настоящий Готфрид Готфридович, в шубе на плечах, в валенках на кальсоны.

— Большевик?! — крикнул-спросил Готфрид Готфридович подлинный.

— Да, коммунист!—ответил Готфрид Готфридович Алексей.—Тут у вас голодный бунт.—

Готфрид Готфридович подлинный присел в дверной щели, хихикнул, показал „нос“, подставив раскоряченные ладони к собственному носу. Он сказал, хихикая:

— Убирайся вон!—и захлопнул плотно дверь.

— Не обращай внимания, Алексей,—сказала фрау Леонтина.

В прихожую выбежали девочки, одна вела другую.

— Вот мои дети,—сказала фрау Леонтина.

Готфрид Готфридович подлинный ни разу не выходил из кабинета, затаившись в нем. Остаток дня прошел в пустяках, с детьми. Вечером фрау Леонтина и Алексей сели на тот самый диван, который был в губернском городе в комнате Алексея. Они стали вспоминать. В эти часы, за тысячеверстными снегами, чуть-чуть спуталось время, восстановив субординации дальней той губернской зимы.

— Все в прошлом,—сказала фрау Леонтина.—Но у меня есть дети: значит—все в будущем, потому что я делаю достойных людей.

Алексей взял руку фрау Леонтины, почтительнейше ее поцеловал.

— Можно, как в старину, положить к тебе на колени голову?—спросил он.—Можно говорить совершенно откровенно?

— Да,—ответила фрау Леонтина.

Алексей не положил своей головы к ней на колени: ее голову он привлек к себе на грудь, седеющую ее голову,—прикрыл ее руками, шопотом сказал:

— Леонтина. Я все знаю. Я встретил Шуру Белозерскую; она мне рассказала о твоих детях... Я ничего не хочу говорить. Я прекло-

няюсь перед твоим мужеством. Эти дети могли бы быть моими детьми,— ты это знаешь?

— Да, я знаю,—сказала фрау Леонтина.

— И знаешь ли ты, — теперь, через десятилетия, — мне иногда кажется, что у нас был роман, о котором я никак не знал тогда, когда он был.

Фрау Леонтина прижала свою голову к груди Алексея,—она сказала не сразу:

— Да, это было так,—тихо сказала фрау Леонтина.

Алексей нашел губы фрау Леонтины своими губами: губы фрау Леонтины дрогнули. Она встала и поправила пояс белого своего платья. Алексей тоже встал. Они посмотрели друг на друга, Алексей отвернулся.

— Поздно уже, я пойду к девочкам спать,—сказала фрау Леонтина и улыбнулась.—На хуторе у меня живет татарин Саддердинов. Он живет у меня тринадцать лет. Он любит меня, я это знаю, но он не знает этого...—Фрау Леонтина помолчала. — Слушай, а где Шура?

— Шура в Москве. Каждый вечер на трамвае она едет из одного пригорода в другой, в рабочие клубы, и там читает лекции о новом быте, о красоте, о советской литературе. Должно быть, она пишет стихи. Подол ее длинной юбки почему-то всегда мокр. Она очень хороший, очень неглупый и очень, очень несчастный человек.

— Мы с ней—товарищи,—сказала фрау Леонтина.—Но я не хочу ее видеть. Спокойной ночи.

Наутро Готфрид Готфридович Алексей—уехал.

В зиму двадцать-шестого-седьмого годов, в раздумнейшие тридцатые годы российского XX столетия, к двум парам лыжных следов присоединились третьи: в зиму двадцать-пятого-шестого фрау Леонтина, продав корову и свиней, ездила с младшею слепенькой Марией— в Москву. В Москве профессор Ауэрбах сделал Марии операцию,— и Мария—прозрела, чтобы на одиннадцатом году своей жизни увидеть лица—жизни и матери, знаемые на ощупь: она увидела тогда, впервые открыв видящие глаза, что лицо фрау Леонтины—все в мелких морщинках старости и—счастья. Мать и дочь вернулись на мызу: к лыжным следам присоединились третьи.

...Три лыжных следа идут под гору, к Оке, оттуда обратно в гору. Следы прямые, как полет стрелы. На лыжах прошли три женщины: старая и две девочки. День декабрьский, морозный, снег сыпется, не мнется. Поочье.—Сумерки сменяются ночью,—ночью мимо лыжных следов, чего доброго, пройдет волчица со своими прибылыми, поднимется на холм, обогнет „немкину усадьбу“, повоет на черепицы.— Но ночь сменится рассветом, и тогда поднимется солнце, всякий раз новое, потому что каждый новый день несет—новую жизнь.

Москва, на Поварской 26. 14 янв. 1927.

СТИХИ ОТ БЕССОННИЦЫ

АЛЕКСАНДР ЖАРОВ

Когда в полях
Снега звучат, как скрипки,
Улыбкою сверкнув случайному лучу,—
Я вспоминаю
Все свои ошибки
И сам себе взволнованно кричу:

Какой я остолоп!
Так просто в этом мире.
Так ясно все. А я не мог понять,
Что дважды два всегда дадут—четыре.
И пятью пять, конечно, двадцать пять...

Если б было можно
Жизнь начать сначала,
Чтобы знать заранее:
Как ступить ногой,—
Жизнь была б несложной
И, как снег, сверкала б...
Жизнь была бы легкой,
Ясной и простой.

Тогда бы знал,
Тогда бы слышал тонко,
Стушевывая шум своих шагов,
Где—ждет тебя
Беспечный смех ребенка.
Где—караулит
Клевета врагов.

Дань уплатив законным переменам,
Тогда легко бы
Встретить был готов
Смешную лесть, и жалкую измену,
И дружбу новую, и новую любовь!..

Пленяет жизнь порой своей игрою.
Но в той игре—
Немало чепухи...

А без нее нам
Стало б легче строить
Дома и песни, счастье и стихи...

Кружится мыслей
Беспокойный ворох.
Затихнет чуть и закружит опять.
Они кричат:
Есть вещи, о которых
Заранее не так приятно знать.

А если б было можно
Жизнь начать сначала
Чтобы знать заранее:
Где, и что, и как...
Жизнь была б несложной,
Безмятежно-вялой,
Скучной, и дешевой,
Как простой пятак.
Кружится мысль:

Есть вещи в этом мире,—
О них
Не так приятно вспоминать.
Хотя, конечно: дважды два—четыре.
И пятью пять опять же—двадцать пять.

Но посмотри:
Снега струят улыбки,
Сверкая счастьем: до весны дожить!
Я вспоминаю
Все свои ошибки,
Но для того, чтоб снова повторить:

Напоминание

ИВАН ПРИБЛУДНЫЙ

Борису Гросману

Грусть моя, озорная невеста;
Укротив свою удасть и прыть—
Много я уделил тебе места,
Дай же мне и другим уделить.

С дальним шорохом щиплющих лапок
И близка, как предчувствие бурь,
Не клони мою голову на-бок,
На людей мои брови не хмурь.

Взор твой кроток, и голос твой гибок,
Но в краю, где я каждому—брат,
Кроме звона похвал и улыбок
Ничего признавать не хотят.

И твое благотворное эхо,
Твой смывающий раны бальзам,
Как проказу, считают помехой,
Как слезу, узнают по глазам...

Что ж, как всякий, стремясь к перемене,
Сбросив с плеч долгом данную кладь,
Я бы мог, как паяц по арене,
По строкам кувыркаться, плясать.

И потомкам уже недалеким
Будет горько и трудно понять,
Как такие забавные строки
Продавались по десять и пять.

И, внимая отцовским глаголам
И поверив, что жизнь весела,
Трудно будет потомкам веселым
Сторониться веселого зла.

Лучше в мире заведомо строгом
Вечно чувствовать пропасти пасть,
Чем, поверив отцовским дорогам,
Неожиданно в яму попасть.

Чем больней недоверие скрутит,
Чем скупее в улыбках душа,
Тем светлее, тем радостней будет
Вдруг постигнуть:—как жизнь хороша!

Неугомонь

ИЛЬЯ САДОФЬЕВ

Года цветут и созревают,
И, плодородьем захмелев,—
Раскачиваясь, грузно виснут
И гулко падают к ногам...

Пора бы скупость на осанку
И добродетельно жиреть,—
А мне, шальному забулдыге,
Ребьячье любо озорство.

Головорез и непоседа,
Покуда голос не сорвал,
Покуда в лоск не промотался—
О чем тужить! Чего жалеть!

Таких ничем не запугаешь,
Наперекор, напереспор,—
Без промаха сноровкой бычьей
Судьбу с разбега на рога!

Пльви, земля! Звените, песни!
Качайтесь, падайте года!
В такой игре на силу ставка
И нет удачи проиграть...

Подруга жизнь! Горласто славлю
Твой необузданный азарт!
У нас характер одинаков
И расточительность одна.

Мне тридцать шесть разбойных весен,
Пора бы удаль остудить,—
А я все тот же, все такой же —
Звериная неугомонь!

Костяк испробован на прочность
И не предательствует кровь,—
Любая ласковая знает
Желаемую крепость рук...

И оттого ребячье чувство:
Широкоплечий шалопаи—
Как будто только что родился
И мир впервые увидал!..

Какой простор! Какое солнце!
И как приветлива земля!
Не впроорот работы трудной—
И все во мне и я во всем...

Ну, разве можно крохоборить?!
Качайтесь, падайте, года!
На милость никому не сдамся—
Пока не прометаюсь в лоск!

Народ на войне

СОФЬЯ ФЕДОРЧЕНКО

Гражданская война

Тут не про походы, да победы,
да отступления. Про это кни-
ги расскажут. А живое тоже
переговорить надобность есть.

Предисловие

Весь материал для этой книги: разговоры о себе и других, судьбы, факты, сказки, песни,—собраны мною от 17-го до 22-го года (в 22-м—голод) на Украине, в Новороссии, на С. Кавказе и в Крыму.

Здесь разные повстанцы, бандиты, зеленые, красные, белые и всякие другие.

В этой книге дано только то, что есть у меня. Книга ни малейшим образом не может претендовать на исчерпывающее, или даже неполное, описание гражданской войны.

Ой, пойду я лугом-лугом,
я нарочно лугом-лугом,
там мой милый пашет плугом!
Отнесу ему я есть,
я нарочно ему есть,
может скажет мне он сесть!
Отнесу ему я пить,
я нарочно ему пить,
может станет говорить!
Во лугах невидно мила,
там нарочно нету мила,
на иное его сила!
Ой, пойду я бором-бором,
я нарочно бором-бором,
там мой милый будет скоро!

Приведу ему я коней,
я нарочно ему коней,
станет милый бандит-воин!
Да останусь в том бору я,
я нарочно в том бору,
возле милого умру я!

О самой войне.

Я, с войны вернувшись, хозяйничать было стал. Ей-богу. А тут забучило деревню, старики и то советуют. Мать родная и та чуть тебе топора в руки не тычет.

Я над семьей крыл не разведу, не насадка. Мне крылья для лёту. Лёту хватит,—людям лучше станет.

Дрожит во мне каждая жилка, только что винтовка с плеча, а он меня в книжку носом.

Вот теперь навязалась на нас болячка—учёба. Да дай ты мне отвоеваться как след, всю желчь отвоевать. Прилипли мои ручки до амуниции, не держат пера.

До того они задались, до того обокрались кругом,—стали мы совещаться, как на них доказать. А этот вдруг спину заголил, глядите, кричит, на спинку на мою полосатую, неживленную, такое со мной враги исделали! Так не доводите ж, кричит, на товарищей. Хоть бы и сволочи, а разве чужие.

Я, говорит, с под Москвы, всю войну под звездой красной воюю, а вы из рук в руки. Тут один вышел и все рассказал. Не из рук, говорит, мы в руки, а из мук в муки. Ты, говорит, разве своей стране воин? Да ты, говорит, и войны-то не видывал. А мы вот как,—немцы на нас сели—сброшено; атаманы разврату учили—скинуто; добровольцы нас в навоз головою—скончено; а коли ты, товарищ, нас изменой попрекать вздумаешь—и товарищу тютю дадено будет.

Перед нами не задашься. Коли мы за дело взялись—сделаем. В трех водах топлено, в трех кровях купано, в трех щелоках варено. Чище мы чистого.

Стал его спрашивать, стоит ли, мол, за это дело воевать, и что это за дело за такое. Ничего не понять,—будет то, все решат, а что решать, коли всё от нас решено. Взял я свою винтовочку, да за околицу,—своих дожидать.

Простых мы у них в плен возьмем, так наших же красноармейцев. А так все офицеры, да юнкера. Как бы дворяне противу нас, простых, а не то что красные, али какие,—народов там не видать.

И не выходит, что, как бы противу своего народу мы воюем. Сперва может и было; а как я-то попал,—одни там офицеры.

Не перечь ты нам выдумками. Разве ж можно нас теперь наукам учить, коли мы в самом бучиле пузыри пускаем. Дай хоть на берег выплыть.

Ни пня от старой жизни не осталось. Отца убито от немцев, мама с недоедки да с горя померла, братья, словно и я, на лету,—может и в живых нету. Примерли жена и дети. Мне бы только в братвою до дела доходить, и чтобы роздыху на горе не было.

Ты не канючь, не жалоби нас. Сами знаем, каково эту войну до-воевывать. А твердо видим, что надобно,—потом людям легче будет.

Теперь другое, теперь и приказы и дисциплина. А в прошлом годе куда проще воевалось. Одно знай—кто враг. А уж как ты того врага доходишь,—то твое дело.

На войне был я человек подначальный, не свой. Потом пошла у нас на фронтах крутня, одни разговорчики. Тут только языку работа, а у меня язык-то не сила, моя сила в удали. Вернулись в самую бучу, дома нету, а и был бы—хоть ты его на колеса ставь, до того все в движении. Сорвало нас ветром, да и несет через Россию, может и мы что посеем.

Как вспомню я свое военное ранение, так и зверею. Нежили меня в лазарете, а я и добра не помню. А теперь вот, бездомовыми мы псами бродим, да как-то спокойней мучимся,—людям легче будет.

Та война проклята от века, без пользы всякой для людей, за дурницу. Это вот грех. А нашу войну знаешь, что за людей терпишь, людям легче будет.

Вот идем мы, идем, сколько-то тысяч верст,—и ни одного дома крестьянского в целых не видим, кто подбит, кто летает, кто и следу не кинул, а старое со слез слепнет.

Признаюсь я тебе не по-крестьянски, пока времени не видно, я и земли не хочу. Вся наша будет, тогда людям заживется.

Эта война веселая, для себя, отчаянная. Чего хочешь, человек? Чтобы над тобой не бариновали. Это самое, за то и воюем.

Стали мертвых от смраду закапывать. Своих порядком, белых грудками. Глядь, лежит меж врагов дружочек его кровный. Так он того дружочка и схоронил меж своих, воровским способом.

Мы со смертью теперь круглые сутки вместе. Как бы дитя с матерью.

Ничего эта война на ту непохожа. Идешь через голод, через холод, через силу. Дошел,—крик, стрельба, ховаются от нас в панике. Тут ворвались, все по-нашему, и плачут, и кричат. Какой ты есть, такой и представляешься. Все понятное, и кто, и за что. Это тебе не заграница, да по чужой воле

Командиры у нас—босаячня босаячней. Ни у него лошадки, ни у него жорки лишней. Один бинокль с нами в различие, а так все мы как один.

За самого себя такой войны не своюешь, надоест, отвалишься, уж очень тяжка. А тут знаешь, что людям легче.

Шли же мы середь врагов, шли неприкрытые, шли безо всякого питания. И шли мы не знай куда. И мы не знали, и начальники не ведали. И дошли до чужих земель, люди вроде киргиза, и гололобые, и верхами. Нашего духу не переносят. Заметет нас метелицей, закидает врагами, и гибнем мы травкой под косою, за дело за чужое.

Тоска горька, версты дальние, жизнь зверья,—а все за людей.

Хотел было утечь, до того наша эта война тяжелая, а как об людях вспомнится, так и ноги камнями. Стой-воюй, людям будет легче.

Шел я из последнего, не своими ногами, и припал к пеньку придорожному,—прощайте, братики. Даже как бы легче стало, что не итти. Тут топ, конники до меня,—сгинь... Я же ни с места. Ткнули они меня—я хоть бы что. Даже как бы легче стало, когда кровью сошел.

Шли-то мы как? Без передыху почти. За плечами зверь. Перед очами народ пропадет, коли не поспеет. А снег, а дождь, а болота, а овраги, а топко, а болячки, а тиф? И ни тебе одежи-обужи, ни тебе лекаря-ухода, ни подводки на отдых; пьешь снежок да болотце, а есть,—так хоть болячки грызи—ничегошеньки. На часок приляжешь, в грязь для тепла закапывайся, и то некогда. Был у меня валенок—отмок, и сошла почти вся ступня болячкой. Это тебе не военное снаряжение, так только за свое дело воюют.

Н е м ц ы

Собрали нас,—говорят—гетман. Ладно, живем. Опять сбор,—говорят не разобрать как. Ладно и так, живем. Вдруг раненько гук-гук, гук-гук, глянули мы,—иностранцы—немцы. Серые, толстые, на головах железное, и не смотрят. Идут же так ровно, чисто заводные. Щемит сердце, зовут,—веди к себе в хату немецкого кавалера. Всю хату в чистоту вогнали, бабу к начальству увели, мамашу полы мыть поставили, детей от шуму в поле. Пожили с неделю, изнищили, бумажку дали и ушли.

А я кашля не удержу. С детства больной кашлем. Обиделся он, что ли, да как крикнет. И все на меня кричать, и чем громче, тем я кашленее,—повели за хату и в зад мне противу кашля прописали.

Они в сарай, а там ребята с войны пулеметик ржавили, до поры. Глянул немец, да как усмехнется. Пропал, думаю. И подпалили дом, еле старуху выволок, а уж худоба и добро—все в небо дымком, господу жаловаться.

За икону полез, а там у меня шапочка золотенькая, татарская, вроде как бы с мощей. Брал-то как ее на фольварке, словно чуяло

сердце, да принес бабе за иконы. Взяли они ту шапочку, и меня с ней, да на фольварк. А там нашего села людей—скопы. Руки, позакручены, шапочки да креслица нежные перед народом грудками, что у кого. На крыльце немец главный, на диване. И о правую его руку барин наш веселится.

Идет, да и в петельку ногою. Мы его в ямку, обротали, самого сожгли, оружие взяли, каску же глубоко в землю закопали. Больше всего у нас из-за касок ихних народу пропадало. Такая бещь неудобная, куда ни сунь, все видать.

Холста взял, показывает, рубаху, мол, шить. Смеется, стал вареники кушать, да как вскочит, за живот, за дверь, за дом. Там покорчился, подох. Хороши бабии вареники на иголочках.

Бабы их крысыим мором. Трое перекинулись, да хитрый они народ, подпалили деревню и ушли. Только нигде не загостились.

Он к ней под кожух, она как бы ничего. Он к ей за пазуху, она его как в затылок татахнет. Еле с нее сволокли, до того обкорчился.

Вроде как бы клуню загородили, и туда мальчинок подростших согнали, ножи им, и всякое, только без стрельбы. Баба моргнет, пожалуйте в клуню. Сейчас немец амуницию долой, до бабы. А мальчюнки его и прикончат.

Она мониста на шею, а присыпку за пазуху. Привели ее. Он ее вином поить, да все валит. Она ему винца налила, и присыпочку туда. Пей, мол, я согласна. Хватил он, да к ней. Да на грех не сразу ослабел, не успела она уйти, на ней скончился, ее убили немцы.

Баню приспособили, одной дорожкой туда по одиночке, другой дорожкой из баньки прохладяясь домой ходили. Вот мы на этой дорожке вроде как бы дерну с аршин вынули, дегтю туда залили, присыпали, и ждем в кустах. Идет камрад парной из бани, как рак, да в деготь ногой, да в землю, а мы медведем насядем, забьем его,—он из баньки-то чуть не голенький. И в день мы этот сколько ихнего немца истребили. Просто смех, чисто перепел на клею.

Кив—да—морг,—они трое в хату. Вина принесли, гостюют, шуткуют, бабу оглаживают. А я на печи, ровно дедка. Баба лапалась-лапалась, да одного в комору. А я двоих с печи пристрелил. Тут и баба из коморы, веселая, и дядька с ней. Справили мы троих.

Немцы коров, которых на мясо, которых на молоко доят. А просить стали для детей, так говорят,—подождите, пока ваш помещик сюда прибудет, он разберет, которые коровы его. Тогда ваших вернем. Ну, думаем, лучше помирать без молока, только бы его превосходитьство не воскресло.

Б а н д и т ы

Цельную ночь шуршало да лязгало, обрезы обрезали. Спасибо и войне, наготовила.

Все отдал, а седло оставил и в сено зарыл. А в ту же ночь они у нас все сено и свезли, и с седлом, и со всем добром. А к утру мы всем кругом в бандиты подались. Старые и малые повымерли.

Будто и до нас идут немцы,—не ждать же. Спалили добро и в лес. К ночи надошли в лес какие-то, собрали мужиков помоложе, и увели. Шли охотно, чего беречь-то.

Толстый, важный, усы в нос лезут, по-нашему говорит. Не кончилась, говорит, война. Уведу вас в Киев, с большевиками воевать. Повезли, а мы с железной дороги, да на лесные тропочки.

В стогу сорок у него обрезов наготовлено, и все к им. К утру сорок нас и ушло. Недалеко, в околице мы казнями занимались. И батюшка с нами, что вечер крестом ободрял. Бейте, мол, чужестранных.

Всем скитом пришли, комиссар сперва и брать-то не хотел. Тут белые надходят, монашки винтовочки получили, и хорошо себя повели. Приняли их. Одно не подходило, сильно маливались, вы, говорят, обрезанные стали, а мы православные. А так—мужичью правду хранили.

С фронта только денег привез, лошадь хорошая. Тут не знай, что случилось. А тут немцы в хату. Я до соседа, у того в хате немец. Сосед на коня, я на кобылу, да так второй год пройдисвитами и летаем.

Встал он перед нами и говорит,—предлагаю я себя как бы в начальники. Теперь мы остались безо всякой власти, а жители кругом разбойнички, еще и иностранцы есть. Соединимся и пробьемся куда ни те на волю. Мы согласились.

Теперь вот срам, а в прошлом годе и ходов людям других не было, как в бандиты. Терпеть нельзя, в дому трепет, бабы заиндевелые ходят, даже ласки не принимают, до того залапаны-замордованы. А тут вдруг братва, своя—не чужая.

Бабе особенно в бандитах трудно. Всякий до нее льститесь, хоть бы какое она одороболо была. Но однако до того бабы лютели, что всякое перетерпевали, только бы воевать.

Вот, сказывают, что отвоюем мы все, кто во что горазд, хоть атаманам, хоть в бандитах,—а после нам вождей и покажут.

По-моему, все едино, хоть в бандитах, хоть где, абы противу врага одного. Кончим врага, тогда сговоримся, кто прав.

Сошлись мы с одной улицы, идем купно и песни спеем. Тут вышли к нам из кустов. Куда вы, молодые ребята?—спрашивают. Работы искать,

головы рубать. А кому вы головы рубать собираетесь, и есть ли у вас рубила? Головы рубать будем заносчивые, а рубила от вас дожидаем. Идите ж, ответ нам,—до нас, и будет вам рубня и рубила.

Чей ты? Крестьянин. Богатый? Голый я. На же тебе, говорит, голый, кошель да обрез, ступай с нами в лес. Каким хочешь богам молился, только одного не забывай, голоты не обижай. Вся на свете голота одного рода. Что красная, что белая, что робкая, что смелая.

Насильничали мы с поездными, не хуже бандитов. Он тебе толком раз'ясняет,—а ты весь, словно бомба на разрыве,—аж шкварчишь, до того тебя паника кортит. Да еще и скопы нас тута. Конечно, убьем всякого. А уж кто в поезду,—те просто сапогам слякоть.

Ползем червем, теснота, болезни, а места самые атаманные. Вдруг полило нас пулеметами, и стал наш тихоход. Глядим—волокут машинистиков в кусты, тах-тах. А потом раздали в тесноте выход штыками, приказ—жидам выходить. А у нас их сколько тебе угодно, и старых и малых.

Мы на крыше, а внизу думают, мол—баре. Кто висит на ступеньках, мотается. А который с крыши возьмет, да тому висельнику и сс... в рожу. Тот до того ругается, до того вьется, а рук не оторвать.

А мы возьми, да покойников на площадку и выставь. Никто и не полез.

До того полно, до того людно,—сто лет думай, а так не разместишься. Слойкою люди стоят. Приспичит за нуждой, так хоть людям на головы. На нужничке крышка поприкрытая, и на той крышке удачливые мужички кипяток с сахарином лакают. Доберется какой ни то до нужника по головам, кричат ему мужики,—что ты, мол, за барин, люди чай пьют, а ты к им с.... лезешь.

Мирные, мирные, бабы, дети. Так не лезь по путям в этакую завихруху крутую. Тут нам время шкуру спасать, а не цацкаться.

Подскочили мы, минутки на роздых нету. Душит просто, до того нам спешно. А машинист сбег. А никто на машиниста тута не учился. Мы станции начальника за шкуру, на паровоз его. А тот почти что сгарый, обомлел. Эх, гнилье, как вдарили, дух из него вон. Давай сами орудовать, крутили-крутили,—рвануло. Ну, недалечко прошли, как крушились.

А машинист—права, говорит, не имею. Ему револьвера к лобу. Кшто ж, говорит, едем,—только далеко на таком не уедем. А нам выбирать не с чего,—вези, говорим, довезешь—жив будешь, а не довезешь—пропала твоя голова.

А машинист молчки отцепил, да на паровозе и втикать. Остались мы, вагончики решетчатые, теснота—винтовки осадить некуда, с крыш

все полезли, а враг стреляет, а потом с дрючком пошел. Некоторые из нас целы, так чудом может.

Шли мы сторожко, ползком ползли,—вот путь разобран, стали. И полезли на нас дикие люди какие-то, овчиною вверх, рожки повамотаны, чистые звери. А в руках у них все, можно сказать, трудовые снаряды:—и вилы, и грабли, и топоры, и ножи, и серпы, и косы. Одной бороны нехватало. До чего мужик доведенный был.

Сейчас мы старую телегу поперек путей, паровозишки-то слабые, стула не свернут. А сами мешков напасем, вооружимся и ждем. Ползет наш-то кормилец. На крыше бабы с провизией. Споткнется машина о тележку, постреляют маленько, коли есть кому,—бабы поверевжат. Ну, забьем кое-кого,—а дело наше больше насчет провианту бывало.

Влетели на кониках, с чего, спрашивают, такое запустение? Раз'яснили. А коли у вас взято, говорят, так и вы берите. Ходим с нами до путей. Рельсики развели, поезда дождались, они постреляли, мы забрали на поезде всего. Деньги коннички за помощь увезли. А мы покормились не малое время.

Мы только поездом и кормились. С городов бабы да ловчицы на все капиталы провизию в деревне соберут, да мимо нас на поезде и вертаются. А мы поезда застопорим, да всю провизию на дрючка и перекупим.

Боев нету, кругом враг, бабы цураются, и хлеба не стало. Собрались они в баню в часок подходящий. Там двое господ друг дружке спину трут. Они себя за банщиков представили, кипятком крутым глаза господам заварили, одежду и деньги унесли.

И я пропаду, и врага изведу, за то людям легче будет.

Ты не больно командуй. Мы, говорит, командиров-то пораскомандирили. Я, говорит, от всей округи слова свои говорю. Позеленел, как задрожит, как затрусится, как заприказывает,—всех рабочих распулеметил.

По всем хатам бурю, стон стоит. К учительнице старой,—ты сколько, спрашивают, годов здесь учительствовала? А она больше тридцати годов здесь. Сказала. Значит, говорят, ты и коммунистов здешних обучила, на ж тебе пенсию за то,—и через лицо ее нагайкой.

Матросня, та змей разных себе на груди травит порохом, и похабщину, для баловства. А обо мне, пехоте, их благородия порадели, раукрасили. Вот, гляньте, на грудях звезда ножичком резана, солью сыпана; а на задницах у меня герб наш начатый, серп есть на правой, а молота не доспели сделать—наши подошли.

В землю два колышка, в ногах да в головах. Его свяжут, к тем колышкам поприкручивают, а на лицо ему ежа колючками пристроят, да ручником туго натуго и примотают. Вот это так смертушка. Бывало, найдешь его, мертвого, так вдвое смердят, и он, и еж.

Привели его в черную горенку. Сидят за столом, а в сторонке у них эдакий чубатый козачина, от дикости глаз в нем не видать, здоровенный, в палачах, как бы. Молчи, говорят, не молчи, а пустим мы тебя к товарищам вроде как бы недоноском. И сейчас ему бороду и все волосья выжгли, и на дощечке молоточком все ногти оттолокли.

Ну, просто про красных никакой чутки не было. Лежал с нами один, корниловец, рукавом все хвалился, беды не чуял. Все храбрость рассказывал, зверства, веселился. А тут красные, а тут к нам, опрос. Нас не трогают, офицеров волочат куда-то. К этой мертвой голове с опросом,—нижний чин, говорит, такого-то простого полка. Про рукавчик ни гу-гу, и мы молчим до поры. Ан, от окошечка писарек такой рыженький, рябоватенький,—докладаю, говорит, что он корниловец с мертвой головой, и потому, говорит, докладую, что всю, говорит, он мою кровь насмешками распалил.

Один весь кожаный, на руках так и то рукавичищи; а морда ну наскрозь кокаин, так и каплет, ажно чад у него в глазах. Глядь, моего-то сострадальца жена на допросе, как бы. И очень красивая. И говорит этот кожаный сострадальцу—прикажи, говорит, жене своей со мной спать, отпущу. Как тут жена кожаному в ноги, не спрашивай мужа, я согласная. А тот ей—пока, говорит, муж не прикажет, что мне за сласть, что я бабы не видал, что ли. Муж-то и не приказал. Кожаный мужа из рукавички и застрелил.

Все жил и жил, все как следует. А тут ему нового помощника, а тут глянули они один на другого, а тут наш отвернулся, да и застрелился под френчиком.

Перевести, решит, всех жидов на сто верст, чтоб не было. Так, бывало, все местечки и сдвинутся, и утикают в другие места со скарбом, с ребятками. Плач, крик, чисто Мамай по следам.

Тихесенько до хозяйки, в кожух завертели, да и в клеть. Ничего, говорит, нету. А что тебе за наши шкуры золота дадено, куда дела? Стратила, будто. А на что стратила и спрашивать некогда стало, до того убить нужно скоро.

Просидели вы, говорит, задницы мужицкие на наших на золоченых стульчиках, вот мы вам шкуру-то с задов и спускаем, как бы в облегчение.

Привели в волость, сидит вроде черкеса, через грудь газыри. Мужиков вправо, баб влево, детей в клеть. У него кнутик-нагаечка по сапожку целк да целк, у него в глазах все, можно сказать, наши аграрные пожары горят.

Вышел за нуждой, ворочается, смертного цвета. Чего такое? Из колодца, говорит, черти лезли. Тыфу ты, ввзяли мы сору, тряпья, в мешок, мешок на цепь, подпалили да и опустили в колодезь. И завопили в ко-

лодке черти. Высунется который, дрючком его. Замолчали невдолге. Мы славили, сбочку выемка, пища, амуниция. А люди на дне. Испортился колодезь, засмердел.

Одним духом все версты отмахал, чтобы думок не думать, не во время не сдобреть. Приехал, в его кабинете сел. Привели его. У меня аж сердце в глотке, гужу протодьяконом. Глаза на нем желтые, сам ни гу-гу. Давайте, говорю, бумаги и деньги и пожалуйте к стене.

Вода ясная, идет он ко дну вниз головой и поспешно. Кровь за ~~ним~~ столбиком воду темнит.

Деньги при них, костюмы приличные, вещи золотые. Взглянешь на такого, в глазу у него утайка светится как бы. Спросишь, все, говорит, отдал. А в глазу утайка. Тут надо решительно убить, у него в подборе будут вещи. Не томи доглядающего.

За тии гроши, кричит, я со всем семейством жилы свои тяг, не быть же тому, чтобы показал вам где, лучше я языка лишуся. Вот ему языка и вырвали.

С него сапожки сволокли, примерять, ан малы барские полсапожки. Судьба теперь твоя такая, говорит, баринок, что я у тебя шкурки с плеча на доточку выкрою. И выкроил.

Кажи, где деньги. И нету, и нету, и нету. Зажгли щепу, стали ему ножки томить. И шкварчит, и смердит, а он не признается.

Нашли у него книжицу нашенскую, им не по нраву. Ешь, сукань сын. А книжица, вроде библии.

На шестые сутки кончились двое, и никто не приходит. На седьмые завыли волчьими голосами, к вечеру мертвечинки припробовали.

Как спорхнул ветерочек, последние с нас ризы рвет, идем наги. Дали лопаты, копайте, ребятушки. Выкопали мы ровчик в снегу. Ведут каких-то, человек шесть. Стали их как бы спрашивать—молчат. Садите ж их в ров по глотку, авось голоса найдут. Закопали их по головы по самые, а через часок, глядь, зашлись они в снегу.

Дверь высадили—беднота, убожество, как в родном моем дому. И какой-то пролетарий на лавке черным глазом поблескивает. Чего?—говорит. А вот, говорит, чего. Сразу в зубы; зубы в землю. Под пузо ногой, а на нем и пуза-то, почитай, нет. Однако скорчился—скончился. По всей слободке так прошли, хуже Мамаю.

Квартира—дворец. Мягкости, недотрожки, картинки, перинки. У меня мамка, бывало, над глечиком плачет-разливается,—разбить не купить. Я и перебил им, привыкайте, говорю.

Ухо приложил—шепчут. Я дверь высадил, а те, как по команде, револьверы к вискам, тах-тах — и ни один нам коммунистик не достался.

Уж какой я смелый, а как рыл я свою могилу,—не идет заступ ни на нос комариный. Круть, заступ в руках,—верть,—словно проволока. А свади, для скорости, прикладом меня.

На ней кольца разные, на цепи портретик и то-сё дорогое. Все в раздражение даже, измызганные, аж тлеем с износу, которые переращенные, да из каждой щели на нас гром. А тут на всем таком выхолилась. И спрашивать не для чего, сразу в ящичке наганы всякие. Ее как кошку, и колечки со шкуркой,—пухляя.

Через всякое лохмотье барина учует. Приведут к нему какого, аж смердит, весь в болячках, вшивый, голый. А тот вокруг него нюх-нюх, и на осину. А на том патентики разные.

А в укладочке в одной серебряного на роту, а в укладочке в другой белья на больницу. И все на одно кубло семейное, а еще люди. Ночью стук. Старая самая у укладочки, здравствуйте. Не отдам. Да иди ты к ляду, спать людям, а не казни казнить. Не послушалась, до чего к укладочкам привыкла. Пропала за укладочки, а может ей бы еще с полгодка прожить.

Мне, говорит, восемьдесят годков. А нам разбирать некогда,—лошади же хорошие и бричка. Документы кажет,—смотреть не стали и поехали с ним. Ночью слышим,—перхает. Утром ехать, а он скончился.

Семейство такое чистенькое, мать да дочка барышня, вроде как бы машинистка или учительница. Голодные, а к руке не идут—крепятся. Вваливается он, аж дымит самогоном, да к барышне,—айда в баню. Волочет. Мать лобом по полу, молит, зашлась вся. Барышня молчки не дается. Не пойдешь, говорит, мать каблуком раздавлю.

Забрал с собой семейных всяких, да детей, и стал, как что, казни делать. Постреляли враги—сейчас он разнесчастных в круг, и вроде суда. Взял как-то мальчонку, да и убил,—рассудил за отца, а отец у того и весь-то аптекарь жил.

Пел песни хорошо, и все, бывало, спрашивал в песне про долюшку, где, мол. А была его долюшка не вдолге. Запопали какие-то, да по-своему и допросили. Пришили ему языка ножом до носу, самого к деревцу прикрутили. Так он и помер от опухоли. Задушила она его.

Как в местечко, так мы сейчас по жидам зверствовать. Войдешь—вломишься, как заверезжат,—очень интересно. И не знай с чего больше звереешь—с верезгу, али с тишины. Вошли как-то, а две ихние, мать да дочка, на лавке обомлели. Так взяли их за ручки-ножки, да о печь, чтобы голос подали. Однако не отошли они, так в тиши и померли.

Как тащили из вагона жидов, так они выли, так молились. А один ошалел, что ли, девчоночку—дочку свою—с ног сшиб, пал на нее, да полами прикрывает её, прячет, что ли. Прикрывает ее и прикрывает, ровно наседка. До чего дурной это народ со страху. От такого разве прикроешь полою.

Сидели они в уголку, забились, отец да жена, да мальчик годков восьми. А кругом гудит даже, до чего про жидов издеваются. А те молчки, только б не тронули. Как вдруг, идет до них через весь вагон один такой видный мужчина, грубый. Жиды вы?—спрашивает. Молчат. Он мальчонку сорвал с места, слабеньш мальчонка, проволок до окна, да в окно головой и выпвырнул, как котенка. Заверезжал отец, да за сыном в окно кинулся. А мать как зашлась, так и не отлили.

Велел ему всех этих жидов предоставить в канцелярию. Предоставили ему четырнадцать, один даже старый совсем. И что ж он с ними делать стал? Велел г...а принести, их есть заставлял. Которых с того рвало, так он блевотину есть заставил. А после шомполами, не до смерти. Да не многие, думается, после того здоровыми доживали.

Шел я верстов сколько-то, к человеку не соседился, всякий враг. Из каждой щели гроза, на погибель, скажу прямо, шел. И пришел в то место, на тую улицу, до той хаты. В окошке свет. Я дробненько стучу, как сговорено. Выскочил детина, спшиб, сгрёб, в хату сволок. Чего было! А я все молчу, бейте, думаю, больше смерти не выбьете, а я на своих не доводчик.

Были и бандитами, и разбойничками, были и биты и убиты. Все в пору. А потом людям легче (жить) будет.

Ш П И О Н Ы

Старший воин, а младший в шпионах служил очень хорошо. Его вперед зашлем, нежный такой был, до него особенно дамы привыкали, вроде, как бы юнкер. До самого семени через дам вызнает, а тут и мы надойдем.

Парнишка приветливый, гнучкой такой, гавкнешь—смеется, ткнешь—не примечает, не нравится мне. Ночкой прелестной прокинулся я в куреньке с плохой пици, вышел. Вижу скрозь звезды ползет парнишка хорем, дырку в земле царап-царап, да и в курень. Я в ту норушку, а там и то и это, и у того места, и кака у командировой кобылы масть на хвосте, и число, и знак на нужной бумажке.

Я в шпионах аж четыре раза был, очень это интересно. Раз приспался я до кухарочки одной, хозяева вышли, я к барину в стол. Там бумаги стога, хоть вилами действуй. Грамоте не знал я, однако понял, как здорово попал, как пошли мои хозяева шептаться и белеть.

Идет он валко по обочинке, как бы отстадый. И сейчас ему из кустов вышли, скрутили, помяли, повели. В лесу предстал ему детина разбойничек. Тот ему докладает, что-как, а разбойничек как харкнет ему в рожу,—слова, говорит, твои для нас золото, сам же ты дерьмо собачье.

Служила она у них при бумагах, от многого нас уберегла. До того нам нравилось, что не боится для нас в шпионах служить. А как мужчина, так—служи, псина, а в горницу не суйся.

С первого дня стала к нему жена ходить. Мы ничего, закуток им отвели, любитея. А один паренек, гнилой у него глаз был, раз к щелке и приникни. Только замест сласти видит он суровые лица, и бумаги попархивают. Ох, и было ж им, чтобы сладостей на шпионство не меняли.

Будешь ты передо мной, как бы невиноватый, только должен ты трудную службу сослужить. И приказывает ему итти к врагу, передаться, а через месяц на то самое место прийти. Ушел. Смеялися мы, чего, мол, соли на хвост ему не насыпал, как через месяц приходит. Прймайте, говорит, нету мне вкуса середь врага находиться.

Мирные жители

Поезд за поездом, и дугом и шагом. Вещей и вещичек. От большевиков спасаются, опухлые с голоду а в заду бриллианты.

Ах-ах, а сама, хуже вора, вся захованая. Места на ней порожнего нет, до чего вещей упахано, одно с ней дело, грушей трясти,—сыпанет с нее на землю золотце.

У меня, говорит, конечно, спрятанные вещи. Я вас за это полюблю, а вы пропустите. Тот как бы с удовольствием, а потом все и отнял.

В роте на крепком клею бриллиантики к щеке приклеила, так шепелявая и провезла.

Все вещи задержали, пустили ее с узелком под зонтичком. Смеются. Отошла она с версту, да и засветись по-особому на солнышке. Те к ней, а у ней зонтик весь в колечках бриллиантовых по палке украшен.

Слякотище, а с него и обувь лезет, в поисках подошва оторванная. И лепится он по грязи непролазной и без денег, и без подошв

За ними кто? Застят себе света выдумками, вот и мордуются. А мы за людей, чтоб им лучше зажилося.

Поглядывал за ним, все он в комнате шуршит и шуршит. Тут ехать стал, и тот за ним. Дорогою же ни на шаг просто, ажно ходит под себя, ясно. Доведалися, все отобрали, наградили кого след. А тот с тоски и ехать дальше не стал,—помер.

Копаются, копошатся, аж преют. А этот станет с бочку, острым глазом глянет, две минуточки подумает,—и сразу,—порите, товарищи, крахмальный его воротничок.

Ходил я ходил, наменял на спички сколько-то масла. Стомился. А тут ночь, поездов нету. На последний коробок попросился ночевать.

Пустили. Лег я и как убитый, с усталости. Как вот меня хозяин будит, тикай, шепчет, атаман неизвестный в место пришел. Я из хаты, конные меня споймали, привели, давай документы. Дал я, и масло дал, и сапоги дал, и всю одежку. Еще и спасибо велели, что за спекуляцию не расстреляли.

Хозяев мы на кухню. Кухня у них хорошая, однако, не горница все же. Им бы обидеться, а они боятся, мышами шмыгают. Мы их ни к чему не допускали. Просились на нас готовить за прикорм, не дозволяли. При пище чего бы не изделали.

Разно жили кто остался. Смотря по жителям. Такие были, как ушли красные, сейчас первого с улицы приведут и отдадут ему, хоть бы и раненого. Мы, говорят, комнатой стеснены.

А то свалят больных на извозчика, да прямо в часть,—берите, это от красных остались. а мы комнатой стеснены.

Есть мирные ни с чем не сообразные, несговорные. Один, сколько-то арестованный, до того со всеми за дермо домашнее клочился, пока не расстреляли.

Также мы не любили мирных за хитрость. Не хочешь версты мерить? Сиди дома, только не стережи ж ты дерьмецб разное на стенках. Верите, из-за картинки какой ни то, змеей жалит при случае.

А война для них самое ненавистное, и те тоже ненавистные люди, кто ихнее барахло барахтает.

Вы, говорит, войну тянете, а не белые. Вы, говорит, никому покою не даете. Белые, говорит, нас войной не нищили, они больше за границую воевали. Вы, говорит, под хвостами скипидаром мазанные. И та-та-та, что ты с ей сделаешь.

У ней разрисованная шкатулочка с карточками. Взял я себе, унес, смотрю. Старые такие женщины в равных нарядах, военные с бакенбардами, дети всякие в панталончиках. А тут она ко мне с претензией,—одно, говорит, единственное, и то отнимаете. Тю. Шваркнул ей, нате, берите ваших папашенок, нам они чужие и ненавистные.

Придешь в хорошую квартиру, хозяева, конечно, сробеют, все берешь. А разговору не выходит и не выходит. Свалим хозяев на пол, сами на пружинах, с вефами не бережемся, грязь там всякая. Не нежничаем. А разговору не выходит и не выходит. Которые из нас в гимназистах хотя были, с теми как бы говорят. А нас боятся.

Жители хитрый народ, и не всякому в пору. Одни нас ютят, другие иных. Одни при нас нищи и убоги, а при других яства и питья полны столы. Жителя сильно щупать надо, пока не угадаешь.

Как старается, пожалуйста откушайте, товарищ, а ручки у него по салфеточке толстые, да дрожат,—того бери, выщупаешь.

Зажился я с недельку, тут ихние надошли. Мои-то добродетели-гостеприимцы—вот, говорят, он—нате. Шкуру спустили, душу вымордовали. У меня теперь стратегия,—как я в дом, так и гром.

Мы не очень врачей ненавидели, да и при старом режиме лечили, тут ничего не скажешь. А вошел я, сел, а под нами лужа с похода, по коврам и лакам. С конфузу мы серчали, и не вина наша.

Мы, говорю, вам теперь за старое не плательщики, Иван Иванович. И не попрекайте. Вы думали, что нам добро делали, а мы так считаем, что только что наше отдаете. Давайте новые счета заводить.

Берег семейство, всем угождал, каждому просто ноги мыл. Сперва нравилась его вежливость, а потом сказали,—коли ты и тут и там, так какой с тебя толк, и—разорили.

К одним попадешь, просто тебе сапоги ляжут, к другим,—молчки волчатся, а где, словно от чертей, шарахаются. И нигде-то, нигде, просто, не приветили. Это мы, а то мирные жители.

Я, говорит, белобилетчик. Хорошо. Мы, говорит, неизвестно за что страдаем, а мирные между тем. Как вдарит белобилетчика,—вот тебе теперь враг известный, выбирай, а не сиди на месте гнилым чирием.

Вы, говорю, человек молодой, наживете еще, а мы и опять приберем.

Он нам вроде кашевара был, чистый такой старичок, подозрительный. Спросит, бывало, чего, да сразу «да вы не подумайте»... А нам чего думать? Живи, коли мы такого-то к котлам приставили.

Как отступали—голода с нами ушла. А за речкой вдарили враги, мы жителей с повозок, да и тикать в лесок до поры. Так и жители к вечеру доползли. С бабами, со спеленышами, что с ними делать, всех не прокормить. Однако бабы пошли, побирались, еще и нас питали.

Все сразу стало видать, будто подпись сделана. На балконах дамочки зацвели, в тех цветах кидаются. И откуда все проявилось? Брошечки, сережечки, перчаточки,—ничего при нас видать не было. По домам жгут-палят всячинку, беднота по щелям да в подполье.

Кто, спрашивает, в вашем доме из товарищей зажился? Председатель и наведи в наше помещение, а мы там еще до войны поселились, и помещение незавидное, темно, сыро. Ходить из сараюшки. Меня в разведку, бить, гноить, только ушли невдолге. Вернулся я, ни семьи, ни добра, да и председатель утек,—взыскать не с кого.

Стала у нас братва пропадать бесследно, сегодня один, завтра другой. Нет и нет. Банька была такая черная, аж лоснится. Пару-жару, ничего не видать. Только было я скисать стал, как вползает щелью существо такое, голое, не разобрать, мужчина или баба. И видать мне сверху, что не нравится мне это существо. Как скочит до меня с ножом,

журкнул я, однако царапнул меня в пах. Кровь идет. Как завозится, как забьется. Я сгрёб, глушу. Дедко седенький оказался. Я его в пайку головой, и крутым кипятком заварил. Замер он, я оделся и вышел.

Притаился я, ищут, а ходу-то до горы—на руках притянуться. Вдруг, тот-то—у них, говорит, горяще есть. Есть кто на горяще? Молчат. Лазь, приказывает. А всего-то моего оружия—лемех ржавый. Вот я им и стал воевать. Верите, все воинство до того перешиб, за подкреплением побегли, я и утек. Думаю, хозяевам хуже моего пришлось.

Все нам прислуга перенесла. Ящиками макароны, да консервы на горяще. Махнули мы темною ночью, дворничек открыл, связали мы его для видимости, и горничных девушек, господ позаперли, и на чердак. Ящики до того тяжелы, еле сволокли. У себя смотреть, а там патроны, а там обоймы, а там и револьверы. Закопали, и стали своего часу ждать.

Так я у той кухарочки на печи и пребывал до времени, днем за родственника, ночью в полюбовничках.

Тело наше теперь корою покрытое. Мне баня настоящая нужна, а не ванна ихняя. Меня теперь скребницей не соскребешь,—а они мне губку тычут. Что я, бабий зад, что ли.

Стали мы за тем домом следить, и вечерочком одним закопали хояина. Как тою же ночью ломится до нас кто-то. Входит, ну как есть арестованный тот.—Это, говорит, я вам надобен, а не брат. Вот она ирвь-то, а знал ведь на что идет.

Тоже пристал к нам интеллигент. Обещал по всем заграницам о нашей правде печатать. А сам как на подводу попал, так и спит. Жрет, пьет, не воюет. А с писанья его толку что-то не приходило. Дали мы ему по шее, отстал где-то.

Лазь, говорит, в рундук под овес. Влез я, они у меня под ребрышками жтыком маленько пошукали, и ушли. Ничего, справился.

Обобрал он попа чуть не до гола. А тут старые порядки вернулись. Не успел еще батюшка к нему грянуть, как служить молебен пришлось. А тот дурень в церковь сунулся, мол, какой я подданный. Как увидел его батюшка в церкви, так из алтаря выскочил даже, да завопил: не вступай, сукин ты сын, в храм божий,—вот этими самыми словами.

Греха нет, это известное дело, но поступки всякие бывают, и без греха. У нас много тогда поступков из-за кухарочек разных пришлось. Прибежит такая к нам пролетарка, хвостом крутит, на ней барынины там кружевца всякие, да та-та-та, они мне то, они мне это... Особенно на работы из-за этого посылали. Зря мы старушенок валадали, да как такой вертихвостке не угодить.

Был я тогда главный, и приходит ко мне бакенбардист седоватый. Шепчет. У меня, говорит, мой прежний барин, заводчик, скрывается. Об'ел, обпил, заберите, говорит, вы этого эксплуататора. Пришли мы с темной, верно, есть такой. Только говорит он на бакенбардиста—я говорит, ему за свою сохранность на миллион отдал. Мы в бакенбардистову кладочку, а там золотые деньги. Вот это так об'ел, обпил.

Всякие финтифлюшки неубедительные. А мирные эти на финтифлюшки кинулись, память, говорят. Тут мы на этих штучках и сердце свое отвели и им житье освободили.

Не в силах мы теперь вещи в целости оставлять. Поглядишь на что ни то, и такая тебя сила за желчь возьмет,—пнешь ногой, или из револьвера, громче.

Особенно зеркала кровь портят. Стоит оно чуть не под крышу, и себя в нем походного увидишь всего, до того дикого виду, до того не к зеркальцу,—ихватишь по нем, аж гром.

В куток забьются, занавесятся барахлом, там и живут. По ночам плачут, до того скулят, крикнешь, бывало, как на собак—цыте.

Нужда у нас во всем, а других промыслов не видно, как у мирных брать. А они, словно ягнятки, до того не обижаются, до того обтерпелые, ажно жаль.

Для этого, говорит, мы воюем, а вы мирные терпите.

А вы, кажет, выберите себе хозяина, да и ступайте за его стопами. На месте же сидя, мира не добыть. Одна это слава, что вы мирные, на деле же вы самый вредный элемент.

Их нет теперь, мирных жителей. Придешь куда, житель дома, в руках у него сковородка, а сыновьими руками в равных армиях тот мирный оружие держит.

Атаманы

Есть она у нас поговорочка—с атамана проку мало. А интересно. С тебя работы и смелости требует. За то и воли во враге не снимает. Что ты хошь, то с ним и делай,—хоть ешь его.

Запретил баб атаман,—коли вы, говорит, товарищи, так и служите друг дружке, а бабьим теплом не грейтесь,—продаст.

Дисциплина у него какая бывало. Курить, так и то по приказу.—В лесу, говорит, баловство лешим на руку. Строго живите.—Пленного до того бывало вывернет, за человека не признать. К селу нас не водил, утичете, говорит. А мы и так уतिकли, а его в кожух обкрутили, да и важгли в костре. Ревел бугаем.

Знавал я Петлюру, невидный дядя, ничего особенного. Кто его знает, с чего он носа крутил, а сильно задавался.

Привели ему всех коней, и все коляски. Ходил-ходил,—выбрал. Теперь, говорит, давайте мне барыню до коляски. Привели ему—выбрал себе соколиху, сел с нею в коляску, поперед нас едет, а мы песни поем.

За ту за самую соколиху сколько он народу перешиб. И муж-то ейный кругом волком рыщет, как кто отобьется—убьет. Да и атаман от красоты заверел, чтобы на нее не залицались. Бывало, ты на нее глазом облизнешься, а он бить. Перепортила соколиха дружбу.

Я всех почти атаманов знаю, ну такого серьезного не встречал. Первое не по-атамански—в очках. Второе дело—не русский и никакой,—может цыган какой ни то. И третье, перенести невозможное, как валюет, завывает на вы, словом доходит. Этак-то разве воля?

Атаману первое удовольствие было—птица певчая. Зимой при нем скворец ездил в клетке. А канареечки его у бабенки у одной зимовали. По тем канарейкам его и выседили.

Привели командира до нашего атамана. Они сейчас за ручки, и по-французски гули-гули. А мы свое дело сделали, и петельку и сук,—готово, пожалуйста. Только что-то приказу нету. Юким и кажет:—вяжи, ребята, вторую зацепочку.—А мы и рады. Обоих. С тех пор разошлись мы сами по себе.

Привели командира самого. Очень такой видный мужчина, рубаха в крови зашлась, галифе на нем, а ни тужурочки, ни сапожков. Какой ты, спрашивает, смерти себе просишь? Расстреляй ты меня, тот ему. Ладно, расстреляли. Ведут другого. Какой, спрашивает, ты себе смерти просишь? А тот ревет слезами. Ладно, говорит, утопите-ка вы его в бочке, ему, будто, мокрая смерть мила. Стали его в бочке топить, высокий, не присаживается под воду. Ну, ткнули, так присел. Смеху, бывало, в бандитах.

Тот атаман не просто рожден был. Отец, будто, у него раввин, а мать, будто, монашенка была. Вот он и вышел такой сумной, и думка в нем повсегда, и крови хочется, и молитву любит. Кто его знает, шалый.

Мы с немца в большевики желали, да некуда податься было. Надошел тут чужой человек с Дону. Смелый такой, косоглазый весь. Идите говорит, за мною, не хуже большевиков врага вышкварим. А тогда растолковать-то некому было, да и терпеть некогда. Так и пошли. Да что-то до толку не доводил,—сегодня он офицеров глушит, а завтра над мастеровщиной тешится. Абы разбой. Ну, окружили нас какие-то солдатики, он в болоте и утопись,—самая ему смерть.

На той войне был у меня один соратничек, как бы дружок: звал я его Васильком. За тяжким ранением отправили его, я скучал. А вестей не знали мы друг о дружке. Все я теперь думал, сгиб он от болячек разных. А я отвоевался, домой. Тут завируха эта. Я путею выбирал, вря время проводил. А тут к нам подошли чьи-то братишки атаманские.

Кто их знает. Кармана мне зацепили, и пошел я к ихнему атаману перед лицо правды допросить. Привели меня в ту хату. Сидит под иконами дядя, весь с ран перекрученный, ажно глаз у него один. А нарядный, а гордый—шапка козырем. Глянул я на того ледящего, да тихесенько так—здорово—кажу, Василек.—Аж червонной кровью морду ему залило, до того признал. Сам же остатним своим глазом кругом вырк-зырк, да вдруг прямым голосом ко мне,—«какое», говорит, «у тебя, мужик, дело до меня, кажи швидче». Как услышал я про мужика, как стал я его матерно срамить, как стали они меня бить,—не чуял и в живых остаться.

Привели ему попика молоденького, горячий попик, стал грехами корить. Отчитывал,—грехи, мол. Атамана того видно не было, только сподручные слушали попика, и ничего. Как хватит попика пуля, не знай откуда. Сгиб попик, а атаманова и палатка не раскрылась. Кто говорил, что баба он, а кто, что и нет его совсем. Никто не видал. А может он князь великий был, кто его знает.

‘Коммунист? Таков я, говорит. Есть у тебя гроши? Нету, говорит. А что у тебя есть? Билет, говорит, да револьвер. Будь же ты, говорит, коммунист, с нами в друзьях, и с билетом своим, и с револьвером, противу общего ворага. Вот он какой.

Вот, говорит, тебе сумма немалая, вези домой, а сам к утру вертайся—не все слезы еще сосчитаны, не все еще гнезды змеиные повыведены.

Чией сундук? спрашивает. Мой, говорят. Петро, тащи сундук у тачанку. Чья шуба? Моя, говорят. Петро, тащи шубу у тачанку. Сперва узнает чье,—уж потом тащит.

И сразу всех вешать. А подо мной ветла и помякла, до земли. Я ведь вон какой, здоровый. И до того они смеялись, ажно в живых оставили.

Как в местечко пришли, сейчас велел он народам пианолу заводную доставить. Тогда, говорит, никого не обижу. Давно, говорит, кортит мне та музыка. Изловчились народы как-то, достали ему. А он и жидка молоденького в придачу взял, к инструменту: Да так и ездил с музыкой, немалое время под музыку атаманил.

Видывали, спрашивает, вы царя? Видали, говорим. Глядите ж, говорит, на меня, такой он молодец жывал, и может ли он противу меня? Стал он перед нами, есаулы его под руки держут, они здоровые, а он словно осокорь. В плечах у него сажень, кафтан на нем парчевый, усы вьются, зубы белые, глаза огонь, румяный, красота. Вот это атаман был.

Видали Деникина генерала? И приказывает своему какому-то Денигина представить. Тот представлять стал, ну, чисто тебе обезьяна, а не генерал. И Николая Николаевича рассказал, вроде Кашея. А атаман как загочится,—вот же я какой, на тех непохожий. Здоровый, чисто жеребец, с таким не пропадешь.

Одно в нем плохо было, спелых женщин не любил. Набирали ему девок не старше восьми годков. Кабы еще дворянин, а то, где ж это видано.

У него так: кто верует, для того церковь—палатка, и батюшка, и для магометан. Жидов же истреблял и к себе не брал. Ко всем справедливый. Первое спрашивает о жизни, для чего воюешь? И даже, если дворянин не для себя,—пощада ему. Многие с народом пошли, из-за его справедливости.

Смелый до чего. Раз паника, сигают с бою, ажно рты в мыле. Так он ж... заголил, ко врагу ее оборотил, присел, и как бы с... под пулями. Мимо такого зайцем не сиганешь, все и вернулся.

Атаманова близнеца за брата забрали, а как дозналися, что не тот, так перекроили ему все лицо за сходство.

И говорит им атаман,—братики, до того похожие вы, нельзя такое как бы чудо целиком со свету свести. Кидайте жеребий, кому из вас жить, а кому помереть.

Привели ему одного, а тот кровный его сынок оказался. Глядят друг на дружку,—снял отец шапку, в землю кинул,—не могу, кричит, свое семя сушить, какой я вам атаман. Однако простили ему, оставили сына, как бы вестовым.

Из монахов он был. Здоровый, черный, худущий, чисто судья какой из писания. Завел он моду шутки шутить над врагами. Приведут кого, он сейчас его перед людьми поставит, и судить. Чего, мол, заслужил? Смерти, мол. Мало, кричит. А сам кровью до синя, и голос ему перехватит. А чего смерти больше. Нашел же с. с. Что ни сделают, все,—мало кричит. После него таких понахаживали, по сю пору снитса.

У нас расстрига атаманил. Иноверцев не принимал, все мужиков православных. И чтобы при нем кресты сняли, и пяткой наступили,—это у него вроде как присяга была.

Все едино, говорит, и белые и красные—одна сволочь. А я вольный атаман, войска у меня 40 мужиков, золота у меня на всюю на тысячу. А уж воли да смелости—только бы пофартило, до Санктпетербурга докачусь.

Стань, говорит, сынок, и смотри в мои очи не сморгнувши. Выдержишь—жив будешь, не выдержишь—пропала твоя головушка. Так себе войско насбирал, наиверных людей.

Ему бывало говорят, кто поумнее,—подайся атаман в большевики, все к делу ближе. А он плачет,—какой, говорит, я большевик, коли я еврея просто перенести не в силах, буду, говорит, разбойничком атаманову судьбу искать.

Свел у тебя немец худобу?—на, за каждую голову столько. Сжег у тебя офицер хату? На, столько-то на стройку, строй. Убили у тебя враги родных-кровных? На вот тебе обрез да коня. становись за меня, да не для себя,—для всех. Вот он какой.

Голубь плакал,
черный Ворон звал.

Вечерком-вечерочком,
вечерней зарею,
черный Ворон крылом бьет
о сырую землю.

На той земле золотой песок,
на том песке—белое перо.

Его Ворона очи видали,
в черну землю Голубя закопали;
золотым песком закидали.

Бьет Ворон крылом,
да тем белым пером,
по черной земле,
золотом песке.

И раз бьет,
и раз зовет,
ох, выдь-выди!
И два бьет,
и два зовет—
ох, выдь-выди!
И три бьет,
и три зовет—
ох, выдь-выди!

Голубь плакал,
черный Ворон звал!

Ты проснись,
гей, проснись;
Голубочек!
Как ты стань,
гей, встань
Орлом сизым!

Уж ты выдь,
гей, выдь
из могилы,
Раскали,
гей, кали
сердце желчью!

Ты закрой,
гей, раскрой
вражьи очи!
Ты полей,
гей, вали
землю кровью!
Орлом будешь,
доли добудешь!
Голубем выйдешь,
и следу не кинешь,
и свету не минешь!
Голубь плакал,
черный Ворон звал!

П е с н я

ЕВСЕЙ ЭРКИН

Что это: короткая стоянка?
Скоро снова загрохочет путь?
Не заметишь даже полустанка,
Ровно дышит под шинелью грудь.

Нет, не то. Совсем не та теплушка!..
Прочны стены, окна ко двору,
На столе недопитая кружка,
И светлеет комната к утру.

Так бывает,—в памяти промчатся,
В неостывшей памяти моей,
Дни и дни, они уже стучатся
С диким лязгом, топотом коней.

Вот столпились, и знакомый голою
Запевае буйно о былом,—
Распевае, и седеет волос
На виске протоптанным углом.

И пока поют воспоминаья,—
Тише, тише,—в комнате светлей.
Всходит солнце над соседним зданьем,
Вот и угольщик поет—«углей»...

Черный уголь покупают в дело,
Чтоб в огне испепелить до-гла.
Юность, юность, где ты пролетела,
Где ты дни безжалостно сожгла?



П у р г а

Повесть

ВЯЧ. ШИШКОВ

(Окончание ¹)

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Прошла неделя. На дворе было ясно, трещал полярный мороз. Петр сидел возле неугасимого камелька и отливал из тюленьего сала свечи.

Федор чувствовал себя плохо: весь ослаб, затосковал, надоедно твердил, что ему больше не подняться, что за ним приходил Михайло, звал его.

— Плюнь, чего там! — ободрял его Петр, пенял: — Сам виноват: вылежался бы до поры до времени. А то вскочил, перед иконой ползал. Вот и намолил!

— Да ить страх-то какой, Петрованушка! Аж волосики на башке встопорщились!

Сквозь промерзлые окна с трудом просачивался день, бледный свет подползал к кровати и мазал лица рыбаков мертвой краской. Но глаза их жадно хотели жить, набирали силу, с надеждой посматривали на закоптелый образ Спаса, на крепкие плечи Петра, на жаркий неумемный огонь в печи.

— Расскажи-ка, Федор, как попали-то в эту щель? Любопытно.

Рыбак тягуче откашлялся, сплюнул и перекрестился. Он говорил и час и два, язык месил слова, как тесто, память путалась в событиях однообразной жизни.

Петр слушал рассеянно. В шершавую речь рыбака иногда вклинивались его собственные мысли, перевиваясь в болезненный смутный жгут, и Петру казалось тогда, что не рыбак говорит и хнычет, а он, Петр Лопатин, жалуется кому-то на засевшую в нем хворь.

— Тут мы и закручинились, дале да боле. А старуха-то моя нет-нет да и ударится в голос реветь...

¹) См. «Новый Мир», № 2 с. г.

— В голос, батюшка, в голос... Дело бабье, глупое!

— Он, мотри, бросил нас безо всего.

— Кто такой? — спросил Петр.

— Да купец-то этот самый, Сила-то Назарыч... Как его хва-мил-то, будь он проклят!..

— Как?.. Гарасимов, — подсказала Марья.

— Какой Гарасимов?! Гарасимов исправник был, а не купец.

А то еще игумен, отец Гарасим... В монастыре тот в нашем, поди знаешь монастырь-то Микола-Божати?... Ну-к, в нем... А ты не сбивай, дура-баба!.. То ли Пастухов, то ли Ездаков. Чернявый такой, брюхан. Э-э-вот како чрево, быдто в тягостях, бык быком! Купец-то... Не даром Силой звать... Сила, а между прочим жулик, будь он проклят!

Петр заставляет себя слушать, кой-что втискивает в свою память, подталкивает Федора, прерывает ему пьяно шататься по вихлястой тропе воспоминаний.

Уныло течет время. Петр утомился. Он раскинул на полу шкуру, лег, закрыл глаза:

— Говори, говори, я слушаю.

Да, он слушает. Прислушивается к себе и уж не борется, только робко ожидает. Она идет. Все чаще и чаще тело его просило отдыха. Но отдых не облегчал. Для натуры Петра отдых и смерть — одно.

„Уйти, бежать“.

— Подло!

Глаза отыскивали револьвер, ощупали холодную сталь его, но тотчас же отвернулись. Над ним трепыхали, каркали, как растревоженное коршунье, слова Федора, надо схватить, поймать, но они летели прочь, бестолково осыпая перья.

— На кой тебе рожон? В море, в окяне, что рыбы, что зверья, сколько хошь! Только знай жри, не робей! Не подохнешь, мол... А я и говорю: „Паршивый ты, говорю, чорт, прости бог мою душу, кровопивец ты!“.. Он меня за бороду цоп!.. да в ух!... С тем уехал.

— Кто? — раздраженно спросил Петр.

— Как кто?.. купчишка!

Петр представляет себе купца, жирного, брюхатого, с заплывшими глазами, с жадным заглотившим щучьим ртом.

„А я бы тебя удавил, мерзавца!.. Я спустил бы тебя в полынью, к медведям!“ — Петр приподымается на локоть, сердито щурит глаза:

— Завтра на охоту пойду. Надо убить медведя.

— Дале хуже, дале хуже... так мы и свалились... Чисто омертвели... — Не слушает его рыбак.

— Кровь будем медвежачью пить. Слышите? Слышишь, Федор?

Вот оно, то самое, отчего так отплевывался Петр. Крови скорее горячей крови! Ноет спина, тоскуют ноги, во рту сухо. А надо обед варить. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Эх, чорт! Упорно думает,

курит трубку за трубкой. Облака дыма сизым свитком плывут в печь, пощелкивают дрова, бросая в Петра углями.

— Нет Андрухи и нет!.. „Ужо-ко я“, — говорит Мишка. Вышел да назад, а сам блажью кричит, крестится:— „Умер, говорит, Андруха-т, умер!.. В сенцах, говорит... Боюсь, говорит“. — А нам уж моченьки нет. Только стонем.

Петр думает свое. Ему ненавистен этот скрипучий голос, и хочется крикнуть, чтоб замолчал рыбак.

— Вот день перетосковали... Говорим Мишке, племяннику-то: „Мишка, говорим, иди по дрова, да по муку, вари чего ни то, ведь поколеем“. Ну, вздохнул это он, пошел. Тоже не хотца пропадать-то! Глядим—по полешку дрова таскает, мучки в лукошечке принес.— „Да ты пошто так-то? Принеси охалку, да приволоки весь мешок“. — „Не совладать, говорит, мы все... пропадем!“ Сел это на сутунок, морду закрыл ладонью да заплакал. Он плачет, и мы плачем... Вот до чего весело! А за стенами непогодь валом валит.

„Муки? Сколько же осталось муки?—пуда полтора. Мало. Крупы фунтов двадцать? Мало“. — Подводил итоги Петр. „Луку две вязки, пустяки. Как же быть? А главное, нет мяса, спирт на исходе“.

— Вот мы, значит, и засиротели... Умер он.

— Кто умер?

— Да Мишка-то, племянник-то! Фу ты, чудной какой!.. Оглох, что ли? Ведь сам же баишь, что умер.

— Ну, да, умер.

Щелкнуло горящее полено, точно выстрел. В печи запищало, заныло. Нудно на душе.

— А может, не умер? А? Почем знать? Может, ты постращал Ты, Петрован, не ври!

— Умер!—крикнул Петр. — Умер и похоронен.

— Как знать? Может, жив? Может, когда-то некогда придет еще.

Петр злобно посмотрел на них. Рыбак сладко зевнул, окрещивая рот. Марья лежала беспокойно: вздрогнет, подпрыгнет, заохает, а то выдохнет пустое слово.

Петр отвернулся. Его тянуло запустить в рыбаков поленом, и в то же время было нестерпимо жаль их. Это двойственное чувство мучило его, и не хотелось сопротивляться. Он наблюдал себя со стороны, не противодействуя.

— Вот мы сутки лежим, вот другие... Тело жухнуть стало, из десен кровь... Старуха стонет, смерть накликает. Ну, я сползу с кровати, да по полу-то на четвереньках, как собака, к печке, разожгу кой-как... Ну, мучица в сеялке была, поддену горсть, да опять пообачьи к старухе:— „На-ка, мол, жуй. Бог милостив!“ Да уж на кровать-то едва-едва вкачусь. А жевать—деснам больно, зубы шатаются, тяни любой. А тут уж и свет из глаз терять зачал. А про старуху думал, умерла, молчит. Только дух от нее идет чижолый. Я ее в бок. Заохает. Слава Христу—жива!

Федор вздохнул, запричитал что-то, потом сказал:

— Опосля того, мы приготовились: — „Марья, говорю, прости меня, грешного Христа ради!“ — „Бог простит!“.. — Взглянул на бабу — в слезах плавает. — „Не плачь, говорю, Марья, грех плакать“, — а сам не хуже ее, слезми давлуюсь. Окстился я, ее окстил: „Лежи, мол, жена моя, смирно, дожидай!“ Вот лежим, ждем. — И сколько времени пролежали, не знаю. Только отворилась, быдто, дверь... Ты слышишь, Петрованушка? Отворилась дверь, и явился к нам андель божий. Мы думали по душу, а это ты...

Петр вдруг вскочил, словно его поднял вихрь, и, не помня себя, закричал:

— Да, пришел! Пришел!.. Спасать пришел, ангел! — Он хрипло, придушенно захохотал, раскачиваясь, как пьяный: — Ну, что ж! Режьте на куски, жуйте, чавкайте!..

Рыбаки вдруг подпрыгнули, глаза их с ужасом впились в Петра:

— Петрованушка, Петрованушка!.. Петрованушка!

Тот быстрыми шагами вышел вон, с треском хлопнув дверью:

— Обрадовались?! Сволочи!

Стояла удивительная ночь.

На темном небе четко, ярко горели звезды. Вот „Золотой Прикол“ — Полярная звезда — куда небесные богатыри привязывают своих златокрылых коней. Вот семь волшебных звезд „Сохатого“, вот „Утиное гнездо“. В выси лысо серебрится месяц. Голубоватая снежная равнина вся в бегучих огоньках. Бесконечная, неузнанная даль. Полюс. Тайна. Новый мир.

Петр вскинул голову и тяжело задышал. Руки тряслись, стучали зубы. Ему хотелось криком кричать, его бесила торжественная тишина этой безмолвной, алмазной ночи. Хотелось ногтями царапать небо, яростно сорвать все звезды и утопить вон в тех бездонных омутах. Мрак так мрак, и в душе, и в небе!

Он схватился за голову.

„Должно быть, я окончательно спятил с ума. Ясно“. — Но крепкий мороз привел в порядок нервы. Петр сел. Сидел, не двигаясь, без дум, долго, может быть, целый час. Грудь затихала, умолкло сердце.

Звезды спустились ниже, покрупнели, переливной засверкали снежные поля. Душу Петра кропил тихий огонь, испепеляя неприимимое.

— Как хороша ночь! И как скверен, отвратителен я! Ну, за что я их? Нервы, хворь... Эх!

Ночь преображалась.

Край неба начал колыхаться, таинственные пучки света извивно поползли из-под земли, потянулись к звездам, к месяцу, исчезая в бездне мира. Зачинался сполох, северное сиянье.

— Богиня восходит по ступеням трона, — сказал Петр, улыбочиво шурясь на север. — Привет вам, неведомая богиня! А ведь вы подчас, простите меня, умеете прикинуться свирепой... Прошу вас, держите почаще вашу косматую ведьму, пургу, на привязи, — пробовал Петр настроить себя по-бодрому. — Во всяком случае, я вам очень благодарен хотя бы за сегодняшнюю ночь. Взгляните, королева!..

По небосводу пролегла звездная дорога—Великий Млечный Путь. Позлащенной дугой он опоясал небо, и там, под земным шаром, в бездне, сомкнул свое туманное кольцо—экватор вселенной. Золотые миры, как самоцветный песок морской, сгрудились на нем. Пусть так! Пусть невидимая ось вонзилась острием вон в ту звезду над головой—Золотой Прикол. Пусть вся вселенная в веках, в тысячелетиях беззвучно плывет, вращаясь возле призрачной оси мировых пучин. Хорошо, премудро, а что же дальше?

— Как вы полагаете, богиня? Будет ли этот мир существовать без меня, и буду ли я существовать без мира? Ах, не можете ответить? Ваш язык для смертных невнятен?.. Та-а-ак!

Петр не замечал, как лютует, злится над ним мороз. Иглою кольнуло в ухо. Петр рассеянно стал тереть щеку мохнаткой.

— Узнаю сам, узнаю сам, без вашего, сударыня, посредства! — Ему в этот час нужно было увести себя от земли, сбросить с плеч звериный неоправданный порыв, зачавшийся там, в избе. Он постарался припомнить то, что знал о небесных тайнах, мысленно переселяя себя в иные миры, висевшие над ним, под ним, искренне умилялся перед величием сущего, но и в его сердце все-таки кипела горечь.

— Ученые додумались, что если через Млечный Путь провести плоскость, то наша солнечная система окажется в центре этой плоскости. Значит, где ж? Значит, в центре бесконечности? Чудно!

Петр ядовито ухмыльнулся. Мороз стегнул в другое ухо. Где-то послышался гулкий треск: морозом разорвало камень.

— И вот я, царь вселенной, сижу здесь, тру рукавицей помороженный нос и пускаю слюни, как баба последняя. Ха-ха! Бежать? Остаться, спасать? Кого спасать? Себя, их? Или гибнуть вместе? Ну-ка, бог, отвечай! Про тебя идет в народе слух, что ты премудрый...

Насмешливое раздражение иного, еще небывалого порядка охватило дух Петра Лопатина. Кипела желчь, губы кривились, едва удерживаясь от хулы и проклятия.

— Кого ж спасать? Их или себя? Эй, бог?!..

Он быстро встал, взглянул в ту сторону, где похоронил в пещере мертвецов, и, давя хрустящий снег, пошел обратно.

Сполох причудливо играл, разбрасывая по небосклону снопы цветных огней и развертывая трепещущие свитки.

— Напрасно, богиня, трудитесь! здесь и пусто и мертво... Покойной ночи!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

До последнего ночного часа и весь следующий день Петр насиловал душу, принуждая себя изжить острую ненависть к рыбакам и вновь пробудить к ним чувство сострадания. Но внутри все оставалось по-старому, власть над собой гасла, и лишь внешне приходилось искупать вину. Рыбаки не умели читать в чужой душе и с трогательной растерянностью умиленно принимали его заботливую хлопотливость.

Под вечер Петр сказал:

— Я вам баню устрою.

— Ох, ты, батюшка ты наш!.. Да как же ты это?

Из своего брезента он соорудил в их просторной, артельной избе палатку, затащил туда корыто, кадущку с кипящей водой и стал бросать в нее раскаленные булыги. Клубом подымался в палатке пар, вся изба наполнилась белыми облаками.

Федор и Марья улыбались, прислушиваясь, как шумно бурлит и злится вода от бухающих в кадущку булыг.

— Спаси ты Христос, ну, и диво!..—чмокал Федор, любовно следя за разутым, голым по пояс, Петром.

— Ну-ка, ты иди первый!

Рыбак загоготал от удовольствия, когда Петр стал тереть его намыленной мочалкой из шелковистой морской травы.

— Полпуда грязи с плеч!

— Хы! — радовался рыбак, покорно подставляя голову под искусные руки Петра.

Кончив с рыбаком, Петр крикнул:

— Марья, айда!

— Да я сама, кормилец!

Федор, вымытый, в чистом белье, причесанный, лежа на кровати, слышит:

— Дай-ка, Петрованушка, холодненькой!.. Ой, глаза ест! Горячо, слышь, горячо — разбавь!.. Спаси ты бог!

Федор сморкается и шепчет:

— Ну, и человек добрейший!.. Чисто мать!.. — И, напрягая слабый голос, кричит:

— Петрованушка, век будем бога за тебя молиты!

Спать легли рано, все утомились. У Петра гудело в голове, озноб пробегал по телу, ломило глаза, чувствовалась слабость. В тепло натопленной избе он хотел как следует прогреться под шубой. Болезнь не на шутку угнетала его.

Погас светец, в избе темно, только угли в печи переливают золотом, да в окна плятятся слабые отблески далекого сполоха.

На кровати шопот, вздохи,

Петр старается заснуть — не может. А так хотелось спать. Свернувшись, лежит под шубой, вспоминает кузнеца Филиппа, своего далекого товарища, и весь далекий свой уюг, к которому — чувствует Петр — едва ли он вернется.

„Чорт меня сунул сюда притти“.

В правом виске дергает — ноет живчик, замирает сердце. Хочется пить. Петр вздыхает. Тьма вторит ему глубоким вздохом.

Да, он определенно их ненавидит, как каторжник кандалы. Недаром с таким омерзением мыл смердящие, полумертвые их тела. Ему тошно было гоготанье Федора, и кто-то уж подталкивал руку: „задуши!“

Погас последний уголек в печи, утихло небо. В липкой, нудной тьме Петр хлопает глазами.

И опять:

„А ты убей их! Тогда свобода!“

Петр трясет головой, стонет, злобствует: нет, он никого не убивал.

„А если убью, то только себя. По праву“.

„И их!“

Петр грохнул в пол кулаком и заскорготал зубами.

— А?! Ты, Петрован, чего?

— Я вам хочу сказать вот что, — раздельно начал он. — Вы знаете бухту? Черную скалу знаете на ней? Вверху гольцы, внизу пещера.

— Ну, ну?

— В эту пещеру я замуровал ваших покойников

Тишина наполнилась скрипом кровати, кряхтеньем, шопотом. Петр пристально смотрит туда, видит сквозь тьму, как крестятся рыбаки, ясно представляет себе полоумные их лица.

Молчанье тянется долго. Петру тяжело. И для чего он сказал им?

— Петрован, вздуй светец!

— Зачем?

— Да так. Мне не видать тебя... Надо, чтоб видно...

Петр исполнил просьбу и кстати закурил. Федор повернулся к Петру и долго смотрел на него.

— А зачем ты нам сказал?

Петр поднял голову:

— Что именно?

— Пошто ты сказал, где скоронил? — голос Федора испуганно дрожал, был подозрителен.

Петр не знал что ответить.

— Ну, сказал и сказал!

Рыбак медленно спустил с кровати ноги и завстрякивал головой, словно отбиваясь от шмеля. Жалкий, униженный вид его, козья беленькая борода, полуоткрытый рот, из которого с хрипом выле-

тало дыхание, вновь пробудили в Петре чувство омерзения и жалости.

— Я знаю, пошто ты нам сказал... — рыбак повесил голову, согнулся, упрямо глядел в пол.

Петру показалось, что из глаз Федора капаят на половицы слезы.

— Ты хочешь от нас уйти... Вот и сказал... чтоб знали. Ты хочешь нас бросить... — Послышался тяжкий, всхлипывающий вздох. Замелькала, затеребила бороду дрожащая рука:

— Умрем мы!

Петра кольнуло в сердце.

Федор не торопясь поднял голову. И, если б глаза его были зорки, он заметил бы, как подергивается и горит лицо Петра.

Долго, испуганно рыбак чего-то ждал, потом заговорил:

— Мы тебе верим, Петрован! — Голос его вилял и обрывался. — Верим, верим, ничего!.. — начал торопливо выкрикивать он. — Ты не бросишь, ты, Петрованушка, не спокинешь нас!.. Верим.

— Не спокинешь!.. Конечно, верим!.. — как вой метели, отозвалась Марья.

Когда послышалось их ровное дыханье, Петр порылся в сумке и вынул портрет Наташи.

— Ну, голубка!.. Тяжко мне... Задача усложнилась, душа дала трещину. Пособи, внуши!.. — И с большой нежностью стал целовать изображение юного лица с двумя густыми перекинутыми на грудь косами. И вот кажется ему: Наташа оживает, припала к его груди, обвила руками шею, жадно дышит. Миг сладок, но Петр говорит:

— Довольно!.. Сентимент!.. Зло! — и, спрятав портрет, вынимает толстую, мелко исписанную тетрадь. Заносит туда лаконично:

„Подозревают. Естественно. Рыбак Федор, будь он на моем месте, конечно, ушел бы, бросил бы меня, не задумываясь. Значит, и для меня есть выход. Пожалуй так поступил бы всякий нормальный человек. Нормален ли в этом смысле я? Вопрос. Желал бы быть исключением. Но для этого нужна воля, для воли нужно солнце. А где оно? Круглые сутки — ночь. Очевидно, воля волей, а географическая широта — над ней“.

Перечитал, задумался и не препятствовал внутреннему голосу который говорил, что совесть Петра теперь свободна, что она сбросила путы, мешавшие ей.

— Но почему?

„Рыбак Федор на моем месте ушел бы. Так поступил бы всякий нормальный человек“.

Полночь. Тикают на столе часы.

Вдруг померещилось пенье петуха — схлопал в сенцах крыльями, запел.

„Странно“.

Ярко топилась печь. Ковались в пламени червонцы, гудели синие огни, меж золотых углей струилась кровь.

„Чорт варит кашу,“ — подумал Петр. В его глазах рябило, в сердце ко пило что-то большое, пугающее.

— А ты все сидишь, да сидишь? Думай, думай..

— Я ни о чем не думаю.

— Что ж, уходи!.. Губи нас!

— Я не собираюсь.

— Твое дело молодое, мы старые... Чего жалеть!

Опять петух схлопал крыльями, запел.

Петр быстро вскинул глаза к кровати. Спят.

„Странно“.

Достал спирт, отхлебнул, крикнул. Крепкий спирт не ожог—вода водой. Отхлебнул еще. Лег..

В ушах стучало и слышался непрерывный шум. Закрыв глаза, но сон не шел. Спирт стал гулять по жилам. Чуть отлегло в душе. Словно рассвет забрезжил.

— Дурак, дурак, ради чего ты мучаешься? — прошептал кто-то, подмигнул.

— Уйду!

— Где тебе? Слюняй ты! Хи-хи-хи!

— А вот уйду!

Петру, в сущности, не хотелось вступать в спор.

С той страшной ночи в сенцах чей-то голый голос частенько надоминует о себе. Но Петр гонит его прочь, он знает, что это его болезнь, он сам, его собственных две половины.

— И чего ты жалеешь их? — шепчет призрак, очень похожий на Ваську-медвежатника, архангельского мужика, приятеля.

Сидит Васька на сутунке против Петра и шепчет. Шепнет слово, захихикает, шепнет, да подмигнет оловянным глазом, будто издевается. Надо бы на Ваську рассердиться, выгнать. Лень.

— И чего ты их... Хи-хи-хи, жалеешь?

— Люди.

— Две вши... Под ноготь — раз! Хи!.. Дурак!

— Молчи, пень! — крикнул Петр.

Васька качнулся на чурбане: „Чшшшшшшшшш, — погрозил пальцем: — пошто шумишь? Разбудишшшшшш“...

Петр открыл глаза. Васька пропал. По сутунку елозил отблеск еще не угасшей печи. Дремотно, тихо, полумгла. Петр потянулся к топору, положил возле:

— Только приди! — Ему надоел этот веселящийся мужик: — Убью!

Дремотно, тихо угасает печь. „Сохатый“ загнул трехзвездный хвост к самому окну, месяц ледяным лицом заглядывает в избу.

* * *

— Замерз я, старуха... Охо-хо!..

— А Петрован-то спит?

— Спит.

Федор спустил ноги, с какой-то особой лаской оправил чистую рубаху и побрел на умирающий огонь. Взял клюку, сгреб в кучу и положил крест-на-крест четыре полена:

— Благослови Христос!

Сухие дрова вспыхнули, как солома. Рыбак опустился на сутунок, где только что сидел Васька, согнулся вдвое и с улыбкой, тихонько гогоча, грелся возле пламени.

Петр скрипел зубами, что-то бормотал и шарил рукоятку топора: „Только приди... Убью!“

Федор ёкнулся в думы. Он вспоминал родные калужские поля и в хорканьи червонного пламени ловил то шопот колосистых нив, то отдаленный монастырский благовест. Вспоминал нужду, погнавшую их в Сибирь за счастьем. Вот теперь гибнут, умирают оба. За что же? Ну за что?

„Ледяное море холодное, солнце немилостивое, скупое, морозы палящие. Господи, не дай загинуть! Господи, укрепи раба твоего Петра!“

Сидит на сутунке Федор, думой думу погоняет и только занес руку, чтоб перекреститься...

* * *

Петр, вздрогнув, открыл глаза.

Возле него, на сутунке, скалил белые свои зубы Васька-медвежатник, лукаво моргал глазом и грозился: „Чшшшшш!..“

Петр крепко ухватил кровожадно звякнувший топор.

„Хи-хи!.. Спишь?“

— Не сплю... Тебя караулю.

„А давай в сурьез!“— Васька закинул пятку на правое колено, заюлил-заюлил носком сапога и залихватски подбоченился:

„Выходит, ты уйдешь... Скажи, уйдешь?“

— Останусь.

„А говорил: уйдешь. Дурак! Хи-хи!.. Ну, ладно. А для чего ж останешься?“

— Поставлю на ноги их...

„Врешь, уйдешь!.. Ш-ш-ш!.. ты не серчай. Ну, ладно... поставишь на ноги, а сам? Подохнешь?“

— Не знаю.

„А я знаю... Может подохнешь, может нет... Я все знаю... Я наперед вижу, всю жизнь твою вижу“,— вздохнул Васька.— „По тебе жизнь—палка, а по моему—обруч. Сиж у начала, а конец-то вот он... Хи-хи! Я все знаю-перезнаю“.

— Что знаешь? Скажи.

„Ишь ты какой, больно ловок!“—подмигнул Васька и закрутил черную свою бородку.

— Скажи!

„Чего говорить? Мразь ты, вот ты кто!.. Хи-хи-хи!.. Ты во стю раз лучше меня знаешь, что уйдешь... Шкуру свою спасти хочешь... Чорт! Разве тебе наш брат-мужик дорог?“

Петр шевельнулся, крепче сжал топор, глазом прикинул, куда рубнуть врага.

„Вижу, злодей, вижу!.. Убить хочешь. Не боюсь. Молись, злодей, читай: „укрепи, господи, раба твоего, дурака!“

Петр, крадучись, приподнялся, и со всех сил рубнул Ваську топором по темю.

Застонал кто-то, рухнул на пол. Застонал, заметался Петр. Он слышал, как из разрубленного черепа струится кровь. Ладони его прыгали по столу, отыскивая спички. Чиркнул.

— Петрованушка! Господи Суси!..

Петр оторопело метнул взглядом в передний угол, к образам, ноги подсеклись.

Под образами, хватаясь за ножку стола, трудно подымался Федор.

— Чегой-то ты, Петрован? Ой, батюшки!.. А меня помолиться потянуло.

Петр тупо смотрел на всаженный в сутунок по рукоять топор и ничего не понимал. Где ж Васька?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Три дня лежал Петр влжку. На четвертый полегчало. Стал снаряжаться: набивал патроны двойным зарядом пороху, делал крестообразные надрезцы на головках пуль, чтоб смертельней была рана в груди медведя.

С тревогой следили рыбаки за его работой, молчали, даже не шептались. И их молчанье было знаменательно: Петр ясно видел все их сокровеннейшие думы. В такие минуты слова излишни. Три человека—они и он—были связаны в одно. Все открыто, как ни старайся скрыть, запутать.

Но между ними был четвертый, тайный. Петр знал его: он—некто, маленький и лукавый, сидящий в нем, он силен, когда слаб Петр. А вот пройдет болезнь, Петр, как змею, загонит его в дуло и выстрелит, чтоб развеять прах с кишками. Скорей бы!

„Поправлюсь или не поправлюсь?“— все время вьется вопрос, как над полыньей чайка.

Но и отвечать не надо, Петру ясно: если здесь останется—умрет. А между тем хочется спрашивать, хочется гадать; ждать обманного ответа.

„Уходить или оставаться?“

Он исподлобья взглядывает на рыбаков и в их унылых, раздавленных фигурах читает приговор:

„Уйдешь!“

Петр опускает взгляд в землю, руки его работают ощупью, неверно загоняя пыж.

Весь день прошел в молчаньи. Чувствовалось неладное, мучительное для всех троих. Не слаще была и ночь. Сон ушел из зимовья, думы выгнали его на мороз, под расцветенные огнями небеса.

Охватило всех тихое смятенье. Лежали молча, прикидываясь спящими. Как высушенные жгучим ветром нивы примолкают перед грозой, ждут, облекаются в тень любопытствующей тревоги, неуловимо преображая свой лик, так и они, трое, почувствовали ясно, что гроза идет.

„Господи, как бы не ушел“,—думал Федор и, крадучись, вздыхал.—„Нет, не уйдет, однако. Никола милостивый надоумит... Петропавлы апостолы“.

„Как же я уйду от них? Я не зверь, я человек“,—думал Петр.—„Хотя бывают обстоятельства...“—И эти противоречивые мысли не дают покоя.

„А я не выпущу“,—бродит в голове полоумной Марьи.—„Вот лягу поперек двери, да и... Ей-богу! А то шапку скороню“.

— Ты, Петрованушка, спишь?

— Нет.

— И я не сплю. Хворь чегой-то наедает. Душу свою за овцы... Вот как это в церкви-то?.. Отец Гарасим, бывало, архимандрит...

— Знаю,—ответил Петр.—Это в евангелии Христос сказал: „Кто душу свою полагает за други своя... Да, это хорошо сказано.“

— Дюже хорошо,—вздыхнул Федор.

— Дюже...—простонала Марья.

„Други своя... Какие они мне други? Нет, все равно. Каждый человек, нуждающийся в помощи, друг. А есть ли более несчастные, чем они?“

„Вразуми его, господи, дарь небесный, батюшка!“

— К чему ж это, Петрованушка, сказано?

— Христос призывает жертвовать собой.

— Жертвовать?—задумался Федор.—Это как же жертвовать? Вот у нас лавочник плащаницу пожертвовал. Опанкрутил тестя, да жертву принес...

„Но как же все-таки быть? Нет ли здесь по близости рыбаков?“

— Он—плащаницу, а бог-то сказал овцу!

— Да нет же!—раздраженно крикнул Петр.

— А как?

— Ну, как тебе об'яснить. Вот, скажем, человек шел по льду да и провалился... А другой увидал. Он, не раздумывая, должен броситься и спасти того.

— А ежели не умеет плавать?.. Он и того-то утопит... Проваленного-то?.. забулдыгу-то?..

Не сразу ответил Петр, задумался:

— Все равно, надо спасать,—наконец, сказал, и тотчас же усомнился:

„Да так ли? Для чего? Чтоб обоим пойти ко дну?“

— Ты, Федор, очень буквально, то-есть просто понимаешь. Конечно, на подвиг, на явную опасность не всякий пойдет... А только смелый... А вот что, нет ли по близости рыбацкой артели, вроде ващей?—неожиданно закончил Петр.

Федор не расслышал.

— А я бы стал спасать,—сказал он.—Сроду не плавал, а стал бы... Все-ж таки, живая душа, грех кинуть... Я бы жердя принес, досок... Я бы народ сгайкал.

Ему хотелось задать Петру прямой вопрос: уйдет или нет? но душа не позволяла.

„Нет, не уйдет. Ежели б хотел, нешто стал бы с нашим братом няньчиться?.. С дерьмом...“

— А ты, Петрованушка, спас бы утопельника-то?

— Нет,—твердо сказал Петр и сердито укрылся с головой.

Очень долго длилось молчание. Тихо в избе и за избею. Только голодные песцы где-то, взлаивали по-собачьи и завывали жалобно.

* * *

— Бабка,—едва слышно прошептал Федор.—Надо молиться богу-то... Уйдет!

— Уйдет,—прошептала Марья.—Как не уйти, конешно, уйдет. Чего ждатель-то?

— Умрем ведь. А?

— Ох, умрем!..

— С голоду умрем, бабка!..

— С голоду, с голоду!..

— Лучше пусть застрелит...

— Ой, ты!—завизжала Марья.—Боюсь я! Чего страшдаешь? Боюсь! Петр откинул шубу:

— Что ты кричишь?

— А ты не стреляй,—дико заговорила женщина.—Пошто стреляешь? Нешто я медведь? Я не медведь, я Марья...

— Цыть, ты,—цыкнул Федор.—Ботало коровье! Замоло-ола!

Вновь все успокоилось. Петр лежит в тишине, во мраке. Небо неподвижно, не светит месяц, густая ночь.

Петр слышит—плачут рыбаки. Да, плачут, сморкаются, всхлипывают. Он вдруг почувствовал на своих ногах несуществующие раны, струпья, что его десна кровоточат и ноют, как у тех двоих, Федора и Марьи, он испытывал физическую боль, словно он сам тяжело захворал, и его внезапно охватила большая человеческая жалость к ним, их стало жалче, чем самого себя.

Нет, не уйдет он, не уйдет! Сейчас же встанет и бесповоротно объявит им, принесет клятву,

Ему хочется крикнуть:— „Не плачьте, други!“

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Настало новое утро. Петр обрядился во все теплое и взял ружье.

— Кормилец, куда ты? Куда ты?!—взмолился вдруг Федор, будто выдохнул последний стон, и упал Петру в ноги.—Марья! Бабка!—кричал он, хватаясь за Петра.—Уходит! Ой, ты, батюшки!.. Отцы заступники!..

Сорвалась к кровати и Марья. Петр растерялся:

— Что вы, чудаки? я ж не уйду!.. Что вы?

— Уйдешь, уйдешь!

— Что ты задумал?! Петрованушка! Андель божий! Погубитель!..

— Я на охоту. Запасы кончаются!.. Вдруг свалюсь. Что тогда? Пойми ты это!

— Ой, не уходи!.. Христом прошу!

— Пока здоров, медведя убить надо... Крови надо. Ну, пусть же меня! Пусти!

Петру хотелось сумасшедше взвыть. Но тот, лукавый, научал:

„В зубы, в зубы! Двинь ногой!“

Петр к двери, за ним, на коленях, причитая, рыбаки.

С чувством отчужденной жалости он жестко смотрел на их скрюченные, опухшие в суставах, кисти рук, на их исковерканные отчаянием дряблые лица. Марья ползала, вывертывая ноги, как тюлень лапы. Федор норвил вцепиться и удержать его. Капали на пол слезы, жутким стоном стонала изба.

— Приду!

— Стой! Сто-о-й! Мила-а-й!

С облегчением он потянул ноздрями морозный воздух. Лицо приятно защекотал колючий холод. Едва поднявшись над хребтом, тусклым шаром леденело солнце, был полдневный час.

— Солнце, солнце! Молодчина, Петр: и полярную ночь покорил ты!—брызнул ключем радостный крик и сразу высох.—Чорт! Весна идет... А я все здесь!..

Петр знал, что инородцы севера, после полярной ночи, встречают первый луч солнца ликующим праздником, и с горечью сказал:

— А мы проспали.

Заструги сугробов плотны и блестящи, но меж ними—рыхлый снег. Петр надел лыжи и стал ходко подаваться к океану. Безмолвный погост кругом, немая смерть.

„Хоть бы собачонка была—все повадней,“—подумал Петр.

„А я-то“,—сказал Васька,—я тебе сейчас оленя пригоню, жирну-ущего!..“—Он скользил за Петром, но тот не оглядывался—знал что нет никого—только слушал.

Петр пригнулся и, ловко извиваясь меж выступами скал, спустился с кручи на белый ледяной простор. Васька, видимо, отстал. Петру стало свободней. Закованный льдами океан напомнил ему тундру, сердце екнуло и затрепыхало, как птица в клетке, увидавшая родные леса.

— Эх, туда бы!.. Домой бы!.. К Филиппу!

О далекой, но такой близкой, родной Наташе в этот холодный день мысль не зачиналась. Скользом, мимолетно мелькнул темный локон и пропал. О другом думалось, другое угнетало дух, — белое, мертвое, что было перед глазами. Плавали вдали туманы, скрывая грань небес. И солнце было заткано туманами, жалкие лучи скупо освещали воздух.

— Эх, домой бы!..—все настойчивей просилось с языка.

Петр повернулся к зимовью и с ненавистью ударил взглядом по роковой скале, к которой приковал себя проклятой цепью.

— А вот возьму, да порву!

„Ну ясное дело!.. Хи-хи-хи!“

Петр вздрогнул, пошел вперед, по привычке вынул трубку, чтоб закурить, но опять спрятал: не было охоты.

Хрустальные ребра исполинских льдин играли несмелыми огнями, снег отливал легкой синью и на ветробойных местах искрился. Какой хороший день, морозный, тихий. Но почему нет радости, почему так дрожит и бьется душа?

— А ну-ка, Петр, тряхни!

Он налег на лыжи, зашуршал нетоптанный снег, засвистел в ушах ветер, замелькали торосья льда. Еще, еще, сильнее. Все осталось позади. Петр остановился. Отер потное лицо. Дыханье было короткое, сбивалось сердце.

— Фу-у!.. До чего изнемог!..—Он теперь еще более уверился, что болезнь цепко его забрала, и раскаивался, что вышел на холод.

Рука сама собой потянулась за биноклем. Приставил к глазам. Поводил вправо, влево и весь затрясся: верстах в двух, над полынью, стоял белый медведь, ушкой. Щеки Петра вспыхнули, и рука сладострастно скользнула по ружью. Огромный медведь, раскачиваясь, смотрел в черный провал меж льдов.

„Караулит рыбу или моржа“.

К нему легко подкрасться из-за тороса, высокой грядой, как дамбой, опоясавшего в этом месте океан. Под защитой гряды Петр бойко двинулся вперед. И единая мысль была: „Как бы не ушел!“ Единое желание—напиться крови, влить в холодеющие жилы звериного вина.

— Крови, крови!..—как сухая губка, жадно жмыхало сердце, требовал потухавший взор. И уж все алело перед глазами: солнце, снег, лохмы облаков, взбуровленные льды. И вода в полынях закровянела.

— Крови, крови!—И, глотая обильную слюну, забыв усталость, бежал вперед. Сжавшись, с ухваткой хищника, прокрался ущельем

меж глыб мертвого льда:—Здесь!—Нет, все еще далеко, рука дрожит, пуля обманчива, надо ближе.

Дул встречный ветерок—радость Охотника—медведь не учует. Петр пал на грудь и пополз, не спуская с медведя глаз. Медведь обернулся, Петр замер. Медведь подался к полынье. Петр, как крокодил, подползал к нему. Близко. Из ноздрей зверя бьют струи пара, ему жарко, курится белая с желтым отливом шерсть. На белой морде три черных точки, два глаза, нос.

— Пора!

Сердце упало, остановилось. „Вот он, царь льдов!“ Блеснул смертоносный ствол ружья. — Спокойствие, — приказал себе Петр и взвел курок. Досадно дрожат руки, в глазах стоит слеза, все дробится впереди и пляшет.

— Спокойствие! — Петр взял под правую лопатку: — Кажется, так.

Хлопнул выстрел. Медведь торнулся носом, перевернулся, пал навзничь. Потом вдруг всплыл на дыбы. Петр мчал к нему. Медведь испуганно, хрипло рявкнул, заметался и полным ходом пошел наутек.

— Ах, дьявол! Обнизил!—неистово кричал Петр, несясь за медведем.—Врешь, ушкой, поймаю!.. Врешь!..

Васька то бежал сзади, то, нагоняя, похихикивал и хлопал в рукавицы. Но Петр не слышал:

— Врешь, нагоню! — Он вдруг остановился, бегло поймал зверя на мушку и спустил курок. Осечка.

— Тьфу!

„Хи-хи-хи!“

Петр бросил ружье, выхватил кинжал и по окровавленному следу еще быстрее ударился вперед. Медведь уходил. Петр напряг все силы. Но сердце разрывалось, захватывало дух. Ноги стали заплетаться. Петра качнуло, он схватился за голову.

„Наддай, наддай!.. Еще маленько!..“

— Ух! Не могу!..

Заколебались, зазвенели льды, закружилось, рассыпалось черным огнем солнце. Петр взмахнул руками и упал.

„И я прилягу... Я тоже, брат, замаялся“, — послышался Васькин голос.

Петр недвижимо лежал. Не было сил пошевелиться, легкие работали во всю, со свистом втягивая и выбрасывая воздух. Дурманно пахло звериной кровью, оросившей снег.

— Ух!..

„Пойдем в горы... Я тебе, по крайности, оленя пригоню... Ей-богу, право! Телятины... Хересу! Коньячку!—молот лукавый Васька.— А ушкой твой в полынью нырнул!“

Петр закрыл глаза. Погруженный в снег затылок так приятно отдыхает, успокаивается сердце, светлеет в голове.

„Ну их к чорту!.. Беги, бросай их! В оперу пойдем, в театр. А то—убей!“

— Ладно, убью.—Раздумно сказал Петр и твердо:—Убью!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Хвораєт Петрован-то,—прошептал рыбац.—Всю ночь бредил. Слышы!

— Ну-к, што?..—отозвалась Марья.—Слава богу!

— Балаболка ты!.. Короток твой ум, баба! Что ж, мы трое пластом будем валяться, что ль? В неделю ноги вытянем, чучело этакое! Тьфу!

Было утро. Голубел в окнах свет, гнал свет из углов остатки ночи. На лавке лежал Петр.

— Спит. Помолиться надо. Молись, ошметок.

— А мне чего.

— Кончаєтсѧ жратва-то, полудурок!.. Вот те и чего!..

Охая и тяжело ступая на больные ноги, сгорбленный болезнью, Федор стал разводить печь. Движение утомляло его, он то и дело присаживался на сунук и слезящиеся глаза свои, жалуясь и умоляя, обращал к образу спаса.

— Суси сладчайший, Суси!..—Слезы капали на грудь, на холодный пол. Бог не давал облегчения телу.—Ангел божий!.. Петропавлы апостолы!—И не посылал на укрепу своего утешающего ангела.

Федор согнулся в дугу, сидит, покачиваясь и обхватив руками голову.

Петр открыл глаза, потянулся.

— Странно,—громко, бодро сказал он.—Ты все, старик, плачешь? И Марья плачет?

Федор мотнул головой, смутился.

— Плачем, Петрованушка!..

— Плачем, отец!..

Замолкли. Петр неприязненно вздохнул. Вздохнули и те двое, и вся изба, и мутный сумрак за окном.

— Ты и по ночам, Федор, плачешь? Слышал я.

— Чего поделаешь?.. Плачу, Петрованушка, плачу!—Федор скрижил рот, заутирался кулаками и, всхлипывая и надсадно приседая на каждом шагу, поплелся к кровати.

— Старик, не плачь! Не надо, старик! К чему?

— Боюсь, Петрованушка, боюсь!

— Чего?

Федор ответил не сразу, потербил бороденку, помигал, его лицо передернула судорога:

— Смерти, смерти боюсь я!.. Господи Суси!.. Ох!

— Смерти? Плюнь! Не бойся, друг!

Голос Петра густо гремел, а Федор говорил тихо, хныкал и давился слезами. Петр стал поспешно умываться. Вчерашняя переделка во льдах не могла сломить стального организма, она лишь взбодрила кровь, начавшую истлевать в этих безрадостных пустынях. Однако глаза его беспокойно блуждали.

„Да, конечно. Так и будет! Иного исхода нет“,— твердо, как гвоздь в колоде, сидело в его голове крепкое решение.

Но тут же вспоминались двое: Христос и Ницше. Он старался проникнуться их волей к добру через подвиг или через призрачность зла. Но что такое добро и зло? Ведь это ж два лица одной сущности... А впрочем?.. Если б те оба, Христос и Ницше, были бог и чорт, Петр знал бы, за кем идти. Но в его представлении и тот и другой—люди.

— А раз так, у меня должен быть свой путь. Я человек, и во всем равен им.

А сердце по-детски тосковало.

„Солнышко! Где ты? Спасенье в тебе одном!“

Петр весело сказал:

— Все будет хорошо! Вечером устрою вам праздник. Слышишь, старик?

— Ох, батюшка ты наш!.. Как не слышать?.. До праздников ли.

— У меня есть спирт, старик... Есть вино. Для Марьи. Выьем... Больше, чем полагается! Идет?

Рыбак опять заплакал. И не понять было Петру эту причину его слез.

— Жратвы-то мало... вот чего!

— Не бойся... Все будет хорошо. Верь!

— Спаси ты бог!

— Конечно, конечно,—жадно подтвердила старуха, следя, как Петр крошит в котелок ржаные сухари.

Чай пили молча. Петр был задумчив. Иногда сдвигал брови, судорожно схватывал заросший волосами подбородок и сидел так в немом оцепенении несколько мгновений. Зорко следивший за ним Федор пугался, ставил чашку и, вздыхая, осенял себя крестом.

Марья сидела-сидела, вдруг хихикнула:

— Мишка приходил... Племянничек... Во снях это. А то, может, не во снях... было, нё было... Я, говорит, раб божий Мишка... А это, говорит, раб божий Андрюшка... А ты, Машка, дура!.. Троица Христос воскресь... Было, нё было.

— Пей, чего мелешь!—крикнул Федор и ткнул ее в бок.

Марья посмотрела на него тусклым, как льдина, взглядом.

— Умрем мы,—и заплакала. Рыжие, с проседью, волосы ее растрепались, свисли на лоб сосульками.

Большая скука была в избе. Жизнь отсутствовала. И трудно было ее создать. Петр дал рыбакам по глотку спирту, выпил сам.

Время спросить Федора о той загадке в ночи, там, в сенцах, с мертвецами. Нет, лучше отложить до веселого вечера. Если не подымется пурга—вечер будет веселый, последний вечер перед

* * *

Петр взял топор и вышел. Морозный с туманом день. Серый, безрадостный свет, мертвая тишь.

„Это хорошо, — подумал Петр, — погода установилась надолго“.

Принухиваясь, поджав лапу, стоял на дыбках у камня песец и сторожко смотрел на человека. Петр обрадовался, посвистал, по-манил его, как собачонку. Песец оскалил зубы, заворчал и по-собачьему тяфкнул.

— Жалко мне тебя, бесенка... гол дный.

Ему вдруг захотелось поймать зверка, чтоб приручить, но затея оказалась бессмысленной:

„Поздно!“

И враз выстрелил из револьвера. Песец кувырнулся, а два других скакнули из-за камней, хищно взлаяли и, поджав хвосты, бросились бежать. Петр поднял за шиворот мертвого песка. Белый, с голубым отливом, крупный.

— Дорого бы, парнишка, взял за тебя! А теперь на кой ты прах? Лежи!—И швырнул его.

Потом сел на камень, закурил трубку. Табак показался противным, бросил. Встал и долго ходил перед зимовьем взад - вперед, заложив за спину руки и повесив голову. Колени тряслись, шумело в ушах, ломило где-то внутри, под глазами.

„Авось выдержу... Три—четыре дня“.

Взглянул со скалы направо. Туман осел, даль была прозрачна. Внизу лежала равнина покрытых снегом льдов. Вновь поднял песка и пытливо всматривался в мертвые, с молочным налетом, глаза его.

— А ну, парнишка!.. Голодная божья тварь! Сердишься на меня? Или рад? Скажи! Я думаю — рад. — Он прижал к лицу пушистый мех зверка и, улыбнувшись, вздохнул:

— Прощай, брат! А верней всего—до свиданья!

* * *

Робким светом кой-где замерцали звезды.

Косясь на окна избы, Петр бесшумно выкатил нарту, смазал салом полозья, проверил постромки. А сам загадочно улыбался и все потряхивал насмешливо головой:

— Плюс—минус... Маятник раскачивается... надежды на него нет... Камень всегда падает книзу, определенно... Комик...—и еще какие-то странные ронял слова, сам того не замечая.

Когда кончил с нартой—снял шапку—огляделся. Хорошо кругом. Все небо усыпано звездными огнями, ночь будет тихая, волшебная. А если выплывет на вольный простор месяц—заголубеет божий мир и все пути посеребрятся.

— Плюс—минус... Бесконечность... Единица, деленная на нуль. Пять патронов... Довольно!.. Праздник... Миф.
И с этим осколком мысли пошел к больным.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Ну, други, свету не жалея! Свечей наделал много. Открываем вечерку. У вас как—вечорка называется?

Петр зажег четыре свечи, расставил их в самодельных из чурок подсвечниках по углам избы, а три свечи привязал на равном расстоянии к веревке, протянутой под потолком из угла в угол.

— Чисто лиминаций,—взбодрился Федор.

— Заутрены!.. Христос воскресь,—перекрестилась Марья, и острое, сухое лицо ее расцвело.

Петр бросал в горящую печь дрова:

— Эх, братцы мои, братцы! Хоть раз плечами тряхнем, забудем горе... Радости нет в нашей жизни... Эх, возрадуемся хоть раз!

Рыбаки не заметили отчаянья, прозвучавшего в беспечном выкрике Петра. Он развел спирт водой до вкуса водки и поставил на широкий, придвинутый к рыбакам, стол. Появилась крутая горячая каша, появилось варево из копченого мяса с луком, перцем. Вкусный пар клубился над котелками. Рыбаки глотали слюны, глаза их блестели и бегали от яств к вину.

— Выпьем!—скомандовал Петр.—Я сегодня в ударе: буду много говорить. Я все покорил: пространство, стихию. И последнее испытание мне дано. А какое—узнаете сами...

Рыбак проглотил водку, забодал вз'ерошенной головой и, гогоча, потёр грудь:

— Быдто Христос проехал!.. Кхе!

Марья смачно сосала вино, причмокивая языком:

— Еще, Петрованушка, еще!.. Скусно!..

— Выпьем, други, за радостную встречу!

— Андель божий, спас нас!

— Выпьем за встречу... Я чорт, не ангел! Не пугайтесь, не пугайтесь! Я человек. Я—Люцифер!

— Хы-хы-хы, веселый ты парены! Ей-богу, право! — пододвинул чашку Федор.—Плесни-ка... Дюже обжигает.

— Выпьем за Люцифера! Я—Люцифер. Я был с богом. Хочу восстать. Бог и природа для меня—одно.

— Одно, батюшка, одно!

— Впрочем, вы ничего не понимаете. Говорю не для вас. Говорю для своих ушей, а оттуда по ниточкам в сердце, в мозг. От языка в мозг, поняли? Обратный ход. Это разве нормально? Пей, старик, пей! Значит, кто-нибудь другой говорит, кто во мне. Вдвоем, значит: я и он. Поняли? Эх, ни черта вам не понять!.. Пей, что ли!

— Хы-хы-хы!.. Смышленные твои речи.

Похлебку с луком ели алчно, кашу чавкали старательно. но все еще десна болели, зубы шатались, рыбаки стонали и охали.

— Пей, старик! Марья, пей! Будем громко говорить. Надо орать в тыщу глоток в этой стране молчанья, надо песню ударить, да так грянуть, чтоб всем чертям было тошно!

— Хы-хы-хы!..— скрипел старик.

— Хе!— понравилось и Марье:— Чертям! Тошно.

— Ну, послушайте, спою вам красивую песню. Поет ее варяжский витязь, богатырь... Это в Питере, в театре, в опере. Слышали про театр?

Торопливо и кратко передал им сказку про Садко, вышел на среднюю и, представив из себя варяжского витязя, запел:

О скалы грозные, бушуй, плещет море...

Густо, крепко катился голос из широкой груди Петра. Рыбаки разинули рты и замерли.

Но крепки серые утесы,
Выносят волн напор,
Над морем воя...

Пламя ближних свечей заходило, заколыхалось. Рыбаки стали приподниматься, опираясь о кровать, а их удивленные глаза готовы были впрыгнуть в гремевший рот певца.

Когда захохотал на верхах и грянул громом его голос:— „Отважны люди стран полных!“— звякнули, затряслись стекла, а Федор лягнул ногой и с хохотом опрокинулся на кровать, заткнув пальцами уши. Марья замахала руками и залилась безумным смехом.

Петр оборвал.

— Животные!— пробурчал он под нос, сел за стол и сердито облокотился.

„А ты думал люди? Вши!..“— прошипел под столом Васька.

Рыбак поднялся и, утирая с гноившихся глаз смешливые слезы, сказал:

— Вот так это глотка!.. Ну, и орешь! Вот также у нас дьякон, отец Вострофуил... Нажрется, бывало, пьяный и начнет, стоит тебя, рывкать. Так от водки и подох... Вострофуил-то...

— Подох, царство небесное,— перекрестилась Марья.

Петру хотелось рвануть, опрокинуть стол, но во-время сдержался.

— Ну, друзья-приятели, выпьем еще! Чего нам не веселиться? Все равно!

— Пить, так пить, а не пить, так не пить,— скаля последние гнилые зубы, засмеялся подвыпивший Федор. — А вот ты нашу послушай, мужичью. Машка, зачинай!

— Я не смею.

— Зачинай!

— Язык толстый... Больно мне...

— Полудурок!..

Кабы бабе киселя, киселя,
Стала б баба весела, весела...

Нутряным ржавым голосом заскрипел рыбак, пристоупившая в пол пяткой.

— Машка, подхватывай! Петрованушка, вали громчей!

Кабы бабе молока, молока,
Стала б баба молода, молода.
Кабы бабе сапоги, сапоги,
Заплясала б в три ноги, в три ноги...

Потом все трое запели протяжную, проголосную:

Ты подуй, подуй, бурь-погодушка,
Да с самой сиверной сторонушки...

Петр тихонько гудел низким голосом, тревожно прислушиваясь, как кто-то четвертый подтягивает и страшно врет.

— Васька это!

Петр смолкнет, и Васька оборвет. Загудит Петр, заведет и Васька. Петр стал озираться, отыскивая Ваську. Должно быть, он возле печки на сутунке. Выждав время, Петр быстро оглянулся — но Васька сиганул в печку, только пятки мелькнули. Петр ухмыльнулся.

— Занятно все-таки! — Он подбросил дров и мрачно нахмурил брови.

А рыбаки, обнявшись, выводили:

„Ты ра-аздуй-ка, раздуй, бурь-погодушка, да, э-эх, калину во са-а-ду!“...

— Ну, ладно, замолчите! — желчно, с болью крикнул Петр. — Слышите! Я буду много говорить. Я вам скажу, кто я есть, с кем борюсь, кого должен победить. Эй, вы, рабы божие, черти! Я, кажется, схожу с ума!

Те, отмахиваясь руками и утирая слюнявые, в плесени, рты, пьяно плакали, взасос целовались.

— Други-братья! Выпьем еще! Эх, жаль мне вас! Скверно вы, люди, живете!.. Все мы по-звериному живем, лучше не можем, не умеем... Эх!

Петра тоже одолевало вино. Голова тяжелела, в жилах вместе с кровью плыл холодный жар, всего знобило.

— Я себя должен победить... Себя!

* * *

Когда рыбаки захрапели на кровати, душу Петра враз ослепил глубокий мрак. Он выдохнул весь воздух и упавшим голосом сказал притаившимся стенам:

— Ну, вот... и все.

Он остановился среди избы и, покачиваясь, прислушался к себе. Грозный кошмар накатывался, внутри сгорало самое дорогое — дорожке

жизни, то вновь рождалось, крепло и росло. — „Делай, что задумал“.

— Знаю...

Пронесется в голове вихри, вихри крутят, сатанеют. Стонет сердце, стонет, мучается естество.

Пурга.

— А все-таки я над собой хозяин! — открывает Петр крепко зажмуренные глаза. — Доказательств? ты требуешь доказательств? Будут!..—и начинает грузно ходить из угла в угол. Висевшие на веревке свечи роняют капли сала. Одна, привязанная за серединку, потеряла равновесие, перевернулась вниз пламенем, чадит. Остановился, загасил.

„Догорели огни, облетели цветы“, — вспоминаются трогательные слова, царапают душу.

— Нет, еще не догорели... Сейчас погасим свечи и... погаснем сами... ха-ха-ха!..

„Хи-хи-хи!“ — прячась в углу, подло подхихикивает голый голос. — „Кончай скорей!“

— Ладно.

Петр оделся, с отчаянием вздохнул: душа неистово в нем кричала. Твердо подошел к спящим рыбакам:

— Ну, вот!.. Сейчас, кажется, все-таки убью вас!..

Те крепко спали. Тихо было, одиноко, пустынно. Только лунные окна припали к полу, как хищники, сощурились, выжидающе открыли рты.

Петр вынул револьвер:

— Сначала вас, потому что я слаб... Потом себя, потому что я силен.

За окнами топтался кто-то, шептал, слушал, дышал в стекло. Скрипели в сенцах половицы. Петр вздрогнул, взвел курок. Ствол очень холодный, очень горячий. Петр прицелился в потный, с плешью, череп рыбака. В сенцах шарят дверную скобку. Петр встряхнул головой, перевел ледяные глаза на свечи. Свечи плакали, и пламенные хвостики, омываясь в чаду, дрожали.

Перед взором Петра вдруг вспыхнул свет, и словно кто ударил его в сердце. С великой жалостью он взглянул на рыбаков, отшвырнул револьвер и точно кто пригнул его—земно им поклонился—первый раз земно поклонился человеку — маленьким стал, проклятым стал, жалким стал:

— Проклятый—кланяюсь вам! Сильный—хочу спасти вас! Поборю—спасу! А вас поборет, приходите за мной—дам выкуп! Сон ли, явь ли? Нет, явь. И хмель как-будто прошел, и Васька уже не смел пикнуть, показаться,—сдох. Все прояснялось, получало новый смысл. Но голова на плечах—не своя: шумела в ней пурга, взвизгивали вихри.

Не своими ногами встал, не своими вышел вон, погасив огонь. Озноб трепал его.

— А что же я.—вдруг замер он. До жуткой боли захотелось наконец, узнать, кто же был тогда, в ту подлую, сумасшедшую ночь, там, в сенцах? Кто навалился на него, кто сдернул одеяло и коснулся ледяной рукой его лба? Михайло? Но он мертвец. Федор? Но он пластом валялся на кровати.

„Разбужу, спрошу“.

— Поздно,—упрямо сказал Петр.—Какой смысл знать все до конца? Да и есть ли конец? Всякий конец—начало.

С болезненным кряхтением он впрягся в легкую разгруженную нарту с небольшой поклажей и утонул в голубой, с трескучим морозом ночи. И слышит Петр, как скрипят, надрывно стонут нарты:

„Ты погиб... Ты бросил людей... Ты погиб“.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

На четвертый день работники ближней рыбалки встретили изнемогавшего, полуживого человека.

То был Петр Лопатин.

Сначала приняли Петра за выходца с того света, за гостя из заклятых пещер, где лежат черепа „белоглазой чуди“—до того необычен был вид его.

Не вдруг артель добилась от Петра, кто он. Его слова были сбивчивы, взгляд мутен. Но мудрый старец Данило взял его лаской, своим спокойным тихим голосом. Напоил крепким чаем, дал „перцовки“, обогрел.

— Идите, скорей, не медлите...—проговорил очнувшийся Петр.— Там погибают!

— Где?

— На-ка, прими фины.. Эй, милый!—Данило лил ему в рот разведенный хинный порошок.—У нас, брат, всяка стремлюдия по этой части есть. А главно дело—фина! Вот когда кровища заиграет, хлопбыстнешь чуток, это фины-то, оно и легче. Легче да легче, так и оклемаешься.

Петр крепко заснул.

* * *

Когда проснулся, не мог сообразить, где он, кто эти люди, вдруг захохотавшие.

— Вот так, брат, поспалось тебе!

— Долго?—спросил Петр.

— С полден завалился, да еще день продрых, а теперича уж другой вечер. Вставай ужинать.

Но Петру не до того.

— Ушли?

— Кто, ребята-то? Знамо!

Артель веселая, молодая. Единственный старый человек, артельный уставщик Данило. Сухой, высокий, с ключом за поясом, долгобородый.

Он сел у ног Петра и сгорбился:

— Четверо туда ушли, с припасом.

Петр растрогался. Ласково поглядел на старика.

— А то как? — поднял тот голову. — Люди — человеки. Жаль. Сам хотел ползти, да стар: ноги в дураках оставят.

— Они спали. Я разложил перед ними всю свою еду... Сам голодом шел, три дня шел... Три года. На угад. Думал — безлюдье, нет никого... Вот вы...

Петру говорить трудно. Дыхание его горячее, язык распух, ныли десна.

— Огневица у тебя, родной... На-ка фины.

Петр поймал руку Данилы и крепко ее потряс.

— Ты чего?

Петра вновь одолевал сон. Приходили звери: белки, горностаи, волки, барсуки. Переговаривались друг с другом человеческими головами. Песец прыгнул, тот самый. — Здорово, Петруша! — сказал он, потешно крутя острой нюхалкой. — Вот и я, Петруша... До свиданья, брат! До скорого свида-а-а-а!.. Так и не кончил, ускакал.

Петр, застонав, открыл глаза. Склонившись, любовно смотрел на него Данило.

— Ужо утречком я те узвар сварганю, сорокапритошник у меня такой есть, от сорока болезней, от сорок первой смерти... Ххы!.. Зелье по всем статьям!

Петру приятно было слушать Данилу, потому что Васька тогда молчал, но едва Петр закрывал глаза, назойливый Васькин голый голос начинал его корить. Петр взглянул к двери. На краю скамейки, прислонясь к косяку, маячил в полумраке чернобородый.

— Кто это у двери?

Данило оглянулся:

— Никого быдто нет. А что?

Петру страшно зажмуриться, и страшно отпустить Данилу, но старика одолевал сон:

„Да-да-да-да... О-о-ох!“

— А я спасу!.. Федор да Марья... Спасу!.. А те покойники.

— „Кто? Андрей да Михайло-то? Что в сенцах-то тебя хороводили!“

— А откуда ж ты знаешь? — прошептал Петр, борясь со сном.

— „Я всё-о-о-о знаю-перезнаю!“

Петр приподнялся. Данило смиренно сидел, как нежить. Петр с дрожью смотрел на его огромную белую, вдруг почерневшую бородицу.

— Уходи! Уходи! Кто ты?! — и опрокинулся на изголовье.

* * *

Три дня прошло, три ночи. Болезнь сломилась.

Но омраченный дух Петра не прояснялся. Замкнутый, угрюмый Петр лежал на кровати или шагал из угла в угол, то и дело жадно ириникая к окну.

Взор тщетно щупал сизобелую мертвогладь: смерть или воскресение? Но пустынная даль была пуста.

В душе такая же холодная, белая, в снегах пустыня. Посередь нее черный столб, на столбе черный ворон. Неустанно ворон каркает: „Враг!.. враг!..“

Душа мятется, душа ноет и болит.

„Смерть или воскресение?..“

Веселые парни потрошат тюленей: полосуют ножами животы, вырывают внутренности, сдирают бархатную шкуру, гогочут. Руки у парней в крови, ножи в крови, лица вымазаны кровью.

— Еду я, еду,—повествует Данило, взглядывая на Петра, будто для него рассказывает:—ночь, хоть в глаз ткни, а гром так и гудет, молонья полощет. Вот и деревня близко, скоро лесу конец. Только слышу это я...

„Враг, враг!..“—накаркивает ворон. Петр сел к окну, согнулся.

— А ты молчишь, да молчишь?.. Чегой-то ты?—кликнул Данило.

Петр не ответил.

Весь угол завален тушами тюленей. Смотрели на Петра черными глазами, жалели. Петр не выносил их взгляда. Начинало казаться, что они все знают, и хотят ему все сказать. А когда он в мрачной думе сел к окну, подполз тюлень, приподнялся и, положив круглую голову на его колени, ждал. Глаза животного в слезах, вздыхает. Петр дал ему в нос щелчком. Тюлень обиженно посмотрел на него и пополз обратно, оставляя распоротым брюхом кровавый след. За этим тюленем подползали другие, много... А Петр щелк, да щелк. Уползали обратно обиженные, кровавые.

Данило толкнул локтем соседа-парня и спросил Петра:

— Ты кого это пощалкиваешь?

Петр смутился.

Данило что-то веселое отмочил. Все захохотали. Данило соврал погуще, чтобы развеселить Петра. Хохот захватил всю избу. Хохотали и тюлени. Только Петр молчал. Молча и обедал. Весь день молчал. Молчанкой спать лег.

* * *

Но сон видел сияющий и беспечальный.

Будто плывут они, четверо, в расписной гондоле по голубым шелковым волнам. Солнце, птицы, берега в цветах, цветы в гондоле, на коленях Наташи, в руках Марьи, кругом цветы. А Федор, что у руля, щедро разбрасывает их в волны, в воздух. У него целая корзина гвоз-

дики, нарциссов, алых роз. Наташа смеется, Марья радостно всплескивает руками—вся в белых канифасах.—„Вот где царство небесное“,—говорит и крестится. „Всем морям море“,—улыбается Федор.—„Море это—Средиземное“,—поясняет Наташа. По краю ее одежд вишневой обнизью шли бусы. Петр умиляется, хочет всех обнять, приласкать, утешить.—„Братья“,—шепчет он.—„Спасибо тебе, Петрованушка, спасибо!“—говорит Марья.—„Экое царство небесное!..“

И Данило:

— Царство небесное!..

Петр тяжело открывает глаза. Эх, сон! Все пропало. Темно. Нет нарциссов, алых роз, отшумело голубое шелковое море.

— Царство небесное... Надо бы, ребята, помолиться! Что ж, все там будем!..

Копошáтся в сумраке люди. Один за другим лениво загораются огоньки и плывут толпой в передний угол, к образам. У иконы тоже три огонька качнулись, закланялись—осиянная божья мать младенца в руках держит.

— Как их звать-то? Спросить надо человека-то. Эй, Петра!

— Федор... Мария...

— А тех-то как? Вставай, чего лежишь?

— „Умерли, умерли...“ — стучало сердце, как в скалы - льды.— „К чему вставать? Умерли“.

— Значит, умерли?—несмело спросил он.

Артель стояла на коленях, пела:

„Со святыми упокой...“

Пугливо, зябко колыхались огоньки, нескладным стоном стучали в уши трогательные слова напева, богоматерь кротко поглядывала вниз.

„...но жизнь бесконе-е-е-чная...“

— Это все сон, все сон. Вот проснусь, — обманно шуршало в ушах, но могила глубже, глина вязче, камень тяжелей.

* * *

Всё было прозрачным, призрачным, стеклянным, всё позванивало, струилось потоком светлой мглы. И не стало человека.

Бушует над неоглядной тундрой, злобствуя, бесится пурга. Она зарыла человека в белую могилу и в вое, хохоте оплакивает его. Белая, безглазая пурга умеет только выть и плакать.

Шел человек белым полем, пропал человек.

На тысячи верст разметала пурга лохмы, воет:

„Я белая, шальная, я стра-а-ашшипная... Зачем пришел?“.

Шел человек белым полем, пропал человек, погиб.

Германия

С. КИРСАНОВ.

Völker hört die Signale!
Auf zum letzten Gefecht!
Die Internationale!
Erkämpft das Menschenrecht!

Уплыл четырнадцатый год
В столетья лодкою подводной,
Печальных похорон фагот
Поет взамен трубы походной.
Как в бурю дуб, война шумит,
Но топоричу ствол покорен,
Но отшумели ветви битв,
Подрублен ствол войны под корень.

На тихом смертном рубеже
Страна шатается и слепнет,
Никто из прошлых дней уже
Былой Германии не слепит.
Уже цветет мещанский рай
Там, где убитых подбирали
Под пень марша «Wacht am Rhein».
Под крики «Deutschland über alles»...

«Фридрих Великий,
подводная лодка,
Пуля дум-дум,
цепелин...
Унтер ден Линден,
пружинной походкой
Полк оставляет
Берлин...

Горчичный газ,
разрыв дум-дум,
Прощай, Берлин,
и в рай,
Играй, флейтист,
играй в дуду—

«Die Wacht,
die Wacht
am Rhein»...

Стены Вердена
в зареве утр,
Пулю поймал—
костеней.
Дома, где Гретхен
и старая муттер,—
Кайзер Вильгельм
на стене.

Военный штаб.
Военный штамп.
Все тот же
Фритц и Ганс,
Все та же цепь
— В обход на степь,
В бинокле:
дым и газ.

Старый орел,
боевая походка,
Людендорф:
— Испечелим.
Фридрих Великий,
подводная лодка,
Пуля дум-дум,
цеппелин...

Пуля дум-дум,
горчичный газ,
Но вот—
ружье бросай.
Народ—
как тормоз
Вестингауз—
рванул...
конец...
Версаль».

Книгопечатня. Не найти
шрифта для перечня событий.
Вставайте, трупы, на пути,
ноздрями синими сопите.
Устали ядра землю рвать,
штыки—в кишечниках копаться.
И снова выросла трава
в кольце блокад и оккупаций.

Берлин. Ты снова забурлил,
 Ты снова весел и бесстрашен,
 На ассигнациях орлы,
 как шупцмана на Фридрихштрассе.
 Кронштейны выстроены в ряд,
 огни вливаются в туманы,
 а в чад и грохот ресторанный
 два нищих пфеннига горят.

«Спят монументы
 на Зигес аллее,
 Полночь Берлина
 стара...
 Герр капельмейстер,
 перчаткой белея,
 на службу идет в ресторан.

Там валу на части
 рвет джав-банд,
 Табачная
 веет вуаль.
 Филистер глядит,
 обнимая жбан,
 на пляшущую
 втуаль.


Дождик-художник.
 Ну и погодка!
 Лужи—то там,
 то тут...
 Унтер ден Линден
 пружинной походкой
 Красные
 сотни
 идут.

Дуют флейтисты
 в горла флейт.
 К брови
 прижата бровь,
 И клятвой
 на старых знаменах алает
 Карла и Розы
 кровь»...

Громко я пел, и шумно
 Вызвенел клавиши губ и рта!
 Слушай же, родина Шумана,
 Моцарта и Шуберта.

Германия. Ты—фортепьяно
Великолепных зыбей.
Струны натянуты. Прямо,
прямо по струнам бей.
Зала огней не зажгла еще,
Ждем. Сыграй на финал,
вплавивши
пальцы
в клавиши

Интернационал!



Воспоминания к десятилетию февральской революции

А. С. КИСЕЛЕВ

В Сибири

Весть о февральской революции дошла к нам в Сибирь с довольно большим опозданием. Я проживал нелегально и находился в это время в Верхнеудинском уезде близ китайской границы, недалеко от Кяхты. Работал там в качестве инструктора по кооперации, об'езжая первичные кооперативы юго-восточного района Верхнеудинского уезда. Прежде, чем добраться до указанного мною места, мне пришлось с другими инструкторами об'ехать довольно значительный район, заезжая во многие кооперативы и некоторые сельско-хозяйственные товарищества.

Сельско-хозяйственным товариществам царское правительство давало тогда всякого рода задания по заготовке продуктов для военного ведомства.

Наступала весенняя оттепель. На складах у некоторых товариществ лежали большие запасы заготовленного мяса; но эти запасы не могли быть отправлены в Европейскую Россию, так как железнодорожный транспорт был основательно разрушен войной: нехватало подвижного состава, паровозов, вагонов и т. д.

Сельско-хозяйственные товарищества были очень обеспокоены, что им не придется заблаговременно отправить это мясо по назначению, а так как они не имели ни холодильников, ни специальных погребов для хранения такого большого количества мясных продуктов, то они боялись, что все эти запасы с наступлением теплой погоды испортятся.

Хозяйственные затруднения страны не могли не отражаться на Сибири, и отражались они не только на вывозе, но и на ввозе продуктов питания для ее населения: так, напр., получение сахара было чрезвычайно затруднено, и мне, одно время проживавшему в Иркутске (это относилось к концу 1916 г.), пришлось работать в канцелярии городской управы, которая тогда привлекла большое количество ссыльных Иркутска для введения карточной системы на сахар. Предполагалось ввести карточную систему и на другие предметы потребления, в виду недостатка этих продуктов

Хозяйственные затруднения не ограничивались разрухой в области промышленности и транспорта: пришла в расстройство вся денежная система. Благодаря усиленным выпускам бумажных денег и вывозу золота за границу в уплату за военные заказы, валюта обесценивалась с каждым днем.

Так, с июня 1914 г. до конца 1916 г., т.-е. за 2½ года, было выпущено бумажных денег на 6 миллиардов руб.

Соответственно этому падала стоимость бумажных денег. Если до войны покупательная способность бумажных денег соответствовала золоту, т.-е. 100 руб. бумажных равнялось 100 р. золот., то уже в январе 1917 г. 100 р. бумажных равнялось лишь 33 р. золотом, т.-е. к этому времени бумажные деньги обесценились в три раза.

Таким образом, всякий рабочий и крестьянин, внесший в 1914 г. в сберегательную кассу 100 р., к февралю 1917 г. оказывался обедневшим в три раза, т. к. на полученные обратно 100 руб. (конечно, бумажные—золото не выдавалось) он мог приобрести продуктов и фабричных изделий в три раза меньше, чем до войны.

На фронте тоже дело обстояло весьма неблагоприятно; как известно, царская Россия в то время терпела поражение за поражением, несмотря на то, что мобилизовала колоссальное количество, до 18 миллионов человек; ее потери убитыми, ранеными и пленными достигали 11 миллионов.

Хотя мы, ссылки, и не имели полной информации об общем положении страны, но отдельные штрихи и факты, проходящие перед нашими глазами, случайные телеграммы, проскакивающие в печати, а также и письма, которые время от времени получали те или иные ссылки товарищи от родных и знакомых, показывали, что положение страны становится все более и более затруднительным.

Недовольство населения, созданное как общими условиями жизни, так и войной и самодержавными порядками, бродившее в стране, но не вырывавшееся наружу, прорвалось, наконец, в наиболее уязвимом месте в связи с отсутствием продовольствия. Последние газетные сведения сообщали о том, что правительство привлекает к обсуждению продовольственного вопроса государственную думу и передает дело продовольствия Петрограда петроградской городской думе.

Обсуждение в государственной думе и привлечение ее к разрешению продовольственного вопроса, образование при петроградской думе продовольственного комитета,—все это довольно красноречиво показывало, что царское правительство зашло в тупик. Дальнейшие телеграфные сообщения о массовых выступлениях рабочих и работниц Петрограда показывали, что чаша народного гнева льется через край. Отдельные телеграммы и некоторые факты определенно указывали на стремительное нарастание революционной волны.

Бегло пробежав полученные газеты, я отправился на квартиру,—это было помещение, предназначенное для всякого рода правительственных чиновников, где, между прочим, останавливались и кооперативные работники.

На квартире я увидел инспектора мелкого кредита, лежащего на кровати, передал ему газеты и говорю: «Почитайте, много новостей». Он прочитал переданные ему газеты и с печалью в голосе сказал: «Ну, Россия гибнет».

Мне показалось довольно странным такое утверждение, но, взглянув на его мундир, я понял, с кем имею дело. Это был чиновник, убежденный сторонник самодержавной власти. Прочитавши телеграммы о том, что бравды правления из рук царского правительства выпадают, он сейчас же увидел гибель старой царской России, России насилия, России кнута и нагайки, России, при которой великолепно, сытно и беззаботно жилось помещикам и капиталистам, банкирам и всякого рода промышленникам, торговцам и всем тем служилым элементам, которые получали хорошие оклады,—для них эта Россия гибла. В начавшемся революционном движении народных масс все эти элементы видели гибель России.

Совсем другая оценка событий складывалась в моем представлении, мне казалось, что вот загорается заря освобождения, что цепям рабства, которыми столетия сковывало царское самодержавие трудящихся, что этим цепям наносится жестокий и непоправимый удар. Я подумал, что в результате этих событий откроются каторги, тюрьмы, и все пленники царского правительства снова вернутся на свои места.

Сейчас же возникла параллель с революционным движением 1905 года, когда я и мне подобные под напором революционных масс были возвращены из тяжелой, скучной и однообразной ссылки.

После двухдневного или трехдневного томительного ожидания полочки новых газет стали появляться солдаты и возвращающиеся из городов крестьяне; они из уст в уста передавали сведения о том, что Николай Романов отказался от престола в пользу своего брата Михаила.

Такого рода сногшибательные известия приводили нас в восторг, а сторонников царского режима—в неопишемую ярость.

Кровожадный поп

Я помню, однажды прибегает ко мне местный поп, который втерся в члены правления кооператива и который почему-то считал меня за своего человека, и сообщает, что в кооперативную лавку пришел какой-то солдат и в присутствии многочисленных покупателей заявил, что «царя Николая не существует, что ему теперь уже крышка». Затем он, видимо, вообще нелестно отзывался о царском правительстве, и это так возмутило «батюшку», что тот, кусая губы и лихорадочно потрясая кулаками, заявил: «Таких сукиных детей не только сейчас арестовывать, но и убивать надо». «Вот, подумал я, какой кровожадный батюшка, забыл евангельские истины о прощении врагам и готов хоть сейчас бить, рубить и резать свою паству, во имя «царя батюшки». Впоследствии выяснилось, что этот поп имел свою паровую мельницу, с помощью которой эксплуатировал местное население, кроме этого, у него было до десятка тысяч

деньжат, хранящихся в банке, так что он прекрасно понимал, за что хочет проливать кровь непокорной паствы.

Я ему предложил успокоиться, особенно не волноваться и ожидать получения новых газет, из которых он может более подробно узнать о происходящих событиях. Но это мало удовлетворяло раскодившегося «батюшку»: он находил, что нужно сейчас же принять меры, и очень сожалел, что куда-то уехал урядник из этого села.

К вечеру мы получили газеты, из которых узнали о восстании петроградского пролетариата, о том, что войска присоединились к народу, что даже казаки не выступили против рабочих, и что Николай Романов, действительно, отказался от престола в пользу своего брата Михаила. Мы узнали также об образовании комитета государственной думы, который сформировал новое правительство.

Первые свободные выступления

Когда получились эти газеты, я вечером внимательно их прочел и на следующее утро собрал в этом селе собрание в помещении кооперации. Народ быстро забил все довольно вместительное здание кооператива, в котором помещалось более 200 человек. Я раз'яснил им, насколько мог, все значение происшедших в стране событий, развернул картину преступлений царского самодержавия перед народом. Во время речи, окинув взглядом слушателей и увидя прижавшегося к стене «батюшку», я перешел к оценке роли духовенства в деле поддержки царского самодержавия.

Думаю, что «батюшка», который за день перед тем приходил ко мне советоваться, как быть с теми, кто относился недоброжелательно и нелестно отзывался о царском самодержавии, был невероятно сильно поражен тем обстоятельством, что он ходил советоваться с человеком, который является ярким противником самодержавия и решительным сторонником начавшейся революции.

Собравшиеся крестьяне внимательно слушали каждое мое слово. Отношение населения к февральской революции было необычайно сочувственное и даже восторженное. Никто на этом митинге в защиту старого строя не выступал: хотя поп и был ярким противником революционного движения, но, учитывая общее настроение собравшихся, не посмел выступить с каким бы то ни было возражением.

Митинг тогда продолжался свыше часа.

После окончания митинга крестьяне стали собираться группами и горячо обсуждать происшедшее событие; некоторые усиленно жестикулировали, разбирали и толковали речь, слышанную на митинге. Среди присутствующих, как оказалось, были солдаты, возвратившиеся из городов. Они рассказывали о всем виденном и слышанном ими в дороге, рассказывали, что «там, в городах, арестовали исправника, тут крестьянского начальника, там урядника, стражника или старшину». Словом сказать, деревня от продолжительной спячки всколыхнулась, зажила

новыми интересами, и в ее речи появились многие слова, дотоле неизвестные ей.

Часть крестьян, окружившая меня, стала задавать вопросы. Одни спрашивали: «А, как думаете, скоро будет мир?», другие:—«Теперь, верно, отпустят хоть наших мужей, а то забрали на войну сыновей и мужей», третьи говорили: «У нас в деревне остался только старый да малый, всех под метелку вычистили», а некоторые спрашивали вообще—«Что делать»? Я предложил им, что, по примеру других мест, следовало бы обезоружить и арестовать урядника и направить его в город, но вскоре многим стало известно, что урядника в этот день в селении не было. Узнал ли он ранее других о происшедших событиях или отлучился по служебным обязанностям, нам было неизвестно; но факт тот, что урядник во время моего пребывания в этом и соседних селениях так и не явился.

Работа моя по подведению баланса в кооперативе приходила к концу. По прошествии, примерно, двух дней я получил от Верхнеудинского совета рабочих и солдатских депутатов телеграмму, предлагающую раз'яснить населению суть происходящих событий и приступить немедленно к аресту представителей самодержавной власти, к смене старшин и замене их новыми.

Так как в совете рабочих и солдатских депутатов руководящую роль играли товарищи из ссыльных, которые прекрасно знали политическую физиономию инструкторов, на нас и была возложена такая задача.

Митинг у старообрядцев

По получении этой телеграммы, я направился в одно из ближайших селений, где должны были находиться урядник и старшина, для того, чтобы произвести их смещение. По дороге мне пришлось остановиться в одном большом старообрядческом селении. Весть о том, что приехал какой-то уполномоченный из Верхнеудинска, быстро распространилась среди населения, и жители стали собираться около дома, в котором я остановился. Поручив нарядчику известить всех остальных жителей деревни, которые скоро явились, я устроил собрание.

Зная больные места староверов и для того, чтобы овладеть аудиторией, я начал свою речь изложением тех фактов, которые пришли мне на память: «о гонениях старообрядцев», которым подвергало их царское самодержавие, возглавляемое Романовыми, и рассказал, как старообрядцы при царском самодержавии всюду преследовались, что они разбросаны в самых отдаленных уголках России; указал, что, будучи в ссылке на крайнем севере Архангельской губернии, я встречал там большое количество сосланных туда старообрядцев; что много их живет на границах с Турцией и что многим старообрядцам уже неведомо жить на окраинах и они уже начинают переселяться в чужие страны, напр., в Америку и в Канаду.

Когда я излагал эти факты, то у многих присутствующих засверкали глаза, у некоторых стариков на глазах появились слезы, видимо,

у них я вызвал воспоминания о рассказах дедов и отцов, или же вызвал воспоминания о тех гонениях, которые им приходилось пережить лично. Затем я описал все те гонения, которым подвергало царское правительство и всех несогласных с его политикой; нарисовал картину борьбы с царским самодержавием и указал на то огромное количество жертв, которые погибали в прямых боях с царским самодержавием: в тюрьмах, в ссылках, на каторгах, виселицах и т. п. Перейдя к текущим событиям, остановился на тех задачах, которые стоят сейчас перед населением 160-миллионной России. Все присутствующие прослушали речь с большим вниманием. На улице стояла необычайная тишина. По окончании митинга, по обыкновению, стали задавать различные вопросы, которые в этом селении касались, главным образом, религиозных тем. На старообрядцев речь, видимо, произвела сильное впечатление. Один старик сказал, что «он в своей жизни не слыхивал таких речей о нашей жизни», и жал мне руку в знак благодарности. Помню другой случай. Из среды присутствующих выделился высокий старик с библейской бородой и, подойдя ко мне, сказал: «Я и раньше думал, что Николай Романов и есть антихрист, но не решался никому сказать, а теперь свобода, я и говорю, что думаю». Такой вывод из моей речи меня несколько озадачил, но старообрядцев так заинтересовала и захватила часть моей речи, касающаяся религиозных гонений, что они только на ней сосредоточили свое внимание; их как-будто совершенно не затронула та большая часть моей речи, которая касалась стоящих перед нами политических задач,— по крайней мере, это совершенно не отразилось в задаваемых мне вопросах. Казалось, что для обитателей данной деревни не имеют никакого значения ни политические свободы, ни вопросы о земле, о войне, а все их интересы сосредоточены исключительно на религиозной стороне жизни.

В следующей деревне мне не пришлось полностью выполнить возложенного на меня задания—устранить урядника, ибо его в этой деревне не оказалось, видимо, он сбежал. Так как время было уже позднее, то мне ничего не оставалось делать, как собрать крестьян в помещении местного сельского старосты, где собралось человек 50—60. Здесь я ознакомил собравшихся крестьян с целью своего приезда и приступил к разъяснению тех событий, которые произошли в Петрограде. Крестьяне жадно ловили каждое слово и старались удержать тех товарищей, которые пытались перебить мою речь вопросами.

После окончания моей речи со стороны присутствующих посыпалось множество самых разнообразных вопросов. Мои ответы вызвали ряд новых вопросов, которые задавали собравшиеся, и, таким образом, завязалась беседа, которая затянулась до поздней ночи. Переночевав в этой деревне, я заехал в один из кооперативов, где моя работа еще не была закончена, и остановился там на день для того, чтобы освободиться от этой обязанности.

Возвращение в Верхнеудинск

По окончании этой работы я решил отправиться в Верхнеудинск, так как мне необходимо было ознакомиться подробнее с происходящими событиями. К тому же при создавшемся политическом положении и не было особого желания раз'езжать по деревням: тянуло в город. Возвращаться к ближайшей станции в направлении Верхнеудинска мне пришлось не везде в санях, а кое-где и на телеге. В этих местах снег уже весь стаял, солнце светило и грело по-весеннему и, в связи с политическими событиями, создавало еще более высокий душевный под'ем. Появилось непреодолимое желание говорить и говорить. Я помню—со стариками-возчиками беседовал целыми часами до изнеможения. При проезде через деревни и во время остановок бросалось в глаза полное отсутствие взрослого мужского населения, которое война выкачала из всех деревень. Каждый факт, связанный с войной, хотелось осветить перед крестьянами и указать действительных виновников европейской бойни. Там в то время оставались лишь дети, женщины и седые старики. Крестьяне жаловались на то, что почти из каждого деревенского дома кто-нибудь был мобилизован или находился в действующей армии. Многие более двух лет никаких известий не получали от своих отцов, мужей, братьев, сестер и детей, оторванных войной и отправленных на фронт. В деревнях чувствовался большой недостаток не только в людях, но и в рабочем скоте. На полях появились большие ленты необработанных подос. Деревня перестала получать многие предметы деревенского хозяйственного обихода. Поэтому вполне понятно, что недовольство крестьянского населения существующим строем и войной было очень большое, и февральский переворот приветствовался всей деревней.

По приезде в Верхнеудинск, ознакомившись с газетами, телеграммами и побеседовав с товарищами, я более ясно представил себе картину происходящих событий. Среди верхнеудинских товарищей ссыльных преобладали в то время эсеры и меньшевики, стоящие на точке зрения защиты отечества. При встречах с этими товарищами я высказывал свое несогласие с оборончеством, и это быстро отозвалось на мне. Когда стали распределять ссыльных для агитационной работы, то мне захотелось выступить среди воинских частей, но так как моя точка зрения не одобрялась большинством ссыльных оборонцев, то мне в этом выступлении отказали, сопроводив отказ примерно следующими словами: «Вместо пользы ваша речь принесет для армии один вред,—нам нужно создать боевой дух в каждом солдате». Кроме того, я жил нелегально под фамилией Миллера, и товарищи-оборонцы предложили мне легализоваться, говоря, что при настоящих условиях, когда самодержавие сброшено, когда мы должны проявить максимум лояльности к временному правительству и когда страна требует от нас напряжения всех сил для того, чтобы нанести решительный удар немецкому империализму, мы должны всячески содействовать подготовке этого удара, и мне недвусмысленно намекали: «легализуйся и иди на фронт». Когда я отказался от легализа-

ции, то товарищи-оборонцы предложили мне лучше уехать из Верхнеудинска. События, происходившие в Петрограде, довольно сильно тянули к себе, и я уехал из Верхнеудинска.

В пути из Сибири в Петроград

Верхнеудинские товарищи снабдили меня деньгами на проезд, дали мне бумажку в виде удостоверения о том, что я являюсь ссыльным, проживавшим в таком-то городе, и направляющимся в Петроград. По пути стали попадаться знакомые, также возвращающиеся из ссылки. В Иркутске встретилось довольно большое количество товарищей ссыльных и каторжан, все они, возбужденные, сияющие, радостные, направлялись вновь в те места, где они считали себя наиболее полезными для революционного движения. Тут ехали некоторые товарищи, просидевшие по 5—7 лет в кандалах, которые не имели никаких надежд на такое скорое освобождение, ехали ссыльно-поселенцы, осужденные на вечное поселение, и административно-ссыльные, сосланные на разные сроки. В Иркутске всех пленников царского самодержавия посадили в специально приготовленные два вагона.

Наступление солдат на вагон ссыльных

Поезд, направлявшийся в Россию, был не только переполнен, но все вагоны его были набиты битком. Солдаты, ехавшие по различным делам, нередко имея при себе оружие, действовали довольно решительно, вламывались в вагоны и захватывали с бою каждое свободное место. В одном вагоне ссыльных было сравнительно свободно, по крайней мере не были забиты площадки вагонов, как в других вагонах поезда. Эти «привилегии» солдатам показались недопустимыми, и ими была сделана попытка к их устранению. Послышались возгласы в роде следующих: «Что за господа расселились?», «Надо их пожать», «Что за именинники едут?», «Теперь старый порядок уничтожен» и т. д. Они начали с того, что стали насильно лезть в вагон, и когда один из наших товарищей-ссыльных стал убеждать их этого не делать, они выбили стекло, осколками которого порезали лицо этому товарищу. Когда мы вплотную подошли к солдатам и об'яснили им, что здесь едут лишь одни ссыльные, пленники царского самодержавия, только что освобожденные и возвращающиеся домой, то это об'яснение быстро отрезвило наступавших солдат, они стали оправдываться, что не знали, и сконфуженные, ушли с площадки нашего вагона. Дальнейший наш путь прошел без всяких инцидентов, видимо, в вагонах передавалось от одних пассажиров к другим о проезжающих ссыльных, и больше нас не беспокоили до самого Петрограда. Этот случай довольно характерен: он показывал, что настроение населения уже в начале февральской революции было весьма революционно, и солдаты, находящиеся даже в Сибири, где мало пролетариата, воспринимали переворот, как конец всяким привилегиям. Дальней-

ший ход развивающихся событий показал, что широкие массы смотрели на февральскую революцию совсем не так, как этого хотелось эсерам и меньшевикам.

На некоторых крупных станциях нас, ссыльных, встречали и приветствовали товарищи и знакомили со всеми новыми сведениями, накопившимися за время проезда от одной крупной станции до другой, — а сведения были одно интереснее другого. Февральская революция как-будто об'единила все классы против царского самодержавия. Падению царского самодержавия радовались большевики, меньшевики, эсеры, энесы, кадеты, интеллигенция и все беспартийные обыватели. Приветствовали революцию даже помещики, фабриканты, банкиры, крестьяне и рабочие. Февральская революция как-будто на время сгладила все классовые противоречия, как-будто примирила политические партии и классы между собой, но, в действительности, каждая партия, каждый класс вкладывал в февральскую революцию свое содержание. Прогрессивная буржуазия, помещики думали, что теперь наступило время, когда, вместо устранившегося царского самодержавия, они будут находиться у власти и будут управлять страной; эсеры и меньшевики думали, что вот наступил момент, когда к власти придет мелкая буржуазия города и деревни; крестьянство мечтало, что февральская революция даст им землю и кончит мировую бойню; рабочие надеялись, что февральская революция даст политическую свободу, 8-часовой рабочий день, создаст человеческие условия труда на фабриках и заводах. Но жизнь скоро показала, что все они ошибались в своих надеждах и чаяниях на февральскую революцию.

В Петрограде

Когда мы приехали в Петроград, нас, ссыльных, поместили в одно общежитие, организованное комитетом для помощи ссыльным при участии Жеренского. Нам поили, кормили, спать положили на чистых и опрятных койках; некоторым нуждающимся дали — кому ботинки, кому пальто, кому и полный костюм. Словом, к ссыльным было проявлено большое внимание.

Политическая жизнь в Петрограде кипела и бурлила на улицах Петрограда происходили непрерывные митинги, разговоры, споры по всем волнующим все классы населения страны вопросам. В этих спорах приняли участие ссыльные, при чем некоторые товарищи на центральных улицах города из этих горячих споров вышли с помятыми боками, так как здесь сторонники буржуазии оказались очень сильными. Один же товарищ вечером к нам вовсе не возвратился, и мы забеспокоились о его судьбе. На второй день отправились в поиски по участкам, охраняемым вновь организованной буржуазной демократической милицией. Обойдя ряд милицеских участков, мы нашли нашего товарища, сидевшего под арестом в одном из этих участков и тщательно охраняемого гладеньким, чистеньким, примазанным и прилизанным студентиком, одним из

тех, папаша которых, вероятно, были яркими сторонниками «демократии» и владели многими промышленными предприятиями.

Эти факты в первые же дни нашего пребывания в Петрограде показывали, что февральская революция не дала тех политических прав, той свободы и тех гарантий личности, которые необходимы для защиты интересов пролетариата. Об этом большевики говорили как в печати, так и на собраниях. Во всех политических спорах огонь политических партий был сосредоточен на партии представителей пролетариата—большевиках. Буржуазная печать не скупилась на всевозможные выдумки для того, чтобы дискредитировать, т.-е. уронить в глазах пролетариата и всего населения партию большевиков. Пришлось мне побывать в государственной думе, где заседал в то время совет рабочих депутатов. Во всех кулуарах можно было видеть группы спорящих между собой о всех политических вопросах. Таврический дворец шумел, как улей. Дворец Кшесинской—любовницы Николая II, который был занят партией большевиков, с балкона которого лились свободные большевистские речи, также кипел и бурлил. Страсти выходили наружу, шли беспредельные споры, руганя; люди в спорах старались перекричать друг друга, лезли с кулаками один на другого, и каждый старался обосновать и защитить свою точку зрения, если не словом, то хоть действием. Здесь в толпе достаточно было постоять несколько минут, чтобы сразу определить коалицию всех буржуазных слоев и классов против партии большевиков, обосновавшейся в этом дворце. Едете ли вы в трамвайном вагоне, или в поезде, всюду кипит ожесточенная политическая борьба. Одни развивают свои доводы мягко, вежливо и деликатно; другие выступают грубо, по-топорному, с большим задором, временами ступешиваясь перед стройно развивавшейся системой взглядов какого-нибудь мелко-буржуазного интеллигента; но и тут вы увидите тот же водораздел,—коалицию всех против большевиков и против тех, кто защищает их взгляды.

Эти политические страсти непрерывно клокотали до самого октябрьского переворота. Только Октябрьская революция разрушила тот гордиев узел, заключавший в себе все основные требования трудящихся: прекращение войны, передачу земли крестьянам, конфискацию всех богатств буржуазии, фабрикантов, заводчиков и банкиров; она ввела 8-часовой рабочий день и обеспечила полную политическую свободу для всех трудящихся.

Только после Октябрьского переворота вновь вспыхнувшие политические страсти стали постепенно ослабевать, ибо основные классы—пролетариат и крестьянство—получили все то, что им было необходимо и что они требовали в этот исторический период.

Новый этап в китайской революции

КАРЛ РАДЕК

I. От Версаля до Шанхая

Когда после мировой войны представители великих держав собрались в Версале для определения условий мира, вопрос о положении на Дальнем Востоке они решили самым простым и гениальным образом. Германия была побеждена. Значит, она должна была потерять захваченную ею в 1898 году колонию Киа-Чао. Японцы были сильной военной нацией на Дальнем Востоке. Поэтому им полагалось получить отвоеванную у немцев колонию. Вот и все. Китайская делегация обивала пороги у союзников и указывала на факт, что кроме всего прочего Китай *сам* являлся союзником держав-победительниц, что он вступил в войну именно для того, чтобы обеспечить себя от японских притязаний. Китайская делегация ходила от представителя одной из великих держав к другому, не добившись ничего. *Китай не существовал для держав-победительниц, как политический фактор.* Он не существовал, несмотря на то, что несколько лет тому назад китайская революция стерла старую династию манчжуров, что из сотен мест Китая уже перед войной приходили сведения о росте национального сознания, что шла борьба за национализацию железных дорог в Китае. Все это не имело значения по сравнению с необходимостью считаться с количеством японских пушек.

А ведь во главе версальской конференции стояли не какие-нибудь чиновники. Версальской конференцией руководили лучшие люди мировой буржуазии, цвет ее интеллигенции. *Вильсон* был профессором истории, пророком нового устройства жизни, новых идеалов, которые должны были дать возможность всем народам достигнуть нового благополучия. К Вильсону обращалась вся мелкая буржуазия мира. *Ллойд-Джордж* представлял собою цвет мелко-буржуазного английского радикализма. Речи его против господства английских лордов перед войной сделали его героем европейского радикализма. Собрание его речей носило заглавие: «К лучшим временам». Сам Эдуард Бернштейн, руководящий теоретик европейского реформизма, приветствовал Ллойд-Джорджа, как пророка нового времени. *Клемансо*—французский премьер-министр, глава ради-

кального движения во Франции с 1871 года, возбуждавший когда-то большие надежды у Энгельса, редактор «Орор», одного из руководящих органов международного буржуазного радикализма... Нельзя себе представить более передовых людей мировой буржуазии, чем те, которые решали в Версале судьбы человечества. Они не заметили, кроме многих других «мелочей», и пробуждения китайского народа.

Китайская прогрессивная общественность, воспитанная на вере в западную демократию, ищущая спасения от жадности японского империализма у просвещенных либеральных держав Европы и Америки, была до глубины потрясена решениями версальской конференции. Она ответила на них отказом подписать версальский договор, грандиозными студенческими демонстрациями и, наконец, бойкотом японских товаров. Версальское решение, для которого китайский народ не существовал, убило среди буржуазной молодежи Кантона, этого застрельщика и предвестника китайской революции, веру в передовую роль буржуазной демократии. *Версаль является исходным пунктом первой волны новой китайской революции.*

Китайская революция 1911 года смела манчжурскую верхушку китайской бюрократии. Но революция 1911 года не была в состоянии изменить ничего в социальном строе Китая, ибо широкие китайские массы, всколыхнутые вторжением капитализма в Китай и ударами империализма, еще не поднялись до роли самостоятельной силы. Сняв корону, манчжурскую корону, с головы китайской бюрократии, революция 1911 года уничтожила одновременно обруч, связывающий эту бюрократию в одно целое. Тогда провинциальная бюрократия начала действовать, руководясь только собственными интересами. Верх взяли те элементы, которые опирались на реальную силу. Этими элементами были военные. Китай, разбитый таким образом на ряд военных сатрапий, вызвал у представителей международного капитала убеждение, что теперь он будет еще более легкой жертвой их разбойничьей политики, чем перед войной. Поэтому одновременно с версальским решением международный и финансовый капитал создает международный банковский консорциум, который выступает против разбитого на куски Китая, как единое представительство международного капитала, и пытается подчинить себе Китай без всякого сопротивления.

Растущее *студенческое движение*, вместе с которым начинают распространяться национальные революционные и коммунистические идеи, не было понято международным капиталом, как предвестник национального возрождения Китая. Мировая буржуазия не поняла этого положения и тогда, когда ряд забастовок показал, что пробуждение охватывает не только интеллигенцию, что восстают *народные низы*. Забастовки в Макао, забастовки в Гонконге, грандиозная забастовка железнодорожников на Пекино-Пукоуской железной дороге, сотрясавшие Китай начиная с 1920 года, не вдолбили в головы капиталистам Европы понимания даже того, что в Китае капитализм создал *пролетариат* в 3—4 миллиона промышленных рабочих,—силу не меньше той, которая

опрокинула не только царский престол, но и господство буржуазии в России. Один—другой из навещавших Китай писателей обратили внимание на эти факты. Обратили на них внимание и миссионеры, более связанные с жизнью китайских народных масс и более чутко относящиеся к тому, что происходит в этих массах. В 1922 году американский торговый атташе *Арнольд* в своем докладе министру торговли заговорил об изменениях в развитии Китая, заговорил о рождении новой интеллигенции, новой буржуазии, о рождении рабочего класса в Китае.

«Стремление к организации захватило все общества, и всюду образуются всякого рода ассоциации для защиты и поддержки местных и общественных интересов. Это особенно относится к Шанхаю и к другим торговым центрам. Эти последние оказывают определенное влияние на торговые, промышленные и политические условия, которые до сего времени задерживали экономический прогресс страны и оставляли открытое поле для эксплуатации эгоистических, агрессивных внутренних и внешних кругов при помощи равного рода политиканов, преследовавших исключительно личные цели. Это стремление к организованности никоим образом не ограничивается торговыми и промышленными сферами, но распространяется на студенчество и рабочий класс. Студенческие демонстрации, имевшие место несколько лет тому назад, еще свежи в памяти китайского народа и указывают на новую силу, доселе не учитывавшуюся. В результате всего этого нарождается общественное мнение. Теперь совершенно очевидно, что каждый последующий кабинет министров более чувствителен к общественному мнению, чем его предшественник. При таком переходе от старого к новому, естественно, создается благоприятная обстановка для всякого рода злоупотреблений. Конечно, будут и ошибки. Но все нации так же, как и отдельные лица, идут к прогрессу путем тяжелого опыта. Как правило, человечество не может заранее обеспечить себя средствами против даже неизбежного зла. Система уступок и колебаний неизбежна и на западе при установлении нового порядка не только в торговых предприятиях, но и в правительственной деятельности. Великие проблемы не получают своего разрешения до тех пор, пока не проложат себе путь силой».

Международная конференция в *Вашингтоне*, созванная Соединенными Штатами Америки к концу 1922, в начале 23 года, занимавшаяся перерешением дальневосточного вопроса, реально удовольствовалась тем, что отняла у Японии шандунские завоевания. Что же касается требований китайского народа, направленных на устранение привилегий, завоеванных международным империализмом в Китае и заставляющих Китай терпеть на своей территории особые государства в государстве, заставляющих Китай отдавать свои таможни в руки иностранцев, судиться в иностранных судах—все эти требования были оставлены международным империализмом без внимания. Он обещал Китаю взяться за реформу этих навязанных Китаю с оружием в руках результатов империалистского разбоя тогда, когда Китай будет достаточно «цивилизованной» державой, чтобы заставить империалистов с ним считаться.

В то время китайское национальное движение получило *два государственных стержня*, вокруг которых оно начало кристаллизоваться. Первым из них было *кантонское революционное правительство*, возглавляемое Сун-Ят-Сеном, другим — *армия маршала Фын-Юй-Сяна на севере*.

Сун-Ят-Сен был вождем первой китайской революции 1911 года и представителем всех революционных традиций в Китае. Эти традиции связывали его со старой историей народных восстаний в Китае, со всеми этими подпольными организациями, в которых борющиеся народные массы Китая создавали себе в продолжение столетий оружие для борьбы за свободу. Но Сун-Ят-Сен не опирался ни на какую централизованную и массовую организацию. Он пришел к власти в Кантоне благодаря тому, что юг Китая, наиболее связанный с западным миром, через эмиграцию значительных китайских масс в Америку, на Филиппины, малайские острова, наиболее был насыщен современными идеалами... Одновременно он был *еще* социально расслоен, чем Шанхай, поэтому эти идеи не вызвали страха у буржуазии. Благодаря этому военщина, захватившая Кантон и Гвандуньскую провинцию, не могла господствовать без всякой идеи, ибо встречала сопротивление среди радикальной буржуазии, среди молодежи. Эта военщина допустила Сун-Ят-Сена к власти, надеясь по существу на то, что он удовольствуется почетом и позволит ей господствовать по-своему. Но Сун-Ят-Сен был слишком революционером, чтобы спокойно ужиться с гвандуньской военщиной. Сун-Ят-Сен попытался использовать свою власть для того, чтобы распространить революцию на север. Гвандуньские же милитаристы предпочитали кормиться в Кантоне, рисковать положением и властью во имя идеи национального объединения у них не было охоты. Они восстают против Сун-Ят-Сена и прогоняют его. Но Сун-Ят-Сен, за это время завоевавший себе уже значительное влияние на общественное мнение юга, побеждает их, возвращается к власти и начинает систематическую борьбу за их подчинение. Он ищет в этой борьбе образцов и союзников. Таким образом является для него русская революция. Не ее социальное содержание, не пролетарская диктатура привлекают его. Он полон глубокого сочувствия к рабочему классу. В числе его трех принципов принцип «всеобщего благополучия» занимает третье место. Но он мечтает еще о капитализме под контролем государства, и когда узнает о новой экономической политике, начатой Лениным в 21-м году, то видит в ней, а особенно в лозунге «государственный капитализм», лозунг, соответствующий положению в Китае. Больше всего его интересует практический вопрос, как организована Советская власть. На фантазию его наиболее действует Красная армия. Он понимает великолепно, что национальная идея, чтобы победить, должна стать плотью, вооружиться винтовкой. Сун-Ят-Сен приступает к организации ячейки вооруженной силы, школы Вампу, пытается создать армию, действительно независимую от милитаристов.

Сун-Ят-Сен кладет основу национально-революционной армии Каяюна. Одновременно он усваивает себе основную идею китайской революции. *Союз рабочего класса с крестьянством*, городской бедноты и интел-

лигенции должен быть той силой, которая при помощи национально-революционной армии освободит страну. Когда в марте 1924 года Сун-Ят-Сен умирает, «Таймс», главный орган английской буржуазии, пишет о нем в некрологе, как о честном мечтателе, под конец жизни сделавшемся жертвою большевистского влияния. Что Сун-Ят-Сен оставил корни, из которых растет дерево китайской свободы, этого тогда, всего три года назад, не понимала английская буржуазия. Сун-Ят-Сен оставил после себя начатки революционной армии и основы организации Гоминдана, представляющего блок передовиков рабочих коммунистов, и национального революционного движения мелкой буржуазии.

Одновременно на севере в непрерывной драке Чжан-Цзо-Лина с У-Пей-Фу, милитаристских клик, поддерживаемых, с одной стороны, Японией, а с другой—Англией, начинает кристаллизоваться второй государственный стержень китайской революции. Один из подчиненных командиров генерала У-Пей-Фу—генерал *Фын-Юй-Сян*, крестьянский сын, служивший в свое время в китайской армии простым солдатом, начинает отделяться от лагеря милитаристов. Он покидает и английский лагерь и У-Пей-Фу, чем предрешает его поражение в 1923 году, но не переходит на сторону Чжан-Цзо-Лина, а пытается подчиненную ему военную силу, специально им рекрутируемую и обучаемую, сделать самостоятельной силой. Возникновение этой силы, этой военной организации, является уже симптомом каких-то нивовых процессов, происходящих в китайских народных массах. Эта армия называется *христианской армией*. Фын-Юй-Сян, бывший во время боксерского восстания простым солдатом, встретившись с христианской пропагандой, поверил учению библии в равенство человека. Он начал подбирать китайских приверженцев христианства в свою армию. Христиане-китайцы, это—или шкурнические элементы, кормящиеся вокруг христианских миссий, или же элементы, которые через христианство искали путей к европейской культуре, к освобождению. В армии Фын-Юй-Сяна, в которой господствовала железная дисциплина, в армии Фын-Юй-Сяна, которая в мирное время строила дороги, господствовало настроение, которое миссионеры, посещавшие ее, сравнивали с настроением кромвелевских айронвайдов, этих солдат из мужиков и ремесленников, которые уничтожили в XVII столетии абсолютизм Стюартов. Американские миссионеры надеялись, что им удастся сделать из армии Фын-Юй-Сяна оплот американской политики в Китае. Надежды их оказались тщетными. Развитие национального движения повлияло и на фын-юй-сяновскую армию. Фын-Юй-Сян понял, что милитаристы не в состоянии освободить Китай, что они, наоборот, представляют опасность постоянного расчленения Китая в интересах разных клик мирового империализма. Он понял, что христианские идеи скомпрометированы в глазах китайского народа действиями христианских наций и не могут сделаться знаменем борьбы китайского народа. Знамя он нашел в идеях национально-революционного движения, в идеях Сун-Ят-Сена. Сближение Фын-Юй-Сяна с Гоминданом, сближение его через Гоминдан с Советским Союзом, переиме-

нование его армии в первую народную армию, начало реорганизации этой армии, создание в ней политотделов, попытки связаться с населением занимаемой им Северной области—все это создало новый центр национального движения.

Шанхайские расстрелы весной 1925 года, вызвавшие громадную волну национального движения во всем Китае, приведшие к забастовке сотен тысяч рабочих, перебрасывающейся из одного промышленного центра Китая в другой, бойкот английских товаров, принеший английскому империализму потери в сотни миллионов, если не в миллиарды, рублей—все это было похоронным звоном господству империализма в Китае. Мировой империализм вступил в новую эру развития. Он понял, что в Китае народилась новая сила, которая даст ему бой не на жизнь, а на смерть. Мировой империализм с английским во главе начал обдумывать контр-меры

II. Поражение первой народной армии и северный поход национально-революционной армии

Английские империалисты поняли в первую очередь стратегическое положение. Ясно было, что развитие армии Фын-Юй-Сяна и укрепление кантонской народно-революционной армии может привести к положению, когда первая, спускаясь с севера на юг к Ян-Цзе, а вторая, поднимаясь от Жемчужной реки на север, *об'единятся в Ханькоу*, в центральном промышленном районе. Первая задача поэтому состояла в *недопущении этого об'единения*.

Английский империализм решает нанести первый удар Фын-Юй-Сяну и первой народной армии. Это решение об'ясняется и стратегическим и политическим положением на севере. Фын-Юй-Сян занимал мало заселенные области Монголии, в северной части провинции Чи-Ли. Слабое население этих областей не позволило первой народной армии связаться с крестьянством. На севере отсутствует промышленность, поэтому нет революционных рабочих, т.-е. отсутствует классовая база национально-революционного движения. Фын-Юй-Сян был слабее чем Кантон, и поэтому легче было выбить это звено из цепи и легче было подкосить этот столп, поддерживающий революционное движение. Мало того, Фын-Юй-Сян находился в непосредственном соседстве с Чжан-Цзо-Лином, ставленником японского империализма и его базой. Рост Фын-Юй-Сяна, грозивший тем, что революционные идеи перекинутся в Манчжурию, беспокоил японский империализм, и поэтому Англия могла надеяться, что ей не придется действовать изолированно, что в действиях, направленных против Фын-Юй-Сяна, она получит поддержку Японии.

На юге от областей, занятых армией Фын-Юй-Сяна, действовала армия английского ставленника—У-Пей-Фу и его военные группировки. Таким образом открывался путь к совместным действиям двух старых врагов—У-Пей-Фу и Чжан-Цзо-Лина, об'единенных теперь страхом перед революционной заравой, идущей от фын-юй-сяновской армии.

План взять Фын-Юй-Сяна в два огня был приведен в исполнение благодаря развитию событий, происшедших в связи с шанхайской рабочей забастовкой. Шанхайская забастовка, напугавшая Англию, позволила Чжан-Цзо-Лину перебросить значительные войска по Тянь-Цзинской-Пукоуской железной дороге якобы для спасения порядка и цивилизации, а на деле для захвата шанхайского района с его богатыми экономическими ресурсами. Это вызвало в свою очередь военные действия со стороны шанхайского военного губернатора Сун-Чуан-Фана, который не хотел передать в руки Чжан-Цзо-Лина источник своего процветания. Длина линий военных сообщений Чжан-Цзо-Лина от Мукдена до Шанхая, равная пространству, отделяющему Париж от Москвы, дала Сун-Чуан-Фану и У-Пей-Фу возможность разорвать фронт Чжан-Цзо-Лина и принудить его к отступлению. Это потрясло чжан-цзо-линовскую армию и привело в его собственных рядах к восстанию генерала Го-Сун-Лина.

Фын-Юй-Сян, который великолепно понимал опасность, угрожающую ему от сговора между Чжан-Цзо-Лином и У-Пей-Фу, решил использовать погрязение маньчжурской армии для того, чтобы освободиться от северного врага. Это привело к соглашению между У-Пей-Фу и Чжан-Цзо-Лином. Фын-юй-сяновская армия, попавшая в огонь бывших до этого времени враждебных армий, должна была отступить перед превосходящими ее силами противников. 26-й год застал ее в тяжелой борьбе и отступлении. Империалистская пресса, в первую очередь английская, ликовала. Фын-Юй-Сян отброшен за китайскую стену, затем отброшен в Монголию. Фын-Юй-Сян принужден был отступить через Ган-су в пустынные области Китайского Туркестана. Это—конец революции на севере.

Теперь надо создать *твердое правительство в Пекине*, сделать ему уступку в вопросе о таможенных пошлинах и, таким образом, дать ему деньги на уничтожение южного столпа революции, на уничтожение кантонской армии, кантонского революционного правительства. Но уже в июне 26 года английский торговый агент принужден был донести своему правительству: «В момент, когда мы пишем этот доклад, в Китае нет никакого центрального правительства, способного контролировать хотя бы в малейшей степени жизнь отдельных провинций. *Руководящие милитаристы неспособны уладить свои личные разногласия и сговориться насчет состава правительства или хотя бы насчет будущей формы национального правления*».

У-Пей-Фу и Чжан-Цзо-Лин не доверяли друг другу. Также не доверяли друг другу Англия и Япония, стоящие за ними. Пекинское правительство не имело никакой силы, не имело средств даже для уплаты жалованья центральному чиновничьему аппарату. Кантон решил перейти в наступление. В июле месяце кантонская армия выступает на помощь революционному генералу Тон-Ши-Дзи, поднявшему восстание против ставленника У-Пей-Фу в Хунаньской провинции. Форсированным маршем она достигает столицы Хунаньской провинции—Чанша. На всем ее пути ее приветствует крестьянское население, до которого

дошли известия о революционных идеях кантонского правительства. Северный поход кантонской армии казался многим друзьям китайского революционного движения преждевременным. Армия У-Пей-Фу, господствующая в наиболее развитом промышленном районе Китая, славилась в военной литературе, как лучшая армия Китая. У-Пей-Фу сам слыл лучшим стратегом Китая. Кроме того, казалось, что он сильно связан с буржуазией центрального промышленного района, и что она окажет ему полную поддержку. Но кантонская армия била армию У-Пей-Фу и оттеснила ее в кровавых боях к Ян-Цзи. Народные массы нигде не оказывали У-Пей-Фу ни малейшей поддержки. Буржуазия тоже не стала на его защиту, озлобленная политикой беспрерывных реквизиций.

Кантонская армия дошла, таким образом, в боях к центральному району и захватила Ханькоу, Ву-Чан и Ханьян, три города, являющиеся центром металлургической промышленности Китая, города с 200-тысячным пролетариатом. Ян-Цзи-Цианг в своей центральной части находилась в руках кантонской армии. Одновременно другие части кантонской армии захватили приморскую область Фу-Цзян и Цжанси, очищая их от войск Сун-Чуан-Фана. Вся коалиция У-Пей-Фу рассыпалась. Коалиция Сун-Чуан-Фана, представляя собою военный союз пяти провинций, оказалась не более устойчивой, хотя Сун-Чуан-Фан, опираясь на помощь английского флота и на богатые ресурсы Шанхая, держит все еще в руках этот руководящий промышленный и торговый центр Китая и ведет отчаянную борьбу против народно-революционной армии. *Кантонцы на Янг-Це—это для английского империализма столько, сколько Бирнамский лес, появившийся у стен крепости Макбета Донзинаи, кантонцы на Янг-Це—это знамя об'единения Китая, водруженное в сердце Китая. Кантонцы на Янг-Це—это уже не Гвандунская провинция, занимающаяся революционными вещами, это ключ победы революции во всем Китае. Шанхай в руках англичан без Ханькоу—это рот, ожидающий пищу, находящуюся в чужих руках. Но и Ханькоу без Шанхая—это грудь, щипущая воздуха, когда рука врага затыкает глотку. Кантонцы в Ханькоу—это завет дальнейшей борьбы.*

Китай может быть об'единен, оставляя пока что вне своих пределов Мукден, но Китай не может быть об'единен без Шанхая, без Шан-Зи, без Шан-Си, без Хенани, Шандуня и Чи-Ли. В этой борьбе могут быть разные этапы. Но борьба неизбежна. Или победят кантонцы или побежденные и отбитые будут принуждены снова наступать.

III. Китайская революция и Англия

Победы кантонской армии, как путь к об'единению Китая, направлены об'ективно против всего мирового империализма. Если кантонцам удастся об'единить Китай, то это его еще не освободит от зависимости от международного капитализма. Опираясь на слабую сеть железных дорог на протяжении в 11.000 верст, революции так же трудно страной управлять, как и контр-революции. *Форсирование железнодорожного*

строительства будет являться первой жизненной необходимостью для объединенного Китая. Для этого он будет нуждаться в сотнях миллионов, если не миллиардов, денег, которые в значительной мере придется занять *за границей.* Но объединенный в руках сильной революционной партии Китай ликвидирует все привилегии иностранцев, будет вести с ними переговоры на основе *взаимной выгоды.* Но если победа китайцев в окончательном счете направлена против всех империалистских держав, то *объективно в первую очередь она направлена против Англии.*

Три империалистских державы борются за влияние на Китай: *Соединенные Штаты Америки, Япония и Англия.* Соединенные Штаты Америки не имеют в своих руках ни одного куска китайской территории. Рост их торговли с Китаем опирается на дешевизну их стандартизированной продукции. Они имеют громадные капиталы, которые они могут одолжить Китаю. Япония была в прошлом жестоким врагом Китая. Ее капиталистические интересы в Китае выросли в громадных размерах. Они близки уровню интересов Англии. Пять железных дорог находятся под непосредственным или косвенным контролем Японии. В ее руках 50% производства текстильных изделий Китая, в ее руках копи в Хенане и Хубэй, ибо большинство капитала, в них вложенного, находится теперь в руках Икокогама-Спешу-Банк. Не менее двух миллиардов рублей вложил японский капитал в китайские банки, промышленность, торговлю. Но значительная часть интересов Японии сконцентрирована в Маньчжурии, находящейся на севере, в периферии главного китайского массива. В Шан-Дуне и на Янг-Це японский капитал работает совместно с китайским. Японцам легче других приспособиться к китайской обстановке и действовать под китайским флагом.

Англия держит в своих руках важные части китайской территории. Гонконг является ее крепостью. В Шанхае, несмотря на юридически международный характер сэтльмента, она является господствующим фактором. Она наиболее ненавистна китайским народным массам, ибо она шла во главе всех походов, направленных против китайского народа. Поэтому рост китайской революции ослабляет в первую очередь ее позицию. Но кроме того имеются еще другие объективные причины, объясняющие, почему китайские удары направлены объективно в первую очередь против Англии.

Ллойд-Джордж в своей статье «О китайской революции» от 30 января указывает совершенно верно на эту причину, когда говорит, что китайцы понимают, что те уступки, которые они вырвут у Англии, вырваны у всех других держав. Но уступки эти легче всего вырвать у Англии.

Во-первых, потому, что ей наиболее трудно благодаря пространству, отделяющему ее от Китая, воевать в Китае. Она вообще не в состоянии вести в Китае сухопутную войну. Сухопутная война в Китае потребует сотни тысяч солдат. Англия имеет теперь незначительную наемную сухопутную армию. Ей пришлось бы в случае войны с Китаем перебросить свою индийскую армию, что способствовало бы новому взрыву революционного движения, с трудом подавленного в 19-м году. Английские

доминионы не хотят принять участия в походе против Китая. Все это направляет удары китайской революции в первую очередь против Англии. Утверждения английской печати, что это направление ударов является результатом советской пропаганды, представляют собою образчик агитации навне. Ни один из государственных людей Англии, разбирающихся в обстановке в Китае, не может серьезно в это верить.

Появление кантонской армии в долине Янг-Це принудило Англию попытаться переменить курс своей китайской политики. С решительностью, свойственной английской дипломатии, с беззастенчивостью, свойственной ей, она выступила 16 декабря с меморандумом к Китаю, в котором заявляет о своей дружбе к национальному движению Китая, о необходимости считаться с возрождением китайского народа. Этому «китайскому народу» она протягивает руку, заявляя: «готовность к пересмотру неравных договоров, к признанию таможенной автономии», «но,—прибавляет она,—нет единого китайского правительства». Англия не может вмешиваться в гражданскую войну (т.-е. она могла поддерживать Чжан-Цзо-Лина и У-Цей-Фу, но не может поддерживать Кантона), поэтому она пока что согласна только на увеличение таможенных пошлин на $2\frac{1}{2}\%$ для обыкновенных товаров и на 5% для предметов роскоши. И пусть эти пошлины собирает для себя всякий, кто держит в своих руках данную гавань. Во всех других вопросах она готова к переговорам.

Английские предложения сводятся, таким образом, к подачке, которая при данном соотношении сил даст 12 миллионов долларов кантонцам и более 20 — Сун-Чуан-Фану и Чжан-Цзо-Лину, т.-е. представителям контр-революции. Все прочие обещания должны были подорвать позиции, завоеванные Америкой, ибо Соединенные Штаты Америки до этого времени больше, чем другие, высказывались за уничтожение неравноправных договоров.

Мы назвали английский шаг решительным. И он был решительным, поскольку дело идет о признании великого нового факта—рождения китайской нации. Что касается практических выводов, то английская нота поражала полным отсутствием конкретного плана действий, и только нащупывала путь, как далеко можно идти в уступках. Китай оценил эту ноту по заслугам и ответил на нее грандиозной демонстрацией в Ханькоу, которая поставила английское правительство перед вопросом или рискнуть кровавой баней в Кантоне, которая на долгое время сорвала бы всякую попытку соглашения с Китаем и могла бы привести к резне англичан, или же согласиться на захват Ханькоуской английской концессии кантонским правительством. Английские военные власти не решились на кровавую баню. Лозунг Андерсена: «Shottokill!»—«Патронов не жалеть», провозглашенный во время шанхайских событий, не был повторен. Английские власти эвакуировались из Ханькоу. «Union Jack» был опущен, и его место заняло знамя Гоминдана; знамя кантонского правительства поднялось над английской концессией. Английский империализм увидел, что уступки, сделанные китайской революции, недо-

етаточны. Переговоры английского представителя О'Малли с кантонским министром иностранных дел Ченом усиливают количество пряников. После изложения затруднений, лежащих на пути к соглашению с Китаем, Чемберлен заявил, что английское правительство соглашается подчинять судебные дела англичан китайским судам и ввести в свои суды, существующие в Китае, китайский и гражданский коммерческий кодекс. Одновременно английское правительство соглашается на подчинение англичан китайским регулярным налогам. Что касается концессий оно соглашается (в очень расплывчатой форме), чтобы они были подчинены режиму, господствующему на китайской территории, если общинам британских купцов дан будет голос в муниципальных советах.

Одновременно с этим пряником английское правительство показало революционному Китаю свой бронированный кулак. Оно собирает у Шанхая флот в 75 единиц. Посылает 16 тысяч солдат. Неизвестно, решилось ли оно давать отпор кантонской армии, если бы она заняла Шанхай, или должны ли эти войска служить только для охраны международного сэтльмента в Шанхае. Но вопрос о плане английского империализма не имеет никакого решающего значения, ибо ясно, что наличие сил, вооруженных всеми средствами современной военной техники, означает прямую помощь Сун-Чуан-Фану, который может очистить город от своих военных сил и перебросить их на фронт, зная, что английские войска будут при помощи броневиков, аэропланов и газовых бомб держать в повиновении полуторамилионное население Шанхая, ожидающего прихода кантонской армии. Кроме того, такое скопление английской солдатчины в миллионном промышленном центре, где много бедноты, ненавидящей высокомерных колониальных деспотов, может каждый день привести к вооруженному столкновению, которое подействует, как искра, брошенная в пороховой погреб.

Решение правительства Болдуина является компромиссом между политикой более дальновидных элементов английского империализма, понимающих, что время открытого господства европейского империализма в Китае миновало, и определенных колониально-военных кругов, которые боятся всяких уступок Китаю, дабы они не отозвались громким эхом в Индии. Как всякий компромисс, и этот чреват дальнейшими осложнениями.

Национальный Китай ответил на английские угрозы перерывом переговоров. Как дальше развернется конфликт, нельзя в момент, когда мы пишем эти строки, предсказать. Одно ясно. Китайское национальное правительство не отрицает принципиально возможности соглашения с Англией. Не всегда удается завоевать свободу одним ударом. И порабощенные народы шли к национальной свободе часто через ряд этапов. Но ясно, что если соглашение будет заключено под военным нажимом Англии, то Англия мало на нем выиграет. Оно будет сорвано ходом событий, как только усилится военное положение кантонского правительства.

IV. Внутренняя политика кантонского правительства

Победы кантонской народно-революционной армии были одержаны не благодаря превосходству вооружения кантонцев, не благодаря численности их армии. Кантонская армия хуже вооружена, чем армии контр-революционеров. Располагая бюджетом в пять миллионов мексиканских долларов в месяц, кантонское правительство не могло создать крупной армии. Армия вступила в бой в числе 100 тысяч человек, которые пришлось разбросать по громадному пространству. *Кантонская армия побеждала благодаря национальной идее, связанной с ее знаменем.* Но национальная идея эта не просто идея освобождения страны от иностранных империалистов и об'единения страны. *Во всякий исторический период национальная идея связывается с интересами и страданиями определенного слоя.* Во время французской революции этим слоем было в первую очередь крестьянство, защищавшее свои земли, вырванные из рук феодалов, от армии европейской контр-революции, с которой она хотела восстановить во Франции помещичий строй.

В войнах Германии за об'единение национальная идея была связана с интересами промышленной буржуазии, стремившейся создать единый рынок для своей растущей промышленности. *В китайской революции национальная идея связана с интересами рабочих и крестьян.* Буржуазия в значительных своих частях связана с иностранным империализмом. Крестьянин стремится к национальному об'единению, чтобы освободиться от разорения, которое приносит ему междоусобица милитаристов и господство ростовщического землевладения. Рабочий стремится в Китае к освобождению от иностранного ига, которое порабощает его, как продавца рабочей силы. Понятно, что не вся буржуазия играет уже контр-революционную, антинациональную роль. Но она слишком слаба, чтобы быть гегемоном революции, т.-е. чтобы быть в состоянии поднять народные массы на борьбу против иностранного ига. Она слаба не только численно. Она слаба тем, что, эксплуатируя не хуже иностранных капиталистов китайский пролетариат, она не может апеллировать к нему. Она слаба тем, что связана с помещичьим классом и не может апеллировать к крестьянству, половина которого живет в нужде, о которой не имел понятия даже русский крестьянин царских времен. *Идея, которая создала симпатии к кантонской армии, это идея социального освобождения рабочих и крестьян.*

Кантонское правительство очень мало сделало до этого времени для реального улучшения положения крестьян и рабочих. В Гуаньской провинции пролетариат очень слаб, а помещики очень сильны. Это отразилось сильно на политике кантонского правительства. Но отсутствие реальной рабочей политики в Гвандуне не вызывало острых конфликтов со слабым пролетариатом и поэтому не противодействовало агитации кантонского правительства, выступающего в качестве друга рабочего класса. Но пришедшее в центрально-промышленный район кантонское правительство не может удержать этих симпатий рабочих масс только

словами. Положение этих рабочих масс так тяжело, что они будут *судить кантонское правительство не по словам, а по делам*. Они имеют право требовать от кантонского правительства мероприятий, которые улучшили бы их положение, которые позволили бы им создать мощные организации и которые давали бы возможность национальному революционному правительству выступать обвинителем против режима, существующего на фабриках иностранных империалистов.

Глава кантонского правительства, командующий национально-революционной армией, Чен-Кай-Ши, указывает в своем воззвании от 16 декабря, что цены продуктов, необходимых для жизни, в центральном районе утроились за последние 8 лет, а заработная плата рабочих осталась на старом уровне. Он призывает капиталистов добровольно согласиться на повышение заработной платы. Одновременно призывает рабочих к терпению, предуказывает им, что положение Китая требует содействия капиталистов и рабочих. Рабочие во имя единого анти-империалистского фронта проявляли до этого времени очень много терпения, соглашались на арбитраж, затыгивающий решение самых простых спорных вопросов. Но это терпение может исчерпаться. Во всяком случае рабочие центрального района не потерпят, наверно, ограничения свободы организации, которое в последнее время допускает целый ряд командиров национально-революционной армии. Запрет в Кантоне вооруженных рабочих пикетов местным командованием, аресты профессионалистов, вызвавшие протесты ханькоуских и шанхайских советов профсоюзов, указывают, что политике кантонского правительства угрожают большие опасности со стороны военных элементов, вливающих теперь в ряды народно-революционной армии из старых армий милитаристов. В том же самом направлении действуют капиталистические элементы, примыкающие к кантонцам после их побед.

Не меньшей опасностью угрожает кантонскому правительству отсутствие решительной крестьянской политики. По всем провинциям, занятым кантонской армией, начинают организовываться помещики. Они вооружают кулацкие отряды для борьбы с союзами бедноты и батраков. Отряды кантонской армии не везде помогают революционным силам. Это объясняется тем, что значительная часть командиров происходит из джентри, и тем, что правительство, имея против себя силу империалистов, боится гражданской войны в тылу фронта. Понятно, что политика, стремящаяся к собиранию вокруг правительства всех сил, заинтересованных в освобождении страны от иностранных империалистов,—правильная политика. Но при этом кантонское правительство в своей политике не должно забывать одного: *только по мере того, как благодаря его победам улучшится положение широчайших масс, будет расти и его сила против империализма*. Только если кантонскому правительству удастся улучшить положение батрака, бедноты и середняка, оно будет представлять силу, способную объединить Китай. Только если оно реально поможет крестьянству, никакие переходные военные положения ему не страшны. Даже принужденное к отступлению, оно оставит

в крестьянских массах след, по которому ему будет легко скоро вернуться, отвоевать потерянные позиции и идти вперед. Задача состоит в том, чтобы, понижая арендную плату для 70% деревни, связать деревню с собою. Этого требуют также финансовые интересы национального правительства. Только улучшив положение крестьян, оно откроет себе путь к новым источникам средств, необходимых для финансирования освободителей борьбы.

Английский империализм спекулирует на неминуемой социальной дифференциации в областях, занятых революционными армиями. Английский империализм надеется найти опору в китайской буржуазии, стремящейся к «спокойным» условиям для развития торговли и промышленности. Кантонская политика должна по возможности не отталкивать преждевременными шагами от себя буржуазных слоев, но одновременно кантонское правительство не может не понимать, что самая главная опасность, которая ему угрожает, это безразличное, чтобы не говорить о враждебном, отношение к нему народных масс рабочих и крестьян.

V. Международные последствия

Процесс развертывания китайской революции может вызвать уже в ближайшее время ряд *международных потрясений*. Первым симптомом этого является обострение советско-английских отношений, угроза английского правительства прервать дипломатические отношения с СССР, обвиняемым им в поддержке китайской революции. В момент, когда пишем эту статью, нельзя еще сказать, имеем ли мы здесь дело с попыткой шантажировать СССР для разделения, разобщения русской и китайской революции, или же с действительным намерением разорвать слабую сравнительно нить, связывающую Англию с СССР. Когда этот номер дойдет до наших читателей, положение будет по всей вероятности уже выяснено.

6 февраля 1927 г.

Критические заметки

Об Артеме Веселом

ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ

В России революция, вся Россия на ножах.

«Россия, кровью умытая».

I

Артем Веселый не принадлежит к числу «модных» пролетарских писателей. Его имя не занимало еще такого видного места, как, напр., Ю. Либединского или Ф. Гладкова. Артема Веселого похваливали в меру, хлопали по плечу сочувственно, но без восторга. В его талантах мало кто сомневался, но «kozyряли» Артемом Веселым лишь в случаях крайней необходимости. И сам он, человек дикий, мало общительный, не навязывал себя читателю, бия кулаком в грудь не вопил на перекрестках о своих достоинствах. Артем Веселый остался в стороне от поветрия саморекламы, которое, как дурная болезнь, заравило некоторых «молодых». А между тем—писатель этот заслуживает большого внимания. Пройдет немного лет—произведения А. Веселого будут переводить иностранцы, и несуровное имя его станет вровень с самыми славными именами новейшей нашей литературы.

II

Написал Артем Веселый до сего времени немного. Да и писать он стал не так давно: в 1921 г. впервые в «Красной Нови» появилось это имя. Сказать, что Веселый сразу завоевал признание—нельзя. Правда, его произведения привлекали простонародной яркостью, первобытной грубостью языка, размашистостью манеры, но они были вместе с тем расплывчаты, неорганизованны, смутны. Однако, в этих широких набросках чувствовался темперамент настоящего художника, еще не нашедшего себя. Видно было также, что автор—в плену языковой стихии, которую безуспешно пытается одолеть. В первых произведениях своих Артем Веселый не справлялся с языком. Богатейший, очевидно, запас языковых наблюдений, не подчиненный художественной воле, превращался в пеструю

ткань, которую без словаря осилить бывало трудновато. Словесные самоцветы, которым позавидовал бы записной фольклорист, Веселый щедрой рукой рассыпал по страницам. Но чем больше выигрывали они в яркости, тем больше проигрывали в четкой простоте. К «Рекам Огненным», написанным «блатным» жаргоном, автор приложил даже словарик, без которого повествование для непосвященного оставалось темным. Непокорная стихия языка заставляла нашего автора прибегать к настоящей «зауми» — не потому ли он весьма сочувственно был принят в «Лефе»? В этот первый период «борьбы за мастерство» Артем Веселый напоминает одного из своих героев, партизана Гришку из «Дикого сердца».

«Слова Гришка накальвал редко и нехотя, разговаривали за Гришку руки, ноги, чмок, фырк, сыц, марг, плевки: бра зна? Ууу, ццц... черно... Пух - пух, та - та - та - та - та. МММ... Обшад, Гирцеванова, бам-бам... Зззз... Иии. Кхххх... Талалы - лалалы. Кугу? В станицу? Ку-гу?» и т. д.

Такое точно косноязычие овладевало иногда нашим автором. Тогда страницы его пестрели междометиями, замысловатыми словечками, подслушанными у жизни, но еще не отшлифованными, чтобы стать искусством. Они оставались сырым материалом. Оттого первые произведения Артема Веселого производили впечатление рыхлых набросков. Писателю явно не хватало хорошего знания своего ремесла. Тут не помогали попытки разными техническими ухищрениями, заимствованными у Белого и Пильняка, заполнить конструктивные недостатки. Все это еще больше убеждало в том, что *не автор владел словом, но слово им владело*. Это был «партизанский» писатель не только потому, что партизанщина занимала видное место в его творчестве; но еще и потому, что самая проза его, композиционно и стилистически, была анархична и дезорганизованна, в своих особенностях отражая сумбур и хаос, царившие в сознании анархической вольницы.

В недостаточной технической подготовленности, в малой «выучке» лежали главные причины, почему Артем Веселый не развернулся сразу. Удивляться тут нечему. Насколько нам известно, автор «Страны родной» — подлинный пролетарий: это значит, что гимназических и иных курсов он не проходил, систематических знаний не получил, а вышел в жизнь — гол как сокол, не вооруженный ни культурным опытом, ни навыками литературного ремесла. Такова судьба пролетарского писателя: все это ему приходилось добывать горбом, самоучкой, в взрослых летах — уже после того, как он колесом прошел по нашей необъятной стране, побывал на фронтах, партизанил, делал революцию с мужиками, зубрил (урывками!) литературную азбуку, почитывал (впервые!) классиков. Оттого-то ранние произведения его были внутренне робки, несмотря на внешнюю размахистость и удаль.

Но даже эти произведения заставляли принять Веселого «всерьез». Было ясно, что перед нами не диллетант, после житейских кораблекрушений пытающийся бросить якорь в затонах литературы. В этом молодом парне с красноармейскими замашками, грубым голосом и угловатой

речь, принесем с собой воспоминания о партизанщине и фронтовой борьбе,—чувствовалась большая сила.

Но вот перед нами «Страна родная»—роман с подзаголовком «фрагмент», и начало эпопеи «Россия, кровью умытая» (десятая книга сборника «Недра»). Эти вещи позволяют нам привлечь внимание читателя к Артему Веселому. В лице этого пролетария расцветает еще одна яркая надежда нашей молодой литературы.

Знакомясь с этими произведениями, мы не будем держаться порядка их появления в свет. «Страна родная» вышла из печати в прошлом году. «Россия, кровью умытая»—только что. Обратимся сначала к последней вещи.

III

Автор называет произведение свое романом. Это весьма условное обозначение: «Россия, кровью умытая» лишена сюжета, в ней нет индивидуальных героев, разворачиваемые события не централизованы. Перед глазами нашими пронесется живой поток людей и событий, пестрый и разношерстный: как бы гигантская панорама, приятно удивляющая дерзостью размаха, яркими красками, сочной силой изобразительности.

Возможно, что в дальнейшем (я думаю—так именно и будет) художественная ткань уплотнится, из широчайшего потока выделится организуемая струя, которая определит направление и смысл происходящего.

Но уже «двух крыльев», напечатанных в десятом сборнике «Недра», достаточно, чтобы причислить новое произведение к крупнейшим созданиям нашей литературы последних лет. Мы видим смелую попытку художника дать широкую картину великих и малых событий русской жизни, начиная с тех дней, когда после февраля стал рассыпаться фронт. Первые «два крыла» романа изображают этот распад. «Серая скотинка», «пушечное мясо», расейская замордованная солдатня, вшивая, голодная, но державшая дисциплину, эта миллионная масса разбужена громом революции. Автор рисует ее медленное пробуждение, первые неуверенные попытки встать на ноги, заявить свою «волю», постепенное, все более быстрое, захватывание ее вихрем революции, и, наконец, многоголовое, бурное, неудержимое восстание и развал фронта.

Удалась ли автору эта дерзкая задача? Мы отвечаем утвердительно.

Семнадцатый год. Далекый турецкий фронт. Первые вести о революции. Армия в тисках дисциплины; она бессловесна и робка; не умеет думать; не смеет противоречить; не понимает еще смысла происшедших событий. Автор подчеркивает, как, впервые заговорив, солдат *«путается языком в зубах»*. Но солдат *заговорил*. Эта сцена, необычайная по трудности, которую открывается «Россия, кровью умытая», захватывает сразу, с первых строк. Автору веришь, потому что и в самом деле *видишь* именно то, что хочет он показать. Перед нами не рассказ о происходивших событиях, но сами события, оживающие на страницах. «Свобода», вещь совершенно фантастическая, пределов которой не представлял себе мозг солдата, впервые проснувшегося к жизни,—свобода начинает овладевать

солдатским сознанием, шаг за шагом, на фоне окопных будней. Нет, разумеется, возможности (да и нужды) показать здесь пути, какими проникла революция в темное солдатское сознание и как она им овладела. Автор терпеливо, с знанием дела и весьма искусно изображает растущий опыт вооруженной толпы, постепенно высвобождающейся из тисков дрессировки. Раскованная стихия еще не находит точки приложения своих сил, — но уже начинает бурлить и вздыматься. Просыпается затаенная ненависть к войне, растет тяга домой, к земле, к бабе, ребятишкам. В небольшом диалоге автор показывает, как солдат, получивший дар слова, односложно, но упорно отстаивает свою точку зрения.

«Начальники говорят:

— Рассея—наша мать.

Солдаты отвечают:

— Домой.

Те свое:

— Честь русского оружия.

А эти в голос:

— Домой.

Те опять:

— Геройство, лавры, долг.

А в упор:

— Домой, домой, домой.

— Присягу давали?

— Эх, крыть нечем, верно, давали... И какой чорт выдумал ее на нашу гибель?

Оно хотя и крыть нечем, а к офицерству стали маленько остывать».

Белогвардейские историки войны и революции неизменно указывают, что фронт стал разлагаться под влиянием революционных агитаторов. Мы не хотим умалить роль, которую сыграли революционные агитаторы в царской армии. Но у нас нет оснований затушевывать то, что было. На самом же деле революционные агитаторы лишь оформляли настроения, которые, независимо от агитаторов, зарождались и распространялись в солдатской среде. Агитаторы находили самой жизнью подготовленную почву: здесь ведь и скрыта причина успеха нашей партии на фронте.

Артем Веселый показывает это превосходно. Закипает мужицкое недовольство. Солдатские требования офицерство квалифицирует как «большевицкие речи», хотя солдат и краем уха не слышал еще о большевиках. Самый процесс революционизации солдатского сознания сделан так подробно, убедительно и точно, что значение романа Артема Веселого выходит за пределы художественности.

По «Войне и Миру» Льва Толстого нет необходимости изучать кампанию двенадцатого года—есть превосходные исторические источники. Но никаких исторических, да еще превосходных, свидетельств не оставил фронт 1917 года в той своей части, которая характеризовала бы изнутри картину его распада. Такую картину можно было бы восстановить лишь

с помощью мемуаров участников и очевидцев. Но солдатня, развалившая фронт, мемуаров, как известно, не писала. А «господа офицеры», сохранившиеся в живых, если и пожелают подарить человечеству свои воспоминания об этом участке революции,—дадут, разумеется, картину, но в малой степени не соответствующую интересам истории. Оттого-то эпопея Артема Веселого, написанная на основании личного опыта, приобретает значение человеческого документа, характеризующего не индивида, но коллективного человека.

IV

Те «два залпа», которые напечатаны в «Недрах», представляют собой лишь «завязку» эпопеи. Они показывают нам, как солдаты лавиной хлынули с фронта, захватывая транспорт, оставляя за собой кровавый и огненный след. Масштаб напечатанных двух частей, свободное развертывание материала, широкая задача, поставленная автором, говорят о том, что самое значительное—впереди. Перед нами лишь отрывок огромной картины, как бы вступление к повествованию, в котором мы увидим Россию «со всех сторон»—солдатскую, деревенскую, партизанскую, городскую, рабочую. Желая, очевидно, выдержать стиль «солдатской эпопеи», художник подразделяет ее не на «части» и «главы», а на «крылья» и «залпы». Главным действующим лицом является множество: оно живет, дышит, движется, многоголосое, страстное, страдающее и заставляющее страдать. Если появляются отдельные фигуры, они зарисованы мимоходом, как образцы, характеризующие отдельные черты этого «множества». Исключение представляет лишь солдат Максим Кужель. Максим—в центре событий на фронте; Максим—солдатский ходок в Трапезунд, он везет солдатские «голоса» в комиссию по выборам в учредительное собрание, и путь его—от далекого турецкого фронта до казачьих станиц на Кубани—раскрывает перед нами панораму солдатского отступления. Нетрудно видеть, что Кужель облегчает нашему автору вести повествование. Это та самая призма, сквозь которую мы видим и фронт в эпоху его распада, и путь, проделанный солдатской массой с фронта домой. Этот прием, не новый в литературе, позволяет автору с разных концов показывать читателю «Россию, кровью умытую». Бегут поезда, до отказа набитые солдатами, оружием и хлебом; проходят мимо станции, города и деревни; жестокая борьба за жизнь, самоуправство и бесчинства солдатской вольницы, стихийный разлив раскованных солдатских страстей. Пугачовская, дезорганизованная и дезорганизирующая стихия крестьянско-солдатского разлива показана с большой жизненной правдой. Именно здесь, в изображении разнуздавшегося «мужичья», сломал бы себе шею буржуазный писатель, в котором ненависть к «мужику», свирепому в своем бунтовском протесте, одержала бы верх над всеми другими мотивами. Не раз поскользнулся бы и попутчик. Но Артем Веселый—сам мужик и солдат. Атом этого могучего потока, он изнутри знает его правду. В картинах жестоко мрачных автор сохраняет каменное спокойствие. Мы не знаем, какой ценой оно ему достается, но думаем, что без него

немыслимо создание художественного произведения из *такого* материала. Можно было бы перефразировать известное изречение Спинозы: «Художник хочет не плакать, не смеяться, а изображать». Он с одинаковым хладнокровием говорит о человеческой крови и дымном дыхе паровоза. При этом звериное в человеке не поглощает человеческого, жестокость толпы чередуется с детской отходчивостью; грубая дикость солдата сопровождается глубоко запрятанной нежностью. При несомненном преобладании темных красок, Артем Веселый умеет при этом бросать свет так, что его не поглощают тени. Оттого-то жестокая живопись его не вызывает угнетающего чувства, какое вызывали в свое время «Деревня» И. Бунина, «Наше преступление» И. Родионова, и вообще все попытки буржуазных художников дать так называемое «правдивое» изображение деревни.

Берясь живописать мужицкую темноту, авторы эти не могли справиться с распределением света и тени. Да иначе и быть не могло: *барин* писал о *мужишке*. Но вот перед нами сам мужик. Вооруженный талантом и знанием литературного ремесла, он говорит о мужике без сентиментов— и без злобы. Картина получается не менее жестокая, но лишенная беспросветности. Артем Веселый не оскорбляет и не отталкивает, ибо говорит ту правду, которой надо смотреть в глаза; это горькое, но целительное лекарство. Не оттого ли его эпопея оставляет бодрящее впечатление?

V

Во первых частям трудно, разумеется, судить о всем произведении. Но и сейчас уже можно заключить, что наш автор—не «бытовик»; все старания свои прилагающий к тому, чтобы достичь большего схождения с натурой. Реализм Артема Веселого вырастает из революционного быта, но в этом реализме есть руководящие идеи, придающие целеустремленность его прозе. Бытовизм, натуралистический реализм плох и сер именно потому, что никуда не зовет, лишен *динамических* идей, которые сообщают и напряженность, и пафос искусству. Натуралистический реализм—*статичен*, не идет ни взад, ни вперед, ибо доволен тем, что есть. Он удовлетворяется созерцанием и воссозданием вещей и не любит, когда они сдвигаются с насиженных мест. Оттого-то в революционные эпохи, когда земля встает дыбом, и все приходит в беспорядок, натуралистическому реализму без «твердого» быта делать нечего. Реализм *романтический* (определение *дискуссионное!*) наоборот—*динамичен*. Он рождается в борьбе, в отрицании, в протесте, и болото быта с вещами, вросшими в землю, ему ненавистно. В противоположность бытовому, натуралистическому реализму— он ищет общих идей, которые бросали бы свет в «завтра». Реализм романтический ищет *преодоления настоящего*—в сторону прошлого, если он реакционный (как, напр., в «Чертухинском Балакире» С. Клычкова), или в сторону будущего, если он революционен (как, напр., в «Конармии» Бабеля, в «Цементе» Gladкова). Эпопея, развертываемая Артемом Веселым, принадлежит к образцам реализма романтического. В ней есть лейт-

мотив, преодолевающий развал, хаос и кровь; это—*идея революции, побеждающей железом своей организованной воли.*

Если оторваться от художественной образности эпопеи и раскрыть схематизм ее композиции, она предстанет в виде схватки двух стихий, боровшихся в нашей революции: стихии неорганизованной, бунтовской партизанской, перерождающейся в бандитизм, и стихии пролетарской, организованной, революционной, городской. История гражданской войны, если взглянуть на нее с такой точки зрения, заключалась в борьбе революции—против бунта, индустриального города против патриархальной, кулацкой деревни, Красной армии, как принципа—против партизанщины, также принципиальной. Эта замечательная схватка, происходившая в каждом углу нашей необъятной страны, бросила свет на все наше искусство: она ставила ведь кардинальный вопрос, от судьбы которого зависел «завтрашний» день: победит ли пролетариат, как индустриальный класс, организующий освободительную борьбу *в союзе с трудовым крестьянством и руководящий* крестьянством, который также превращается в *организованную силу*, или же победит начало докапиталистического русского бунта, партизанщина, махновщина ¹⁾.

Рисуя бунтовскую, вскормленную царской казармой, охваченную разрушительными и приобретательскими инстинктами солдатскую массу, Артем Веселый вводит в повествование противоборствующие элементы. Пока их представителями являются Максим Кужель (в его сознании еще борются оба враждебные начала) и мельком зарисованный гармонист-красногвардеец, из уст которого солдаты узнают о том, что в России—новые фронты,—помещичье-генеральский и рабоче-крестьянский. Видение железного мотива организации в хаос и хлябь солдатского разлива сделано автором очень искусно. Хриплым голосом с заплеванных вокзальных стен, плакатами и воззваниями, кричит в солдатские уши пролетарская революция.

VI

За Артемом Веселым устанавливается репутация художника масс по преимуществу. В этом есть доля правды. Он большой мастер в изображении народных движений, в характеристике человеческого множества. Многоголосье толпы дается ему с легкостью. Но было бы несправедливо отказать ему в умении дать облик отдельного человека. С индивидуальными портретами мы встречаемся в «Стране родной». В «России, кровью умытой» автор показывает Кужеля. Мы видим, как работающего и ласкового мужика война превращает в жестокого солдата, а революция пробуждает в нем бунтовские силы. Кужель—солдатский вождь.

¹⁾ Мотив борьбы «деревянной Руси» с «железным гостем» был одним из центральных мотивов лирики Сергея Есенина. Любопытно сопоставить художественное воплощение этого мотива в «Сорокоусте» (соревнование красногривого жеребенка и паровоза) с замечательной картиной единоборства быка с паровозом в «Стране родной» Артема Веселого. В обоих случаях побеждает «железо». Вот тема—о «железном» мотиве в современном нашем искусстве, достойная внимания.

мститель за солдатское горе, депутат. Он и «чихаус» пограбить не прочь, и убивает с остервенением, в нем просыпаются месть и бунт, а в глубине души теплится мечта о земле, о доме, и плывут в сонном сознании золотые картины крестьянского счастья. Очень тонко показаны в этом задымленном порохом солдате мотивы семьи, домашности, мирного труда. Не надо забывать, что *мы имеем дело с деревенской массой, воспитанной в царской казарме*, неграмотной и темной, первобытно-простой, впервые пробудившейся от сна. Темен и Кужель, но он всматривается в окружающее: у него есть воля понять, что и как, он кровно связан с товарищами по судьбе, инстинкт коллектива, еще не осознанный, говорит в нем очень сильно. Как и многое множество других крестьян, Кужель стихийно подготовлен к восприятию идей, организующих борьбу. Почва его души вспахана для посева, нужны только семена—нива заколосится. Автор заботливо ведет его тернистым путем испытаний, проясняющих сознание. И если в дальнейших частях эпопеи не снизится искусство, с каким сделаны первые два «залпа»,—русская литература обогатится произведением, которое займет такое же почетное место, какое занимает во французской литературе «История одного крестьянина» Эркмана Шатриана. На стороне Артема Веселого будет то преимущество, что материал русской революционной эпопеи более колоритен. Что же касается мастерства—об этом будем говорить позднее, когда вся эпопея будет закончена нашим автором.

* * *

Второй «залп» эпопеи обрывается на разгроме винного склада. Поблизости—белогвардейский фронт. Максим с солдатской партией уходит в степь. Мы встретимся с ним в дальнейших частях романа.

Другим отрывком той же эпохи, быть может, одним из дальнейших «крыльев» «России, кровью умытой», является «Страна родная».

Познакомимся с этой вещью: ее слабо отметила критика, но заметил читатель: «Страна родная» за короткий срок успела выдержать два издания.

VII

... Над оврагом деревня, в овраге деревня, недоезда леса деревня, проезда лес деревня, на бугре деревня; и за речкой то ж. Богата серая Ресефесерия деревнями.

... В революцию без шапки, с разинутым ртом стояла деревня на распутьи зацветающих дорог, боязливо крестилась, вестей ждала, смелела, орала, сучила комястым кулаком.

— Земля... Свобода...

«Страна родная».

Эти строки дают представление о материале, послужившем Артему Веселому для «Страны родной»: деревня—в эпоху великой революции! Вот тема, занимающая чуть ли не всю нашу молодую литературу! Партизанщина Всеволода Иванова, повести Лидии Сейфуллиной, некоторы

рассказы Пант. Романова, «Барсуки» Леонова, многие произведения Александра Яковлева, Константина Федина, Л. Завадовский, Анна Караваяева, Ал. Тверяк и целый ряд других современных писателей,—прямо или косвенно толкуют об одном и том же—о русской деревне, о мужике и революции. Можно сказать, что центральной темой нашей литературы является именно деревня—не случайно такое видное место в поэзии истекшего пятилетия занял Сергей Есенин. До Октябрьской эпохи, когда буржуазная интеллигенция либо молитвенно склонялась перед «великим страстотерпцем», либо пыталась разоблачить его загадочный для нее лик, деревня занимала в литературе крупное, но далеко не центральное место. Великий Октябрь, сделавший крестьянство суб'ектом истории, развязал также его творческие силы. Оно не только тематически продвинулось к центру литературы (*количественно* крестьянские сюжеты в современной литературе *преобладают*), но создало *свою* литературу, т.-е. приняло уже активное участие в художественном творчестве. Нетрудно заметить, что «крестьянская» литература не однородна. Грубо говоря, в ней два крыла: городское и деревенское. Одно пытается понять и изобразить деревню с точки зрения общих интересов крестьянина и рабочего, под углом индустриализации, электрификации, смычки с городом (поэзия Ивана Доронина, проза Ал. Тверяка, А. Караваяевой, Л. Сейфуллиной), другое хочет знать деревню, как самостоятельный, независимый, даже враждебный городу мир, поэтизирует деревенское прошлое (поэзия Есенина и его школы, Н. Клюев, проза С. Клычкова). Этими двумя крыльями не исчерпывается, разумеется, многообразие «крестьянской» литературы. Ни в одно из них нельзя, напр., включить «крестьянские» рассказы П. Романова или К. Федина. Но мы говорим о крайних группировках и характерных различиях. Артем Веселый принадлежит к первому крылу — недаром это писатель городской. Сын рабочего, он смотрит на деревню глазами человека, прошедшего сквозь фабричное чистилище. В индустриальной культуре видит он путь к будущему. Но в экстенсивности его письма, в широкой манере живописи, в богатейшем деревенско-солдатском словаре сказывается огромное влияние деревни, степных просторов, широких равнин и деревенско-уездной бестолочи.

В Артеме Веселом нет сжатой силы, которая характерна, напр., для Бабеля, мастера экспрессивного и экономного. Особенно сильно сказывается это в «Стране родной». Кисть Веселого размахиста, он не шлифует поверхность своих полотен, мазками широчайшими набрасывает картину за картиной, хлещет краской направо и налево, в его работе нет точности и четкости; лишь талантом искупает он утомительную многословность иных страниц. Его нельзя назвать неряхой: следы упорной и основательной работы видны. Тем не менее живопись его иногда сыра, расплывчата, не конденсирована. Кажется, будто это не законченное произведение, но этюды, наброски, которые позднее подвергнутся еще тщательной обработке. Так оно, вероятно, и будет: «Страна родная» обозначена как «фрагмент», т.-е. деталь будущей картины. Но и в сыро-

взлом, местами растянутом, виде это произведение—одно из самых ярких в нашей пооктябрьской литературе.

В Артеме Веселом есть черты, напоминающие Максима Горького. Но в немнет горьковской скорби. Артем больше революционер, чем Горький, и ближе к революционному мужику, на которого Горький смотрит сквозь очки, покрытые пылью времени. «Двоедушие» мужика вызывает в Горьком и отношение к мужику двойственное. Артем Веселый, сам мужик, «такими же, как он, мужиками кормил вшей в окопах, проливал кровь, свою и чужую; бунтовщик и партизан, он переплавил в себе бунтовской дух и, сделавшись коммунистом, не видит в мужике двоедушия. Это в корне отличает отношение Артема к деревне.

В его деревенской живописи нет идеализации. Вот человек, который, не моргнув, смотрит правде в глаза! Он видит темную, неграмотную, разворощенную деревню именно такую, какова она есть. Но он видит в ней то, чего не видели или не умели видеть писатели дореволюционной эпохи, — ее социальное расслоение, которое разрушает представление об едином психологическом лике мужика. Нет мужика «вообще»—как нет человека «вообще»: есть деревенские верхи и деревенские низы, мир борющихся социальных групп, восстановленных революцией друг против друга. Артем Веселый знает, наконец, новый тип деревенского мужика, о котором понятия не имела дооктябрьская литература: порожденный революцией, хлебнувший городской цивилизации—это делегата, организатор, нередко партиец, председатель комбеда, исполкомщик. По богатству социального состава, по многообразию человеческих типов нынешняя деревня разительно не походит на старую. Вот это социальное многообразие, эту новизну, принесенную революцией, в окружении развороченного, сдвинувшегося деревенско-уездного быта, умеет показать Артем Веселый.

VIII

Нашей молодой литературе, как правило, плохо давались «положительные» типы. Особенной неудачей прославился т. Либединский: его «Комиссары», при поверхностном даже рассмотрении, оказывались из папье-маше. Артему Веселому «повезло»: его герои—живые люди. Правда, они матершинничают, совершают иной раз проступки, далеко не похвальные, но не потому ли они и живут, что лишены иконописного схематизма? В жизни встретишь «человека без пятнышка» (таких—немало), но вот странность: перенесите этого «святого» на страницы повести, подчеркните его беспорочность, он превратится в «святошу»,—от него за версту завоняет ханжеством. Это потому, что он будет противоречить общим представлениям о человеке, которому ничто человеческое не чуждо, т.-е. человеку многостороннем и противоречивом, со страстями и ошибками, с горячей кровью в жилах, умеющем плакать, мыслить и смеяться. Ведь без такого многообразия в искусстве—нет живого человека, а есть штамп, пропись, схема. Артем Веселый счастливо избегает штампа. Его «положительные» герои потому-то и убеждают, что автор не забыл нам показать

также их «отрицательные» черты. Такова правда жизни: и солнце имеет пятна.

Есть в «Стране родной» молодая большевичка Гильда, преданная революционерка, бодрая и свежая. Она ведет ответственную работу,— а вот—подите же—любит (да как!) дрянного человечешку, карьериста и примававшего, Ефима Гречихина, пародийно изображенного Веселым. Она плачет при мысли, что он может уйти от нее—коммунистка, член комитета! Эта слабость—черта в Гильде отрицательная. Подобные черты мы (к сожалению) встречаем в хороших революционерах сплошь да рядом. Можно ли опускать их в художественных характеристиках? Разумеется, нельзя. Ведь *реалистическое* искусство имеет дело с материалом *реальным*, а не *идеальным*. И черта, достойная осуждения с точки зрения революционной морали—оживляет образ революционерки, не сумевшей преодолеть в себе «ветхой Евы», пассивной своей отдающейся женственности. Устраните из облика Гильды эту черту—он выиграет в идеальной твердости, но проиграет в реальной живости, *т.-е. как художественный образ потускнет, умрет*. То же самое можно сказать про другого крупного деятеля романа—Павла Гребенщикова. Крепкий человек и превосходный большевик, он тем не менее сходится с пустой буржуазной финтифлюшкой, походя срывает «цветы удовольствия»—с моральной точки зрения его нельзя ставить в пример—с этой по крайней мере стороны. Но если бы Артем Веселый вывел перед нами коммунистов только такого типа, как Капустин, поглощенного без остатка одной революционной страстью—из романа ушел бы запах житейской неровности, тех теневых пятен, без которых нет живой перспективы. А благодаря тому, что перспектива романа жива—так много в нем подлинного трепета жизни, с ее ошибками, срывами, падениями и великолепным революционным напряжением.

IX

«Страна родная» изображает уездный город Ключкин, где есть советская власть, маленький оазис рабочей революции. А вокруг Ключвина—необозримые просторы снегов, в которых «дымились теплые гнезда деревень». Противопоставление рыхлой, старо-деревенской стихии, питавшей партизанщину, городу, несшему с собой организованное начало, мы видим и здесь. Настоящей темой «Страны родной» и является это противопоставление: перед нами процесс, каким в аморфную, многомиллионную деревенскую массу, раскинутую на огромных пространствах, лишенную связи и единства интересов, раздираемую социальными антагонизмами, бросаются элементы кристаллизации. Небольшие группы коммунистов, организаторы комбедов и советов, полные энергии, несокрушимой воли, направляют, подбадривают, наставляют, собирают недоимки, шлют приказы, декреты, угрожают и убеждают, если можно—миром, если надо—силой,—эти удивительные люди вносят в деревню небывалую динамику, движение, быстроту, новые идеи, новые способы жизни. Им противостоит растревоженный и пытающийся стабилизироваться кулацкий крестьян-

ский мир, мир стяжательства и хищников, самогона и дедовских преданий, мир мужицких интересов и традиций, который добрался до своей станции и дальше ехать не желает. Борьба новизны со стариной—рабоче-крестьянской революции и кулацко-крестьянской реакции—таково содержание «Страны родной», и не без умысла последняя строка ее лирически подчеркивает этот лейтмотив эпопеи:

«Страна родная... Дым, огонь—конца краю нет»...

Организаторы, хабрецы, революционеры показаны Веселым прежде всего как сильные люди, люди большой воли. Можно сказать, что героем Артема Веселого, вообще, является *сильный* человек. (Трифон в рассказе «Горькая кровь», Фенька—в «Диком сердце», Гильда, Гребенщиков, Капустин, Ванякин—в «Стране родной», Максим Кужель в «России, кровью умытой».) Лишь только из массы выделяется человек с упорной волей, с крепкой духовной мускулатурой—пусть это будет партизан, или бандит, революционер или кулак,—Артем Веселый обращает на него внимание, освещает его с головы до ног, следит за его судьбой. Все почти главные лица, которых мы встречаем в «Стране родной»—начиная с Гильды, и кончая пекарем Ванякиным—крепки, упорны, несокрушимы. «Лицо Капустина тяжелое, мужичье, будто круто замешанный черный хлеб»,—вот какими словами характеризует революционера Веселый. «Вся подобранный и свернутая, как аккуратная лошадь, она удивляла его своим спокойствием, и энтузиазм молодости в ней был запрятан, как огонь в кремне»,—такова Гильда. Достаточно прочесть первую строку характеристики Павла Гребенщикова, чтобы почувствовать энергию, выпирающую из человека: «Павел Гребенщиков молод, огромен, лохмат». Все это любимцы нашего автора, у него не в чести слабые люди. Он ненавидит слонтяев. Тот же Гребенщиков, шутя, обзывает вертлявого поэта и артиста Гречихина «интелягушкой». Это ироническое прозвище может войти в оборот. Он не падит революционеров с интеллигентской рефлексией. Достаточно прочесть дневник Елены Константиновны - Судаковой: коммунистка, «члениха исполкома», «завнаробразиха», она «делала все, что было в ее силах и власти, утешала обиженных, утирала слезы плачущим, вообще врачевала душевные раны». Несмотря на это, автор разоблачает хлибкую интеллигентку, как мешок, набитую рассуждениями, сомнениями, переживаниями, мерехлюндией. Она полезна революции, спору нет,—но она лишена цельности, душевной крепости, устойчивой силы, и автор казнит ее, не жалея. Не без авторского сочувствия Павел советует ей посыпать мозги нафталином.

В «Стране родной» есть неровности, много длиннот, неоправданных задачей автора, события следуют в хаотичном беспорядке—нет четкости в расположении материала. Преодолев в себе «партизанщину» идеологическую, Артем Веселый еще не разделался до конца с «партизанщиной» в своих композиционных приемах. Именно в композиции заключены его слабые стороны. В «Стране родной»—она разорванна, смутна, импрессионистична—лишена стройности. Недостаток этот не так уж страшен, если принять во внимание молодость нашего автора, его ревнивое отношение

к своему труду, настойчивое упорство, с каким преодолевает он препятствия на своем писательском пути. При всем том яркая талантливость автора, его молодая сила, бодрость его живописи, размах его заданий, все это—вопреки указанным недочетам—сообщает его последним произведениям тот блеск, который обеспечивает ему читательское внимание и заставляет ждать от него новых успехов.

Нельзя отказать автору в умении оживить повествование характерным историческим материалом. Так вкраплены доклады, приказы, плакаты, декреты, телеграммы, дневник, даже продуктовые карточки, даже продовольственное об'явление—но все это в меру, не назойливо, именно там, где надо. Умелое пользование этим материалом сообщает вещи незабываемый колорит эпохи—суровой, великой, стремительной.

Х

Изображая какую-нибудь среду, Артем Веселый пытается и весь мир изобразить глазами этой среды. В «России, кровью умытой» это особенно заметно: солдатчина и ход событий изображаются не с точки зрения стороннего, хотя бы и об'ективного наблюдателя. «Россия» показана нам сквозь зрение мужика, одетого в солдатскую шинель. В этом нет ничего случайного. Это не только прием. Артем Веселый и в самом деле «мужицкий» писатель. Он лишен всякой изысканности, и тонкие эстеты, воспитанные на «изыщной» литературе, вряд ли найдут какую-нибудь прелесть в этом воистину неизыщном писателе. Его язык ярок и груб, шероховат и непричесан, его остроты, балагурство, все это пахнет деревней и фронтowymi землянками. Бытовые детали, порой отвратные, но невыносимо вочные, также от солдатского мировоззрения и мирочувствия. Язык солдатни, корявый и забористо цветистый, круто посыпанный перцем и солью брани и прибауток, выдержан на всем протяжении романа. Это не стилизация под «народный» говор, не прием, использующий народные обороты, матершину, прибаутки. Здесь сама простонародная речь, как она есть. Мне думается даже, что, если бы Артем Веселый попытался написать «Россию, кровью умытую» языком интеллигента, наблюдающего события со стороны,—получилась бы ничемная вещь, каких немало дали последние годы. Веселый тем и силен, что, показывая нам мир глазами простонародного участника борьбы, *он социальное, культурное и психологическое состояние выводимой среды показывает и в языке.* Мужицкий эпос разворачивается так, как если бы был творением тех самых солдатских масс, которые послужили материалом для эпоса. В этой особенности писателя сказывается теснейшая, кровная связь его со средой, которую он живописует: устами его заговорила полным голосом русская мужицкая стихия эпохи пролетарской революции. Это она подсказывает ему свои грубые шутки, нашептывает образы коряво-мужицкие, сочные и выразительные. Голос Артема Веселого—голос революционной массы, обретшей самое себя, нашедшей своего художественного выразителя. Если Сергей Клычков, автор замечательного «Чертухин-

ского Балакиря», является рупором, которым говорит дореволюционная русская деревня, ее важиточные, верхние прослойки, то устами Артема Веселого заговорила деревня эпохи революционной, деревня, побывавшая на фронте, развалившая его и направившаяся по домам ломать и перестраивать старую жизнь. Тот факт, что А. Веселый—рабочий, а не хлебороб, дела не меняет. Это обстоятельство обеспечивает лишь необходимое условие, без которого не было бы *революционной* эпопеи, а именно: победу в мировоззрении автора организующего, городского, пролетарского начала. Изображая деревню, Веселый видит ее глазами городского, а не сельского пролетариата. Он знает, куда идет поток событий; пути будущего ему открыты. Это и делает пролетарским его «деревенское» повествование. Это именно и позволяет ему бесстрашно обнажать язвы деревенского быта, унаследованные от царизма и далеко еще не изжитые. Пролетарская, т.-е. революционная точка зрения спасает его от пессимизма, от испуга, от малодушия: он понимает, что это ступень, которой не избежать, и которую надо преодолеть.

* * *

Артем Веселый пишет не торопясь и то, что пишет—не спешит предать гласности: он много и настойчиво работает. Одно из самых крупных заблуждений молодежи заключается в уверенности, будто литература — легкое искусство. Веселый знает, какой большой ценой покупается каждое художественное слово. Это значит, что он на верном пути: Замок славы открывается именно ключем труда.

Т Р И Б У Н А

(В дискуссионном порядке ¹⁾)

I. КОНСТ. ФЕДИН. Об искусстве и критике.—II. ПАНТ. РОМАНОВ. К движению или к неподвижности.—III. СЕРГЕЙ ГОРОДЕЦКИЙ. О критике.—IV. ИН. ОКСЕНОВ. Писатель и критик.

I. ОБ ИСКУССТВЕ И КРИТИКЕ

Конст. Федин

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется...

Тютчев.

1

В статье об искусстве, в части, посвященной толкованию художественных произведений, Лев Толстой говорит:

«Если бы можно было словами растолковать то, что хотел сказать художник, он и сказал бы словами. А он сказал своим искусством, потому что другим способом нельзя было передать то чувство, какое он испытал».

Было сделано много попыток—найти эти «другие способы» передачи чувств художника. Все они оказывались неизменно тщетными и теперь—в литературе—мы стоим перед лицом новой жестокой схватки за право назваться подлинными растолкователями. Схватка эта обречена на бесплодность. Ибо от того, что победителем выйдет та или другая сторона, ничто не переме-

нится в искусстве, а только установится покровительственная политика по отношению к тому или другому принципу толкования.

Это—о критике.

Искусство может позволить себе роскошь не считаться с лауреатами критических состязаний, и оно давно примирилось с тем, что критика не считается с ним. Критика требует от автора растолкований, и если получает их—не соглашается с ними, а если не получает—пускается в толкования за свой страх. В этом ее призвание. И, кажется, она хорошо исполняет его, когда не соглашается с тем, что художник (по ее настоянию, для нее) «растолковал словами».

2

Роман «Война и Мир» надо считать оконченным на первой части «Эпилога». Начальные четыре главы этой части, с рассуждениями о «гениальности и случайности» хотя и выпадают из общего строя произведения, но воспринимаются, как необходимое отступление и отодвигают своим эпическим размахом весь эпилог на громадное расстояние от деталей романа:—покрывают

¹⁾ Печатаемая отклик писателей о критике в дискуссионном порядке, редакция намерена вернуться еще к этому наболевшему вопросу.

3

частности общим. Вторая часть эпилога, посвященная философии истории, представляет собою типичный опыт саморастолкования художника и паразитирует на совершенно развившемся и гениально законченном романе. Это—трут на мощном стволе зрелого дерева. Здесь все ясно, точно и цельно. Никаких вопросов, черным по белому. «Мораль сей басни такова». Нужно только терпение дочитать эпилог до конца, и никаких разногласий насчет того, что хотел сказать Толстой в «Войне и Мире» быть не может.

Однако именно здесь и начались разногласия.

Любая система философии—спорна, и чем категоричнее ее положения, тем менее непреложен вывод. Потому что ради стройности и точности системы, философ изымает из каждого положения только часть его, отменяя все, что не служит выводу. В этом отмененном вовсе не должна быть сокрыта истина. Но в нем не может быть той доли ее, которая не нужна для вывода.

Раз навсегда решенных вопросов быть не может. Сказать безоговорочно: я знаю—значит сказать: я ошибаюсь. Вневременная, безотносительная, абсолютная философия—плохая философия.

И, конечно, искусство никогда не было плохой философией.

Искусство показывает предмет со всех сторон и выдвигает идеи во всей полноте, не изымая одних частей, не отменяя других. Его задача—показать мир, а не построить систему, и оно не диктует мировоззрений, а только смотрит на мир вечно новыми глазами, ставя вопросы там, где тысячи систем уже дали или могут дать тысячи ответов. Если оно отыскивает формы, свойственные какому-нибудь мировоззрению, оно становится тенденциозным, т.е. перестает быть самим собою.

Толстой, написавший идеологическую шпаргалку к величайшему произведению искусства—«Война и Мир», примерно доказал всю правоту своего взгляда на толкование искусства. Не ясно ли, после прочтения толстовского «Эпилога», что «растолковать» искусство неподсильно и самому художнику не только критику?

Было бы неразумно со стороны художника, если бы он восстал против критики. Она не формирует и не создает искусства, но формируется искусством и создается на нем.

По аналогии—продукт, поступивший в обращение, становится экономическим фактором—искусство, воплощенное в вещественные формы, становится фактором идейным.

Художник остается хозяином своего искусства, пока оно не покинуло пределов его воображения. Как скоро искусство овеществлено, оно, помимо воли художника, вызывает к действию силы, формирующие не только стоимость, но и ценность этого искусства. Потуги художника повлиять на такое органическое формирование ценности (или даже стоимости) искусства путем прокламации своей сущности, путем саморастолкования не могут принести пользу его делу, потому что ценность искусства определяется соотношением сил идейной среды, в которой искусство обращается, а дело художника—в нем самом, а не в среде.

Критика формируется искусством, подобно тому, как реклама формируется производством. Но, как реклама, сформированная производством, начинает в свою очередь формировать его, точно так критика, будучи порождена искусством в известном своем фазисе, начинает пытаться влиять на искусство. Неопытному глазу кажется при этом, что критика и есть подлинный определитель ценности искусства. Так наивный человек, не видавший никогда большого города, по пляске световых реклам склонен судить о богатстве страны.

Не восставать против критики должен художник, а только не слушать ее. Его дело—в нем самом, и он должен делать свое дело не для критики и не против критики, а помимо нее.

4

Художнику «не дано предугадать», как его образ будет принят миром, и всякое растолкование образа худож-

ником не предпринимает вопроса о том, как поймут этот образ в мире. Художник не может говорить о своем искусстве иначе, как искусством.

Но коль скоро критика пытается организовать искусство по принципам, которые она установила на его опыте, художник может судить, каким будет искусство, если он организует его по этим принципам и может свое суждение «растолковать словами». Потому что организовывание, делание искусства относит нас в область психологии творчества, несравненно более близкую художнику, чем критике.

5

Сузить тему художника, обернуть его глаза на что-нибудь несвойственное его духу, или далекое его сердцу, или только чуждое его капризу—нельзя. У Тютчева, слова которого поставлены эпиграфом к этой статье, есть такие строки:

Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые горчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.

В нашей современности есть бесчисленные элементы, служащие обычно признаками «несовременности» для критики, требующей от писателя так называемой «созвучности эпохе». Исключать такие элементы из круга желательных или допустимых тем только потому, что наши дни не дали им новых названий—так же неосновательно, как почитать церковниками людей, носящих имена в честь святых и пророков. Кажется, эта простая истина не так давно дошла до сознания организующей искусство критики и, например, лирика, после долгого изнывания, вновь восстановлена в своих правах.

Хуже обстоит дело с требованием, чтобы «сегодня» было отражено в искусстве сегодня же. Какое место в повести из быта 20-го года заняли бы «субботники», если бы повесть писалась в 20-м году? Площадь Жертв Революции была взрыта петербуржцами и засажена деревьями в один «субботник». Понадобилось два с половиной года, новое законодательство о труде и пять меся-

цев работы, чтобы следы этого «субботника» убрать с площади и придать ей достойный жертв революции вид.

Все это — азбука.

Художник знает, что и «сегодня» займет свое место в искусстве. Но это случится в неопределенно далеком «завтра».

6

Анатоль Франс рассказывает о книге, составленной двумя критиками и содержащей сокращенные биографии двух тысяч действующих лиц «Человеческой Комедии» Бальзака.

«Я пламенно желаю,—пишет Франс,— чтобы в скором времени составители прибавили к своему перечню немного статистики. Статистика — прекрасная наука, которая, будучи приложена к обществу, созданному Бальзаком, не преминет дать превосходные результаты. Я говорю, что в этом обществе насчитывается две тысячи человек. Это приблизительное число. Лучше было бы иметь точную цифру. Мне кажется, было бы интересно узнать количество взрослых и детей, мужчин и женщин, холостых и женатых. Приятно было бы знать их национальность. Уместна была бы также и таблица смертности. Было бы также не бесполезно прибавить к труду план Парижа и карту Франции для разъяснения произведений Онорэ де-Бальзака. География «Человеческой Комедии» представила бы столько же интереса, сколько и статистика».

После восторженных отзывов Франса о творчестве Бальзака, о могуществе его гения («Бальзак—это бог»), приведенные слова звучат не столько насмешкой, сколько негодованием.

Критики Бальзака могли бы применить в своей работе какой-нибудь иной метод и написать, например, исследование, «как сделана «Человеческая Комедия»?—но тем самым они удовлетворили бы только свою любознательность, а вопрос о том, «как сделать «Человеческую Комедию»?—остался бы прежней тайной.

История литературы не знает случая, чтобы критика помогла искусству. Напротив, любой историк расскажет об

ошибках, которые допустил художник, последовав указаниям критики. Примером тому могут служить груды книг, написанных согласно всем канонам той или другой критической системы. О таких книгах помнит разве что библиотечный каталогизатор.

7

Каждая эпоха ставит свои особые требования художнику и каждая эпоха оставляет по себе произведения искусства. Однако только такие произведения искусства становятся памятниками эпохи, которые явились в результате

непроизвольной потребности художника творить. Ни растолкование задач искусства, ни поддержание преемственности, ни лаборатория новых художественных приемов, или клиника одряхлевших—ничто не ускóрит, но и не предотвратит появления художественного произведения.

В наши дни сказанное здесь прозвучит литературным консерватизмом. Но за тяжким трудом организовать искусство наши дни породили так много искусственности, что литературный консерватизм может оказать освежающее действие, подобное литературной революции.

II. К ДВИЖЕНИЮ ИЛИ К НЕПОДВИЖНОСТИ?

Пантелеймон Романов

Для того, чтобы судить о каком-либо живом явлении, необходимо прежде всего нащупать скрытую линию его движения.

Линия движения современной критики, *общая* всем направлениям, выражается наиболее ярко в одной фразе из статьи А. Лежнева¹⁾:

«Надо читателя ориентировать — и ориентировать *немедленно*—в многообразной массе художественной продукции».

Всегда все вытекает из общих условий. А условия нашей жизни таковы, что темп жизни ускоряется с каждым годом, и отсюда—стремление шаг в шаг угнаться за этим темпом.

Критика бросается от одной литературной группировки к другой, поддерживает одно направление, сражается с другим. А через год оказывается, что таких группировок и направлений давно уже на свете нет.

И первым результатом немедленной ориентировки является производство скоропортящихся продуктов.

Критика старается определить движение, гоняясь за каждым движением, за каждым фактом.

Кажется, Паскаль сказал, что столб, вбитый на берегу реки, свою *не-*

подвижностью определяет движение воды.

В чем здесь может быть эта неподвижность?

В значительном *общем основании*, которое выросло у критика в результате исследования законов искусства. И—второе—в большой индивидуальности. (При чем индивидуальность не в том исполненном значении, которое было ей присвоено в эпоху декаданса).

Индивидуальность—это хаос и раздробленность, организовавшиеся в целое. Это сгущенная в одном месте, сознавшая себя энергия, направленная к одной «цели». Чем индивидуальность крупнее, тем в большем количестве точек она связана с жизнью. Но сама она крепко держится на том корне, из которого растет, и не теряет *своего* места. Она все стягивает к себе, в *один* пункт. Она не делает никакой разовой, поштучной, заданной работы. Каждое ее усилие есть следующий камень ее большой, на всю жизнь, постройки. Не делать ни одного движения мимо этой стройки это то, что создает огромную экономию силы, огромную продуктивность.

Это создает и неподвижность, определяющую всякое внешнее движение.

В жизни человеческого общества есть как бы *два* движения: одно, *медлен-*

¹⁾ См. «Новый Мир», № 2, 1926 г.

по накапливаясь, образует основную линию, как бы стержень, который обнаруживается для обыкновенного глаза только в исторической перспективе годов и десятилетий. Оно движется под влиянием самых дальних, самых глубоких от поверхности жизни причин.

Другое,—так сказать *суточное* движение,—мелькает и мечется, толкаемое мелкими единицами жизни, невидящими основного пути. Человек большой индивидуальности (самое яркое ее проявление—гений) имеет в себе как бы противовес, дающий ему возможность не поддаваться этому суточному движению. И он, оставаясь на месте, оценивает это движение, отбрасывает из него скоропортящиеся продукты и отбирает крепкие. Он имеет дело только с *первым* движением.

И если он ориентирует других в перепутанном движении повседневной жизни, то главное его усилие направляется в сторону желания вывести мысль человека из мелькания мелких, никуда не ведущих дорог на какую-то *основную* дорогу, которая не кончится с завтрашним днем.

Хорошо ориентирует не тот, кто бросается к каждому факту, стараясь заставить его еще тепленьким, и тыкает в него пальцем, а тот, в руках которого есть *способ* обнаружения скрытого смысла многих и многих фактов зараз.

Хорошо ориентирует тот, кто может разглядеть самую дальнюю и общую причину, приводящую в движение бесконечный ряд однородных и даже разнородных фактов, которой обыкновенный глаз не замечает. Да еще сумеет *других* научить самим разглядывать такие причины и оценивать значение фактов.

Чем больше человек идет по пути разглядывания общих причин, тем больше он приходит к тому, что у него многие *точки* зрения заменяются *одной* верховной точкой зрения. Эта верховная точка зрения является неподвижным определителем, тем усовершенствованным аппаратом, который дает возможность, не сходя с места, видеть далекие вещи, их настоящее и будущее.

Не думаю, чтобы у современной критики нашлось лишнее время для размышления над всеми этими вещами,

для накопления в себе неподвижного основания, для открытия способов экономной и об'ективной оценки фактов, когда первой своей задачей ставит немедленное обслуживание сегодняшнего дня.

«Лучше похуже, да поскорей».

Не прикрывает ли это честное желание служить сегодняшнему дню утрату способности глубокого сосредоточения мысли на одном предмете? Не нужно ли иногда останавливаться и хоть на время прекращать этот бег на скорость? Не нужно ли хоть изредка вспоминать о столбе на берегу реки?

Но критики, конечно, скажут, что им невозможно же оставить читателя без руководства, иначе он потеряет голову «в многообразной художественной продукции».

Но как определить *ценность* их руководства? Может быть, в самом деле без него нельзя обойтись. Ведь это не люди с улицы, которые судят только на основании своего личного мнения. Под их мнением твердое основание какого-то об'ективного знания. Их суждения от суждений профанов отличаются уже прежде всего тем, что если взять суждения профанов о каком-либо одном предмете, то все они будут различны, так как основаны только на личном мнении. А суждения специалистов всегда более или менее должны совпадать, так как основаны на чем-то более ценном и прочном, чем личное мнение.

Лучше всего это увидеть на примере. Я приведу отзывы критиков о себе, и мы увидим, как читатель и автор, руководствуясь критикой, может с ее помощью определять свойство, ценность и основную сущность художественной индивидуальности и ее пути.

Бытовые рассказы

1. Романов очень хочет рассказать веселый анекдот, а нам не смешно. Он все силы прилагает к этому, а читатель слушает и не знает, в котором месте ему смеяться. Одни слова, одни фразы, один метод анекдотизма. См. рассказ «Верующие», «Синяя куртка» («Сибирские огни»).

2. Напрасно развязные ленинградские критики упрекают Романова в анекдотизме. Этого у него нет. Романов серьезен. Он заставляет смеяться других, а сам не смеется, больше, на литературном лице его маска бесстрастности (А. Воронский).

3. Нельзя жить с такой ненавистью в сердце, как у Романова (Харьковский пролетарий).

4. Комизм роста—здоровый комизм, рождающий непринужденный, ясный смех. Именно так смеется Романов (проф. Переверзев).

5. Романов—советский Лейкин, Аверченко («Книгоноша» и мн. др.).

6. Критика начинает расценивать Романова, как художника первой величины. Действительно, многие страницы его отмечены печатью яркого сатирического таланта («Красная Газ»).

Романов—не юморист, для этого у него нет жалости. Но Романов и не сатирик. Для сатирика он слишком объективен и нетенденциозен (Романовский. Харьков).

Рассказы о любви

(Изд. раб. изд. «Прибой»).

1. Эти рассказы заставляют опасаться за писателя. Кое-кому они, вероятно, придутся очень по вкусу. В них ровно столько пошлости и трафарета, сколько нужно для так называемого легкого чтения, особенно той его разновидности, при которой читатель уверен, что он не просто щекочет нервы, но еще совместно с писателем решает какие-то проблемы, между тем, как они ничего не решают, а только сплываются (А. Лежнев).

2. Но особенно прелестны элегические рассказы о любви («Осень», «Зима», «Весна», «Сирень», «Неотправленное письмо» и др.), в которых Романов обнаруживает поразительное умение проникнуть в область тончайших извивов человеческой, а в частности женской психологии (проф. Н. Н. Фатов).

3. Сделаны они, правда, хорошо, в простой и сильной, так свойственной Романову композиции, с глубоким проникновением в психику представляемых

пошлых, мелких и глуповатых людей (Зорич. «Правда»).

4. Лиризм Романова разлит всюду: в едва уловимых деталях, в интимно-нежном и ласковом подходе к женщине (проф. Е. Никитина).

О романе «Русь»

1. Пейзане (а не мужики) П. Романова... так говорят не мужики, а слабо-нервные дамы. Ведь это фельетон, плохая хрестоматия, а не живая красочная российская действительность (Г. Якубовский).

2. Мужиков Романов знает великолепно... во всяком случае в скудости художественных средств его никто не осмелится упрекнуть (А. Луначарский).

3. Во всяком случае это недоконченное вступление (1-я кн. 1-го тома 1-й части «Руси») надо признать более ценным, чем законченные творения многих авторов (Л. Войтоловский).

4. Он умеет рисовать типичные характеры твердым, четким рисунком, напоминающим мастеров гоголевской школы. Он знает секрет простой, но крепко слаженной композиции, давно утерянной беспозвоночными писателями эпохи импрессионизма (проф. Переверзев.).

5. Повидимому, роман — не стихия автора («Известия»).

... Кажется, случилось что-то вроде скандала... Во всяком случае у самого здорового читателя мозги завертятся от такой ориентировки. А у меня рождается естественно озадаченный вопрос: так что я такое в самом деле?

А недавно я в одном собрании слышал жалобы критиков на то, что читатель совершенно не интересуется критикой, у него нет вкуса к ней. Некоторые об'ясняли это, кажется, дороговизной продуктов и недостаточной обеспеченностью читателя.

Сделаемся на минуту серьезными. В самом деле, в чем тут дело? Почему критика ориентирует читателя так, что эта ориентировка даром не нужна?

Очевидно, не хватает какого-то очень существенного метода, который бы давал средство, меру, критерий для объективной оценки художественного про-

изведения и автора. (Я, конечно, совсем не касаюсь здесь писаний *беспатентных* критиков, оперирующих бабушкиным методом: хорошо, плохо, мне нравится, на меня не производит впечатления, рассказ не удался и т. д. Критик вообще не имеет права обнаруживать вкусовых ощущений).

Очевидно, к оценке ценностей искусства нужно подойти с какой-то другой стороны, чем это делалось до сих пор посредством психологического, эстетического, формального и даже социологического метода. Ведь до сих пор над нами тяготеют предметы, понятия, имена (красота, художественность), и вот в *определении* этих понятий и получается больше всего путаницы и противоречий. А между тем сделано величайшее открытие в процессе исторического движения человеческой мысли, ведущее нас к совершенно новому методу мышления, где не требуется определения *понятий*.

Движение человеческой мысли идет от операций с предметами, понятиями к операциям над *глаголом*. В науке мы уже теперь не занимаемся вопросами: что такое душа, что такое электричество. Мы изучаем *процессы* психические и физические (действие, движение, «глагол»).

И в вопросах искусства, очевидно, пора перейти от существительных и прилагательных (художественно, искренно и т. д.) к исследованию процессов (отнюдь не психологических), происходящих в творческой мысли. Мы должны, напр., знать, какие законы вольно или неволью выполняет художник для того, чтобы изображение его воспринималось с наименьшей затратой усилия и с наибольшей яркостью и т. д.

И, может быть, для того, чтобы постигнуть творческие процессы, нужно изучить процессы восприятия, напр., зрения. При чем здесь образуются

сразу две «науки»: наука создания творческой ткани и наука зрения, но не наблюдения. (К психологии это не имеет никакого отношения. Критика этим также не занимается). Когда появится этот недостающий метод (назовем его хотя процессуальным методом), тогда исследователь придет прямой дорогой к тому, на чем покоятся законы творчества. И здесь его ждет прочное основание.

Обращаться к этому здесь не место и для меня еще не время.

Не зная этих законов, об искусстве можно судить только таким образом, каким судят критики в приведенных выше выдержках.

Другое, чего не хватает критике (это касается уже не процессов творчества, а оценки путей его), это то, что Толстой называл религиозным сознанием, а мы назовем «общим сознанием», которое с какого-то пункта охватывает всю жизнь и приводит ее в стройную систему, как у того же Маркса. Этот синтез является той *неподвижностью*, которая «определяет движение» и отличает «добро от зла».

Вот этой «верховой точки» сознания и не хватает. Она берется на подержание в готовом виде у других, — марксистами у Маркса, другими еще у кого-нибудь. Нет того узла, в котором бы, как в целом, сходились (по новому) разбросанные в пространстве и неорганизованные нити жизни.

Читатель жаждет иметь крепкую, неподвижную точку, с которой видна ясная дорога среди перепутанной и сложной жизни. Читатель ждет личности целого, *большого пути* от критика, а не поштучной, сдельной работы.

И когда это появится, читательская масса, несмотря на досадную дороговизну продуктов, опять потянется к покинутому критику.

III. О КРИТИКЕ

Сергей Городецкий

I

Что требуется от современной критики? Три простые вещи: 1) чтоб она была, 2) чтоб она была честной, 3) чтоб она была своевременной.

Пусть не покажется парадоксом первое требование. Теперь еще никак нельзя сказать, что у нас есть критика. Тучи рецензий, смерчи полемики и булыжники книг, летящих на писателя, менее всего похожи на аппарат, организующий и читателя и писателя в направлении советского строительства, имеющего конечной целью коммунизм. А только такой аппарат может быть назван советской критикой.

Много причин тормозят создание такого аппарата. Прежде всего, тяжелая наследственность предыдущей эпохи. Критика, созданная старым обществом, разложилась вместе с ним ко времени революции. Революция не откомандировала уборщиц в занятый ею и полный об'едков и мусора от былых пиров особняк критики. Тоскующие приватдоценты, недоучившиеся семинаристы, неудачники из литераторов, из рядов которых выходили прежние критики, гуртом навалились на советскую прессу и, наскоро подрумянившись марксизмом, заняли позиции зачастую те же самые, на которых сидели раньше. В малограмотные революционные фразы очень легко уложился весь их старый и несложный багаж с сапожной щеткой для похлопывания писателя по спине, с пипифаксом для «улучшения» кого надо, с заштопанной еще в либеральных салонах перчаткой для зуботычин «другу-писателю». Вся эта аппаратура налицо, советизированная, легализованная и благоденствующая в нашей прессе. В личном составе нашей критики владельцам этой аппаратуры принадлежит значительное количество мест.

В эти стойкие ряды революция выдвинула целую армию новых советских критиков. Это, само по себе, прият-

ное явление протекает совершенно неорганизованно. Слабость коммунистов к литературе общеизвестна. От наркомов до замсекретаря уездного военкомата—все балуются литературой. Нам, писателям, легче, когда это баловство выражается в стихах и драмах (наиболее излюбленные формы, если не считать стенограмм речей и писем в редакцию). Любому издательскому кооперативу лестно издать поэму ответственного работника и выгодно топить печи драмами неотчетливых. Хуже, когда балуются критикой. Это очень модно, и сбыт здесь обеспеченный: критика насущно нужна. Но баловный подход чреват здесь самыми тяжелыми последствиями для писателя. Писатель жадно ждет (так же, как и читатель) нового слова от нового критика. В большинстве он слепо доверяет авторитету партбилета. Но можно быть хорошим рассыльным, даже добратсья до поста заведывающего каким-нибудь культотделом и все же не стать критиком. Чего только мы не читаем о себе в статьях, печатаемых только потому, что у автора их есть или еще не отобран партбилет! Рецепт таких балующихся критикой самородков весьма прост: интеллигент—значит, крой во всю. Пролетарский писатель—хвали! Это называется марксистским подходом. Это практикуется в большинстве массовых, особенно провинциальных, изданий, куда грамотным патристам некогда заглянуть. Количественно—это самая значительная часть нашей критики. Причиняемое ею зло неимоверно, и исправлять его придется десятилетиями: бацлла головотяпства очень прилипчива, а в область критики, как в заповедный бульон, она легко стекается с хозяйственного и других фронтов, откуда жизнь уже выжила ее.

Конечно, в столицах дело обстоит лучше. Здесь балуются серьезней и дольше. Некоторые привыкают баловаться и даже забывают, что балуются. Но и зло от этого только крупнее. Вызывают случаи, когда партия одергивает

зарвавшихся. Так было с «марксистским» подходом к Дени, когда «Правда» защитила его и спасла нам одного из первых советских художников. Но такие случаи редки. Чаще бывает наоборот. Критики балуются, читатель тупеет и звереет от их писаний, а писатель задыхается в безответном пространстве.

Баловство неизбежно ведет к диллентантизму. Можно назвать десятки имен крупных советских работников, которые в разное время и по разному поводу занимались критикой, то в статьях, а то и в книгах, хотя бы и продиктованных стенографистке. Много было здесь ценного, но все было случайно, фельетонно, на-спех. Нельзя назвать ни одного серьезного имени, которое партия «пожертвовала» бы целиком и безраздельно для критики. Критика для партийцев—только отхожий промысел. Мы понимаем, что серьезные работники нужны для наркоматов и кооперативов. Но против того-то мы и протестуем, чтоб на литературу смотрели, как на нечто меньшее, чем канцелярия или лавка. Есть единичные товарищи, которые занимаются критикой не как баловством. Но всегда найдется какой-нибудь неотложный веверес, которым критическую работу такого товарища спихнут в ночное время, т.-е. опять-таки в отхожий промысел. Таким образом, советская и партийная критика дает нам только или графоманов или случайных работников. Постоянная же, профессиональная работа по критике остается в руках дореволюционных ихтиозавров и птеродактилей. Вот почему мы требуем, чтобы партия дала хоть небольшой отряд, но крепкий и целиком откомандированный в литературу, для критики. Только тогда можно будет сказать, что у нас критика есть. А чтоб она была, это на-сущно необходимо, это прямо к горлу писателей и читателей подперло.

II

Только при осуществлении этого первого требования осуществимо и второе,—чтобы критика была честной.

Пусть не покажется это определение расплывчатым: оно имеет точный смысл.

Мы никак не разумеем здесь каких-то аптекарских весов, которые бы механически определяли и оценивали нашу работу. Подобные арифмометры, выверяющие, сколько в каждом из нас кило буржуазности или граммов пролетарственности, пожалуй, имеются и теперь. Но не они нужны. Дело в том, что критика, как и литература, есть процесс,—и в наше, переходное, время весьма сложный. Нельзя нашему критику быть только марксистом,—он должен быть непременно ленинцем. А таких-то мы еще и не видим. Наши критики-марксисты в лучшем случае—догматики, подходящие к нашей «настройке» с аршином экономической формулы, не с Марксом, а с памятником Марксу, и всегда без Ленина. И вот это применение к нам четырех арифметических правил Маркса, когда Ленин дал уже логарифмы, мы считаем нечестным.

Тут прежде всего страдают «старики». В абстрактном применении марксистских формул совершенно, исчезает ленинская идея об усвоении и проверке буржуазной культуры. Под их же влиянием ненужно упрощается и кастрируется вся молодая литература. Такая критика прямым путем ведет к агитке, к закреплению еще не данного бытом,—и отсюда—к идеализму. Тут можно отметить целый ряд «нечестностей». Весь разгон современной поэзии—к Пушкину, как к стармодернизированной многогранности. Критика «формалистов» упорствует в треугольном искалательстве. А формализм, хоть и отпетый т. Троцким, все же греется под крыльишком марксизма. Еще пример: Брюсов. Этим поэтом проделана большая и общественно значительная работа над собой, в смысле приближения своего творчества к «скалам в грядущее». А, если не считать замечательной статьи Л. Каменева о нем в «Литературном распаде», еще в дооктябрьское время, что услышал Брюсов о себе от критиков-марксистов в самое нужное для себя время? То же, и еще показательней, с Есениным. В то время, когда этот поэт приобретал наибольшую популярность, когда массовый читатель уже тронулся к нему, когда он переживал—

и не пережил—жесточайший кризис, что делала критика? «Крыла» его.

Забронировавшись окаменелыми формулами, критика зевала и зевает рост литературы от старой эпохи к новой, не учитывая сложнейшей обстановки переходного периода, в которой этот рост происходит. Таким образом, старый писатель, окруженный плакатами и лозунгами, фактически работает в безвоздушном пространстве, в котором задохлись и Блок, и Ширяевец, и Есенин.

Ничуть не лучше с применением каменных, не ленинских формул к молодой литературе. Здесь антиленинизм в критике приводит к склокам, бумажным боям, кружковщине и одичанию. Здесь мы имеем монстры комизма, когда какой-нибудь поэт типа Игоря Северянина, трубадур московских дам, делается «вождем» пролетарской литературы и довольно долго господствует на нашем небосклоне. Когда подобное явление приобретает характер скандала, партия вмешивается и прекращает его. Но в большинстве случаев скандал идет под сурдинку. Формулы давят молодое творчество начинающих, кастрируют его и искажают. За новаторство сходят реминисценции из старины, вплоть до Бальмонта. Талантливейшие поэты забалтываются до фельетонизма. Падение «кузницы», молчание Гастева, Филиппченко, уход в эстетизм Кириллова и Герасимова—это все факты, являющиеся результатом антиленинского подхода к задачам нашей критики. Типичнейшим из них нужно считать срыв молодых поэтов. Разве блестящее начало Безыменского, Тихонова и многих других соответствует тому, что они дают, начиная развиваться? Имея в пример перед собой каменные формулы, они иссякают творчески. Инструмент, которым пользуется лирик, настолько чуток, что он отражает не только такие сдвиги, как голод 21 года или XIV с'езд ВКП (б), но и целые ряды промежуточных явлений. Вот тут-то и нужна ленинская критика, чтобы в судороге событий, воспринимаемых поэтом бессознательно, выявить движения к будущему и движения к прошлому и диалектиче-

ским анализом помочь автору разобратся в своем творческом пути.

Для того, чтобы быть честной, эта работа ленинца-критика должна быть постоянной, планомерной и всеобъемлющей. Критик не должен сходить со своей наблюдательной вышки, и телескоп его должен озирать все 360° литературного горизонта. Последнего мы никак не замечаем. В поле зрения критика писатели попадают или в плане склоки, или в плане кружковщины, или в плане «оппозиции». Стыдно, но факт, что многие писатели ищут «контрреволюционной», чем думают, для того, чтобы их заметили. Если составить список вышедших произведений—и не мелких—и отметить те из них, которые удостоились критики, то подавляющее большинство останется без отметки. Вследствие этого создаётся монополия отдельных критиков на «открытие» писателей. Хочешь, чтобы тебя печатали,—иди к такому-то. А не пойдешь, или не понравишься,—спи на рукописях. Уже давно пора бы сделать сводки по советскому роману, повести и рассказу, по советской поэме или балладе. Нигде это никем не сделано. Писатели друг о друге ничего не знают. Читатели не имеют никаких руководящих нитей для сравнения. Мы сами о себе ничего не знаем. Мы работаем вслепую, каждый за свой риск и страх, повторяя ошибки других и зевая в себе то, что могло бы вести к будущему. Многие у берега, но не видят пристани. Честная критика, вооруженная ленинским методом, необходима, как проектор.

III

Тут мы подходим к третьему требованию: своевременности, непоздыванию.

У берегов—в расцвете сил—погибли: Блок, Неверов, Ширяевец, Хлебников, Есенин, Фурманов, Соболев, Рейснер. (И ей ведь тоже никто не успел сказать в печати, как хорошо то, что она делает!) Или, может быть, список мал? Он очень легко может продолжаться. В периоде жесточайшего кризиса находятся: Клычков, Орешин,

Антокольский, Тихонов, Маяковский, Князев, Зощенко. Идут вслепую. Все: Иванов, Никитин, Булгаков, Романов и мн. др. Этот список ежемесячно увеличивается журналами, открывающими все новые и новые таланты и пускающими их так же, как и предыдущих, без руля и ветрил. Талантами мы богаты: их родит чудовищно-плодотворная эпоха. Но культуры своим талантам мы не даем никакой. Стыдно смотреть, из чего вырос на Западе, наприм., Анатолий Франс, и что у нас загнивает в недорослях! Ясно, что при нашей общей культурной отсталости трудно создать желательную критику. Но ведь у нас есть же рычаг, который дает нам смелость брать на приступ такие старинные твердыни, как неграмотность или беспризорность. Этот рычаг—организованность, при нашем, советском, строе приобретающая почти неестественную и, во всяком случае, вызывающую удивление европейцев силу. Отчего не применить этот рычаг к критике? Мы имеем списки наших газет и журналов. Но совершенно никто не знает, где, когда и о чем, и сколько будет дано критики. Личные знакомства, пустая страница, легонький скандалчик,—и критика обеспечена. Нет этого—и критики нет. Сотни книг уходят в читательскую массу без критического напутствия. Критик о критике ничего не знает. Доходит до курьезов. Один остроумный литератор в одном мелком журнале—не то пожарном, не то маслодельском—в течение двух лет дал почти полный обзор современной литературы, очень злой, но, временами, очень меткий. Кто знает об этом, кроме пожарных или маслоделов, недоумевающих по поводу широты программы своей редакции? А, между тем, своевременная, т.-е. тотчас после выхода, статья о новой вещи равносильна подаче первой помощи. Писатель после каждой законченной работы вроде больного. Он прежде всего слеп к своему детищу. Он болезненно жаден ко всякому отклику. И он ждет такого отклика, который бы ему сказал, что он сделал, какие ошиб-

ки, куда идти дальше? И сказал бы не так, как это говорится обычно, с амигошонской похвалой, или собачьей руганью, а с товарищеским соучастием к его работе, с моментом сотворчества, с пониманием и написанного, и скрытого, и для самого писателя неясного в написанном. Подобная критика необходима именно, как подача первой помощи. Опоздай она,—и она уже не нужна. Писатель сам сделал выводы и махнул семь верст крюку, когда, может быть, до цели было рукой подать. Такая критика необходима со всем знанием дела, т.-е. и прошлого писателя, и его места в общем движении литературы, и его прецедентов, и его перспектив. Критик должен быть в движении вместе с писателем, в процессе, в ритме.

А у нас? Изумительная щедрость и любовь к покойникам, и невнимание к живым. Писатель у нас начинает жить только после смерти. Что видит писатель? Испуганное лицо редактора при каждом лишнем печатном листе, гримасу кассира, которому никогда не хватает на гонорар—и зависть товарища, что у тебя вышла книга, а у него еще гниет. А потом, в лучшем случае, письмо из провинции от сентиментального читателя, а через полгода—несколько заметок из бюро вырезок; ругательных или хвалебных, но не критических. Конечно, крупные издательские «дома» следят за «своими» писателями и делают им прессу. Но это тоже не критика. Органического, всеобщего и честного отклика писатель в массе не имеет. А должен иметь, и немедленно. Лезем мы, как стадо, в гору (что в гору-то—это все чувствуют!), давим друг друга, ломаем себе ноги, скатываемся вниз и опять лезем—кто, у кого покрепче локти, и вылезает. Но разве это похоже на шествие колоннами, каким могло бы и должно быть шествие литературы в первом пролетарском государстве?

Дайте же организаторов-ленинцев в это беспорядочное движение, дайте ленински-честную и своевременную критику!

IV. ПИСАТЕЛЬ И КРИТИК

Иннокентий Оценов

1

Когда на заре человечества первые поэты пели свои строфы, аудитория, вероятно, выражала им свое одобрение или хулу. Первыми критиками были вначале слушатели, позже—читатели. С тех пор многое изменилось. Явились формалисты, низвергнувшие «читательскую» критику и взявшие патент на исключительное понимание нужд и запросов писателя. Еще раньше возник марксистский метод, поставивший целью оберегать читателя от «вредных» влияний писателя.

Писатель в избытке глотал горькие порошки марксистской критики и сладкое слабительное формального метода. Ничего удивительного, что писателя начало... тошнить.

Сейчас положение на фронте: писатель—критик—читатель—резко обострилось. Тема о современной критике стала, как говорится, актуальной.

С точки зрения писателя положение приблизительно рисуется так. Если бы напал вдруг мор на критиков, и вымерли бы все до единого—туда им и дорога. Ни один писатель не прольет над их прахом ни слезы. Еще вобьют в их могилы осиновые колы.

И правильно. Не нужна писателю критика. Критик может хулить или славить писателя, но это обстоятельство побочных, прямого отношения к литературному пути писателя не имеющие. Критик может поставить диагноз социального или литературного значения писателя, но от этого сам писатель ни на иоту не изменится. Литературное творчество подчинено известным законам, точно так же, как, напр., появление органических форм. Ученый ботаник, знающий детально морфологию, все-таки не может вырастить, напр., бананы на березе. Ждать этого было бы, по меньшей мере, бесполезно.

В итоге же писатель пишет так, как он может и как находит нужным, и через себя еще никто не перешагнул,

хотя Маяковский когда-то и обещал это сделать (посмотрим, как-то он исполнит это обещание!). А в общем, всякая критика доставляет любому писателю больше неприятных минут, чем приятных¹⁾.

Беседовавшие с писателями на эти темы знают, что писатели мыслят именно так. Писатель может позволить себе такие обороты мысли, потому что он чувствует возможность непосредственной апелляции к читателю, потому что он все-таки, несмотря на все критические завесы, может сноситься с читателем через головы критиков. Правда, нынче связь писателя с читателем в общем слаба, и немногие ею пользуются, но возможность такая все же имеется.

Скажу читателю по секрету: на самом деле писатель, конечно, не прочь прислушаться к голосу критика. Все дело в том, как найти им общий язык. Кажалось бы, что формалисты, искусственные в механике писательской работы, легче всех прочих критиков могут столкнуться с писателем.

Но... тут есть маленькое «но». Дело в том, что формалисты—очень почтенные исследователи морфологии литературных явлений—до сих пор не создали своей критики. Б. М. Эйхенбаум неоднократно признавался в этом: «Критики у нас сейчас нет, но я верю, что она скоро будет... Совершенно ясно: публика перестала верить в русскую литературу и не вернется к ней до тех пор, пока не появится новая критика» («Жизнь Искусства» 1924 г., № 4). Однако в дальнейшем по Эйхенбауму оказывается, что современный читатель «неуловим», на него подействовать—трудно, и критика должна обращаться «не столько к читателю, сколько к пи-

¹⁾ Писатели, как известно, делятся на пролетарских и попутчиков. И те и другие, хотя по различным поводам, одинаково недовольны современной критикой, как конкретно показал А. Лежнев («О современной критике»—Новый Мир 1926, кн. 2-я, стр. 147).

сателю, который нуждается в серьезной оценке, в доверии и помощи» («Русский Современник» 1924 г., кн. 1). «Период «читательской» критики кончился,—нужны авторитетные профессионалы, к которым мог бы прислушаться и писатель, горящий страстью не столько изобретения, сколько открытию должествующей формы, поэтому что ее скрывает история...».

Прекрасно! За чем дело стало? «Авторитетный профессионализм» налицо. Где же критика, формальная критика, как живое целое, как область со своим стилем, своими требованиями и законами?

Пока что, формальная критика еще не нашла своей собственной «долженствующей формы». Сплюшь и рядом формальная критика сбивается на какой-то формалистический импрессионизм, ничуть не хуже айхенвальдовского. Вот пример из статьи Ю. Тынянова в «Русском Современнике»:

«Принцип его (Замятина) стиля—экономный образ вместо вещи; предмет называется не по своему главному признаку, а по боковому; и от этого бокового признака, от этой точки идет линия, которая обводит предмет, ломая его в линейные квадраты. Вместо трех измерений—два. Линиями обведены все предметы; от предмета к предмету идет линия и обводит соседние вещи, обламывая в них углы. И такими же квадратами обведена речь героев—непрямая, боковая, речь, речь «по поводу», скупо начерчивающая кристаллы эмоций. Еще немного нажать педаль этого образа—и линейная вещь куда-то сдвинется, поднимется в какое-то четвертое измерение. Сделать еще немного отрывочнее речь героев, еще отодвинуть в сторону «речь по поводу»—и речь станет вне-бытовой—или речью другого быта».

Формальная критика, поскольку она имеется, несет на себе тяжкий грех педантизма, отличаясь отсутствием того умения индивидуализировать, о котором говорит А. Лежнев («Диалоги», «Красная Новь» 1926, кн. 1). Стоит только вспомнить суждения формалистов (И. Груздева и Ю. Тынянова) о Есенине (в том же «Современнике»).

Почтенные формалисты были в этом случае по-своему даже правы (формальные погрешности Есенина не раз отмечались критиками разных направлений), но их маленькая правда, никому, по совести, не была нужна, и во всяком случае не давала права на большие выводы. И здесь подтвердилось то, что формальный метод, столь «научный» по внешности, еще не дает возможности *предсказывать*—т.-е. того, что требуется от науки.

2

Вопрос о современной критике: есть по крайней мере наполовину вопрос о формальном методе. Читатель не посетует, если мы, отодвинув пока и его и писателя (к тем обоим мы еще вернемся), совершим небольшую экскурсию в область теории.

Всем известна «философия» формального метода: искусство—сумма стилистических приемов, на цвете искусства не отражается цвет флага над крепостью города и т. д. Этими положениями начисто отрицается возможность для искусства иметь какое-либо общественное значение. Отсюда и пренебрежительное отношение формалистов к читателю, ищущему в литературе «отражения жизни». Отсюда и неизбежный, в конце концов, конфликт между формалистами и каждым писателем, претендующим на нечто большее, чем развертывание сюжета.

Свою «философию» формалисты склонны выводить из некоторых предпосылок, среди которых одной из основных является понимание «материала» художественного произведения, как исключительно словесного материала. «Материалом» формалисты считают не образы и не эмоции, а—слово. Каждое отдельное слово может быть для художника поэтической или словесной темой (см. напр., В. Жирмунского «Задачи поэтики» в сборнике «Задачи и методы изучения искусств». Изд. Academia, П. 1924, стр. 145 и сл.). Система формальной философии была бы более или менее стройной, если бы это понимание материала было последовательно проведено.

Но уже тот же В. Жирмунский не исключает существования поэтических образов, считая их, однако, лишь «суб'ективным и изменчивым дополнением словесных представлений» (там же, стр. 130—131). По его мнению, существенным элементом поэтического произведения может быть мысль, не поддающаяся передаче в образе. Слово—единственному материалу поэзии, «самоценному», «самовитому», приписывается вновь роль проводника образности и мысли!

В. Жирмунский пытается перенести центр тяжести поэтического «содержания» на читателя: «Как всякая человеческая речь, поэтическое слово вызывает в воспринимающем и образы—представления, и чувства—эмоции, и отвлеченные мысли, даже волевые стремления и оценки (так называемые «тенденции»...). Но не в этом, конечно, ее (поэзии) специфическая особенность». Однако это равносильно утверждению «коммуникативной» (сообщающей, социальной) функции художественного слова, отрицаемой левейшими из формалистов (т. наз. лингвистами)...

Впрочем, и у лингвиста Г. Винокура мы читаем, что поэтическая работа есть и работа «над смыслом», «ибо и смысл здесь берется как вещь, как материал стройки, как одно из звеньев конструкции» («Леф», книга 3-я, 1923, стр. 109). Итак,—материал не только—слово?

Но пойдем дальше. Всюду, где Виктор Шкловский говорит о «материале», он говорит о «вещах», при чем эти «вещи»—не словесный материал, а представления и понятия, даже не связанные непременно с определенным словесным выражением

«Целью искусства является дать ощущение *вещи* как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием «отстранения» *вещей* и прием затрудненной формы...». «*Вещи*, воспринятые несколько раз, начинают восприниматься узнаванием; вещь находится перед нами, мы знаем об этом, но ее не видим... Вывод *вещи* из автоматизма восприятия совершается в искусстве разными способами... (Цит. по сборнику «Поэтика», стр. 105—106). «Для того, чтобы сделать предмет фак-

том искусства, нужно извлечь его из числа *фактов жизни*. Для этого нужно прежде всего «*расшевелить вещь*», как Иван Грозный «перебирал людишек». *Нужно вырвать вещь из ряда привычных ассоциаций*, в которых она находится. *Нужно повернуть вещь*, как полено в огне» (В. Шкловский. «Развертывание сюжета». П. 1921, стр. 10). (Курсив в цитатах всюду мой. П. О.).

Всю эту экскурсию в область теоретической поэтики мы совершили для того, чтобы показать, насколько непоследовательна формальная школа в своих предпосылках и выводах. Ведь если искусство существует для того, «чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень — каменным», — значит, искусство совсем не «безвредно» и «неповедительно», значит оно исполняет определенную жизненную «утилитарную» роль, и, значит, на его цвете может отразиться (и отражается!) «цвет флага над крепостью города! Раз искусство разбивает «автоматизм восприятия» вещей, значит оно может организовать это восприятие в ту или иную сторону. А отсюда следует, что *писателя критик должен оценивать «по существу»*, не механическим подсчетом его метафор или эпитетов, а *по способности писателя организовать ощущение вещей и по целевой установке этой организации*.

Кстати сказать, понимание материала, как исключительно словесного материала, совершенно не привилось, и в любой современной рецензии под материалом понимается тот идейный, бытовой, психологический и т. д. материал, которым пользовался писатель при создании своего произведения.

Приходится повторить то, что мне случилось сказать в одной из прежних статей: «*Формальный, или, вернее, морфологический метод в изучении литературных явлений то же, что метод анатомический в естественных науках...* Метод анатомический имеет огромную ценность, но оперирует он по необходимости не с живым, но уже с мертвым объектом,—в силу чего он дает нам лишь *статистику* организма. Между тем, не менее важны в организме его *жиз-*

ненные функции, его биологические свойства, благодаря которым организм более или менее успешно охраняет свою цельность, вступает во взаимодействие с внешней средой, совершает тот или иной «обмен веществ...».

... Ни один анатом, ни один гистолог не станет утверждать, что вся жизнь организма состоит только в формообразовании, что морфологический метод способен исчерпать, охватить весь организм» (О композиции «Двенадцати». «Книга и Революция», 1923, № 1/25). Но еще хуже, если, как говорит А. Лежнев («Новый Мир» 1926, кн. 2), формалисты подходят к литературным явлениям не как гистологи, но как механики, а в этом часто приходится убеждаться. Ясно, что таким путем лишь углубляется пропасть между писателем и критиком. О читателе уже не говорю: формальная школа изгнала читателя из своего обихода.

Как мы видели выше, предпосылки формалистов не так плохи, но они не проработаны своими создателями до конца, и из них сделаны ложные, губящие все дело критики выводы.

«Искусство,—как сумма стилистических приемов»,—этот лозунг формальной школы никоим образом не вытекает из того, что искусство заново показывает вещи и явления. Вопрос о цели и значении искусства формалистами оставлен молчаливо в стороне,—а иначе им пришлось бы поставить все точки над «i» и признать «утилитарное», общественное, организующее значение искусства и литературы.

3

Антиподы формалистов—марксисты. Здесь приходится говорить уже о пороках не метода, а его применения. Тончайшее оружие марксистского анализа повинуются только очень умелым рукам. Писатель зол на марксистов не менее (если не более), чем на формалистов. Неумеренные требования по части идеологии 96-й пробы повлияли на слабую часть писательской братии в смысле расположения «развертывателей идеологии» (подобно тому, как рецепты

формалистов плодили «развертывания сюжета»).

Взяв на себя представительство читательских интересов, марксисты грешат прежде всего неосторожным обращением с писателем, внушая последнему понятие «социального заказа» в вульгаризированной форме. «Дайте нам строк на пятьсот о разложении старого быта». Это не анекдот, с такими предложениями обращаются редакторы—они же критики—к писателю. Ясно, что у писателя пропадает охота к работе.

«Писатель—не маленький ребенок, а критик—не нянька». «Критик не может и не должен вовсе учить писателя, как писать». Золотые слова, принадлежащие А. Лежневу («Диалоги»), «Красная Новь» 1926, кн. 1). Вся беда в том, что каждый критик—и марксист в особенности, за исключением двух-трех больших, настоящих критиков,—искренне считает себя нянькой и если не всегда решается учить писателя, как надо писать, то уже наверно учит, о чем должно писать. По-своему прав писатель, убеждающийся в бесполезности и даже вреде критики. Нельзя вырастить бананы на березе. Если известные темы не находят в литературе отражения, значит литература сего дня еще для них не созрела. Дайте время для органического ее развития, не форсируйте, всякому овощу свое время. Критик часто уподобляется ребенку, насильно разворачивающему нераспустившиеся почки. Как ни печально, но приходится упрекнуть критика в отсутствии настоящей любви к литературе.

Не знаю чем, но тоже, во всяком случае, не любовью к литературе было продиктовано выступление одного известного критика, скрывшегося под маской Егора Досекина, весной 1925 года на страницах вечерней «Красной Газеты». Суть этого выступления, произведшего некоторый шум, состояла в стремлении доказать, что, несмотря на обилие талантливых поэтов и прозаиков, литературы, как таковой, у нас не имеется. Эта статья породила довольно оживленную полемику, и ей же посвящена, с большим запозданием, статья

Ильи Садофьева «Победители и побежденные» в кн. 2 «Красной Нови» 1926 года.

Егор Досекин характерен, как симптом; само по себе его выступление, конечно, современной литературы не «уничтожило», и вряд ли ярый критик может приписывать себе «честь» «победы издательств над русской литературой», «победы иностранной макулатуры».

Садофьев, несомненно, преувеличил значение Досекина, но правильно оценил объективные возможные следствия этого выступления. Надо думать, что выступление Досекина по замыслу имело характер «приема» (другого объяснения не придумать), приема вызвать на противоречие, на литературный спор и обмен мнениями. Но объективно—статья Досекина пришлась по вкусу наиболее отсталым от современности слоям «старорежимных» читателей, брюзжащих на новое «во имя» великой, старой и т. д. русской литературы, ее классических заветов и т. д.—словом, всего того, на чем держатся старички, из которых сыплется песок при каждом движении. Досекин ведь так и аргументировал, между прочим, ставя нашим молодым писателям в пример Чехова и даже Боборыкина¹⁾

Дальше идти некуда. Дальше—критика превращается в сплошное литературоведство. См. дискуссию о критике в № 2 «Журналиста» за 1926 г. Там имеются портреты критиков, набросанные Вяч. Полонским. Читатель без труда узнает в них многие ходкие имена. Чем бы ни «сырлял критик, идеологией или формальным методом, последнее слово в оценке писателя принадлежит читателю²⁾. Сколько бы ни уверял Лелевич, что Безыменский—первоклассный поэт, читатель все-таки возьмет с полки не Безыменского, а Казина или Есенина. Снова нельзя не вспомнить

¹⁾ Особая, крайне интересная тема—о разрыве или отсуевании традиций у молодой советской литературы в силу исторических условий (смерть, внешняя или «внутренняя» эмиграция «стариков»).

²⁾ Здесь прав И. Садофьев, утверждающий, что читатель «проверяет критиков по работе писателя».

о литературной судьбе Есенина, которого стихийно вынесли вперед именно читательские руки¹⁾. Вся наша критика в целом (отдельные голоса не в счет) проглядела, замолчала, едва не похоронила заживо поэта, который самым фактом своего бытия и свей славы доказал, что в искусстве самое главное—то, что Гени. Пospelов называет *художественностью интенсивной*, внутренней, в отличие от экстенсивной, внешней, подлежащей формальным придиркам. Вся наша критика в целом—критики-няньки, критики-прокуроры, критики-экспериментаторы, критики-литературеды—вся критика наша потеряла способность *ощущать лицо писателя*, неповторимую индивидуальность каждого, большого и малого художника. К этому надо вернуться. «Наши начетчики не умеют индивидуализировать, не умеют подходить к каждому писателю, как к своеобразному явлению» (А. Лежнев).

Другой пример современного критического верхоглядства: отношение критики к Н. Тихонову, одному из крупнейших мастеров наших дней. Стоило Тихонову углубиться в серьезную исследовательскую работу, как критика, еще недавно превозносившая поэта, стала скептически качать головой по поводу «пастернаковски-хлебниковских фокусов» и сетовать на «непонятность» и «заумность» даже таких, в общем, четких и сравнительно простых вещей, как поэма «Лицом к лицу». Когда появилась «Дорога», знаменовавшая возврат Н. Тихонова к прежней ясности, но с обновленными методами и материалом, критика вынуждена была вновь отдать должное поэту.

По моему глубокому убеждению, *критика должна ориентироваться на читателя*. Всякая иная критика, ориентирующаяся, напр., на писателя, нежизнеспособна, и провал формальной критики это как нельзя лучше подтверждает. Писателю, в конце концов,

¹⁾ Беру на себя смелость утверждать, что Есенин, как поэт, родился только после революции и жил современностью даже в своих отталкиваниях от нее,—вследствие чего нельзя обвинять читателя в «нездоровом» интересе к творчеству Есенина.

не нужны рецепты, как писать, а морфологическое описание его произведения уже не критика, а литературоведение. *Критика не есть наука о литературе*, ее задачи скромнее и актуальнее: критик должен быть проводником читателя по джунглям литературы. Но если критика должна быть по духу «читательской», это не значит, что критика должна быть на поводу у читателя. Из всех квалифицированных читателей критик, по существу, самый квалифицированный; он, если можно так выразиться, читатель-профессионал. Вот почему критика—в идеале—всегда в своих оценках должна предупреждать оценку читателя. И то, что в своих суждениях, напр., о Есенине критика оказывается позади читателя, лишний раз свидетельствует, что даже у наших критиков-общественников, критиков-марксистов, нет ни прочной связи с читателем, ни истинного понимания его интересов.

Дело еще в том, что никакой критический метод не является химическим реактивом, дающим в любых руках единственно-возможный и единственно-точный ответ. Сама наука о литературе еще только нащупывает свои методы. Критика же не наука, она в большей мере искусство, хотя и

стремится стать наукообразной. Но до тех пор, пока и поскольку критика—искусство, ясно, что и сам критик должен быть хотя бы в малой мере художником. А это значит, что от критика требуется хотя бы минимальный *эмоциональный заряд*, способность восторгаться и возмущаться, а не только замалчивать или схематизировать. Марксистский метод дает богатые возможности для изучения социальных корней писателя, его среды, общественного веса его произведений; формальный метод позволяет проникнуть в структуру его творчества, в его приемы, уясняет литературную родословную писателя. Но, рассекая писателя на элементы, критик одновременно должен воссоздавать его лицо, а для этого критику необходимо первичное *ощущение* данного писателя, как своеобразного, неповторимого явления ¹⁾. Так воспринимает писателя читатель, руководясь чутьем, и задача критика—помочь читателю в осознании этого восприятия. Только на этом пути, замечу вскользь, возможно и примирение писателя с критиком.

¹⁾ Ср. цитируемые Л. Гроссманом (в кн. «От Пушкина до Блока») слова Флобера: «Метод есть высшее начало литературной критики, ибо он дает возможность творить».

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

I. Г. ЛЕЛЕВИЧ. Илья Сельвинский. — П. Г. ЯКУБОВСКИЙ. Ранний Пруст. — III. Я. ТУГЕНДХОЛЬД. Новые книги по искусству. — IV. С. БЛАЖКО. О переменных звездах. — V. В. АБОЛТИН. По Советскому Сахалину.

I. ИЛЛЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

Г. Лелевич

Выход книжки Сельвинского ¹⁾ — заметное событие в нашей литературной жизни. Литературная судьба Сельвинского своеобразна. Печатался он чрезвычайно мало: несколько стихотворений и эпических фрагментов в сборниках — «Менавсех», «Госплан литературы», «Удар» — и журналах — «Красная Новь», «Н. Мир», «Октябрь», «Молодая Гвардия», — вот, кажется, и все. И, несмотря на это, его имя пользуется заслуженным авторитетом в самых разнообразных литературных кругах. Однако общее суждение о нем чрезвычайно затруднялось разбросанностью его произведений. Вышедшая книжка далеко не полна. В ней нет не только крупнейшего произведения Сельвинского — эпопеи «Ульялаевщина», но и ряда более мелких вещей, как-то: «Истории одной лисицы», замечательного «Репорта» и т. д. Тем не менее, и эта небольшая книжка позволяет схватить основные черты творческого лица Сельвинского и, главное, уяснить его литературный путь.

Ленин как-то сказал, что крестьянство и интеллигенция приходят к социализму своими *особыми* путями. Творчество Сельвинского значительно, прежде всего, как отражение пути к социализму одной из важных социальных прослоек.

В то время, как хотя бы Борис Лавренев провозглашает, что каждый пи-

сатель имеет лишь свою *индивидуальную* идеологию, Сельвинский чувствует себя выразителем и оформителем чайной определенной *социальной* группы:

Как всякий поэт, я — сердце статистики:
Толпоголос мой голый язык.

Какая же «статистика» говорит голосом Сельвинского, какие «толпы» управляют его языком?

Если мы внимательно перечтем его книжечку, перед нами отчетливо вырастет *стерзанцевой психологический образ* его творчества, фигура его любимого и родного ему героя. Социальную природу этого образа прекрасно вскрыл К. Зелинский в своем небольшом наброске о Сельвинском. «Всего лучше, — писал Зелинский, — художественно правдивее Сельвинскому удаются — разночинцы революции. Это поколение «деклассированных», взрощенных Октябрем. Творчество Сельвинского по всем своим настроениям и тематической интерпретации ближе всего соответствует именно этому порядку чувств и идей революционного разночинца («Госплан литературы», стр. 33).

И внешняя биография и внутренний мир этих разночинцев нашего времени, этих, по выражению Сельвинского, «переходников» даны в лучших стихах Сельвинского — «Переходники», «Наша биография», «Нэп», «Великий обыватель с улицы Карла Маркса».

«Эпоха войн и революций» застала «переходников» подростками, почти детьми. Жесткие лапы военной эпохи

¹⁾ Илья Сельвинский — «Рекорды». Изд. «Узел», Москва, год не указан (вышло в 1926 г.). Стр. 27. Тираж 700 экз. Цена 80 к.

с малых лет основательно потрепали их, прежде, чем грохот революции пробудил их к политической жизни:

Мы, когда монархии (помните?) бабахали,
Только-только подрастали среди всяких «но»,
И первые наши без ячиров и без сахара
Лутились сухоткой, облажался, как нож.
Мы не знали отрочества, как у Чарской в книж-
ках,—

Маленькие лобики морщили в чело,
И шли мы по школам в заплатах штанишках,
Хромя от рубцов перештопанных чулок.
Так, по училищам наливаясь желчью,
С траурными тенями в каждом ребре,
Плотно перло племя наших полчищ
Глухими голосами, будто волчий брех...

Этих людей, за плечами которых не было дореволюционного «процлого» и никаких традиций, людей, которые со-взвем непрочно стояли на почве старого быта и не успели прочно связаться с какой-либо из основных классовых группировок,—увлек, закрутил водоворот Октября и гражданской войны:

И, едва успев прослышать марксизм,
Лишенные классового костяка,
Мы рванулись в дым, по степям по сизым
Стихийной верой своей истекать.
И если бы этой вере наука
Взамен утопических корневищ—
Мы знали бы свой политический угол,
И не жег бы совесть шедудивый свист.
Но выли плакаты, трибуны и газеты,
Все что-то знали, все были тверды,
А мы глотали и то и это
И не умели заплатывать дыр.
Мы путались в тонких системах партий,
Мы шли за Лениным, Черенским, Махно,
Отжигались, возвращались за парты,
Чтоб снова кипеть, если знамя взмахнет.

Этим ребятам, искренним, смелым и горячим, но путанным, мятущимся и неустойчивым, представители основных борющихся классовых сил подошли одинаково скептически:

Не потому ль изрыгатели «истины»—
От непок губкома до берлинских панам
Говорили о нас: «Это—авантюристы,
Революционная чернь. Шпана...»,

Когда же дни вооруженной борьбы отступили перед годами социалистического строительства, эти увлеченные вихрем, оглушенные грохотом, ослепленные пламенем периода «бури и натиска», издерганные контузиями и раиами—«переходники» растерялись, надломались, ощутили свою ненуж-

ность. Переход к будням строительства, раздавивший даже некоторых испытанных пролетарских поэтов, естественно, еще мучительнее отозвался на переживаниях «переходников», увлеченных часто лишь внешней стороной революции. И Сельвинский в 1921 г. создает «Нэп»—трагический стон по своей непригодности к мирным условиям:

Неужели ж мое призовое тело
Так себе зря по пшам до-гола
И нельзя его как-нибудь с пользой обделать
В эдакой стране, где хозяйский глаз?
Пускай бы хоть горло пошло под ковку,
Расплющить раструб в боевую трубу;
Пускай бы хоть челюсть коною на подковку,
Череп в воде рыбакам буй—
Чтобы тогда, когда буду буюм,
Глазницами ширь обжирать мог,
Чтобы трубой я ревел над боем,
Зубами хватая пульс ног.

Эта «биография» общественной прослойки, художественным идеологом которой является Сельвинский, проливает яркий свет на этапы его творчества.

Пройдя, подобно своим «переходникам», сквозь горнило гражданских бурь, он растерялся с переходом к нэпу и остановился на *распутьи*.

В его стихах начинает звучать мотив упоения *всякой* яркостью, оригинальностью и силой, *независимо от социального содержания* и социальной направленности этих черт. Он создает ряд произведений, в которых (это бесполезно отрицать) содержатся элементы любования и преклонения перед героизмом и бесшабашностью бандитов, воров, выброшенных из общества людей («Казнь Стецюры», не вошедшая в книжку, а также—«Вор», «Мотькэ-Малхамувес»). Характерен намек на увязывание этого романтически-бандитского разгула с революцией. Налетчик Мотькэ-Малхамувес заявляет жертвам грабежа:

Нет, кроме шуток,— что вы смотрите, как
цупки,

Вы ввозили сюда, мы вывозим туда.

В наше время, во время революции,
Надо же какое-нибудь разделение труда.

Это, конечно,—ирония, но ирония неслучайная.

По той же линии пошло увлечение *экзотикой* цыганских песен, которые

в глазах многих исчерпывают содержание поэзии Сельвинского.

Это романтизирование удали, озорства и дыганщины не могло надолго заполнить творчество такого жизнерадостного, сочного и вдумчивого поэта, как Сельвинский. Ему предстояло выбрать: или развернуть романтическое опозитирование беспшабашного разгула в культ своеобразного «сверх-человечества» новейшей марки, в принципиальный культ авантюризма и личной предприимчивости, т.-е. об'ективно пойти по пути осуществления социального заказа новой буржуазии, или же—подняться на следующую ступень и *стать певцом социалистического строительства*. Сельвинский выбрал второй путь.

Уже в поэме «Тряпной король» (1923 г.) Сельвинский показал, что ему доступна не только симфония гражданской войны, но и поэзия хозяйственного строительства, музыка цифр, яркость и выразительность статистических таблиц.

Сельвинский, вместе с лучшей частью «переходников», втянулся в социалистическое строительство. Всеми нервами он прочувствовал мощь и красоту неисчерпаемых природных богатств нашей страны:

Подумать только... Желатин, бусы,
Суперфосфат, набалдашник на трость,
Клей и гребенки, муку и зубы
Дают рога, копыта и кости.
Но на ветрах язычких пустыней
Сколько этих копыт и костей
Гноит, прополаскивает и стынет
Проросшая рвами степь.
И в этих берцах и белесых скелетах,
В челюстях лошадиных глазниц,
Где синяя муха воюющего лета,
И свежий просвист зимней возни;
Все это, звонко-пустое и желтое,
Сваленное под вороний базар—
Золото, золото, золото, золото,
Золото и азарт.

Но, втягиваясь в наше строительство, проникаясь пафосом наших хозяйственных достижений, Сельвинский не забывает, что это—именно социалистическое строительство, именно революционные достижения, что наши хозяйственные успехи—вызов европейскому капиталу:

Новый Мир, № 3.

И если бы эти залежи дряни,
Россыпи мусора, сорные копы,
Выварить бы в руль, да подпереть крестьянью,
—
Это бы бой Европе...

Сельвинский остро чувствует фронтвой характер нашей хозяйственной работы. Он знает, что здесь развертывается смертельная борьба между социалистическими и капиталистическими элементами хозяйства:

И вот я, рядовой обыватель,
С лицом без особых примет,
В демисезонном пальто на вате
По три с полтиной за метр;
Я, по утрам к десяти надевающий
Пару галос и зонтик...—
Башня телефона и слева два еще,
Как броневик на фронте.
Пальба по банку, депеша за Кяхту
Коммерческой ногой, нулями денег.
И вот койка на всех языках
Трепещет в сетях бюллетеня.

Так вторично союз «переходников» с пролетарской революцией был закреплен социалистическим строительством (впервые этот союз скрепила гражданская война):

Диаграммой истории владею,
От пролетариата не уйти нам теперь
По возрасту, по пульсу, наконец, по идеям,
По своей, наконец, социальной судьбе.

«Переходникам» больно, что они—пока лишь попутчики пролетариата. Они страстно хотят стать равноправными участниками социалистического строительства:

Русь, Русь!.. Твой пастуший рожок
Мы вытрубим в рог изобилия...
... А впрочем—«мы»? Поубавьте-ка спесь.
Кто поверит беспартийному хлесту?
Ведь я ж обыватель, я желтый спец,
Наше дело молчать да сочувствовать.

Но Сельвинский не обижается на пролетариат, не отползает на защиту своей интеллигентской «независимости». В дышащих искренностью и подлинной человеческой болью строках он заклинает рабочий класс перековать психику его и ему подобных, перевоспитать их, втянуть в пролетарские ряды:

Товарищи! Кто же там? Стоявший на верфях!..
Вдувающий в паровозы вой,
Обдумайте нас, почините нам нервы
И наладьте в ход, как любой завод.
Чтоб и мы имели право любить свою республику,
Как в речах и статьях ее любят верхи,
И выйти из желтого кадра пухленьких,
Честных пладательщиков в МОПР и ДОБРОХИМ.

Прочно став в ряды строителей социализма и бойцов экономического фронта, «переходники» освобождаются от преклонения перед стихийной стороной революции. Большая часть старшего поколения «попутчиков» видела в революции только метель, шквал, хаос. И тов. Троцкий правильно указывал им, что они не замечают главного—организованного пролетарского руководства революционной стихией. Не то Сельвинский, который, по выражению Зелинского, ближе всего восчувствовал именно «алгебру революции». Сельвинский смеется над буржуазной Европой, представляющей большевиков в виде стихийной орды дикарей:

Но нет, не гуны от Чукотки до Нарвы,
Не полудикий олух—
Вашей культуры могильщик варвар—
Статистик и социолог.
Мы знаем язык объективных условий,
Мы видим итог концентрации,
Мы завесили, сколько литров крови
Нам придется истратить...
...Муштруйте же буржей прыгать на лошадь,
Из пушки, как бомбу, твф врыть;
А мы хитро потираем ладошк—
Нам плавать—у нас цифры!

Таков облик «революционного разночинца», вырисовывающийся в стихах Сельвинского. Это—не большевик, но *верный товарищ по строительству и преданный соратник в борьбе с капитализмом*. Таков—общественно-поэтический образ и самого Сельвинского.

В высокой степени характерен и формальный путь Сельвинского. В период метаний он виртуозно имитировал разнообразные интонации и диалекты. Он одинаково мастерски передавал и распев цыганских песен и «блатной» жаргон. Найдя, наконец, общественную базу, он избавился и от *безразличной перемчивости*, он приобрел *свое лицо*. Он не отказывается от использования любого словаря и оборотов, когда этого требуют идея и тема, но, в то же время, сам все более ориентируется на деловой язык советского строительства и на язык нашей политической жизни (газетного подвала, докладов и т. д.). Он не просто вводит иногда обороты и слова делового и политического языка

в стих, как экзотическое украшение, а пишет на этом языке:

- 1)... Лишенные классового костюма...
- 2)... Мы, спецы революции, с компактным ^{ста-} ^{жем...}
- 3)... По своей, наконец, социальной судьбе...
- 4)... Мы знаем язык объективных условий,
Мы видим итог концентрации.

Таков поэтический язык Сельвинского. Хорош он или плох,—дело вкуса, но он вполне *гармонизирует* с социальной природой, идеологией и тематикой его стихов.

Все эти черты Сельвинского характерны и для того молодого литературного направления, «мэтром» которого он является,—для группы конструктивистов. Это течение—безусловно ответвление Леф'а: не даром и тем и другим свойственны урбанизм, крайний рационализм и т. д. Но между Сельвинским и Маяковским—существенная разница. У Маяковского преобладает абстрактная лирика, схема, плакат. Сельвинский—по существу *реалист* (с оттенком романтизма), *этик*—с установкой на сюжет. Эта установка не случайна,—ведь, и вся группа конструктивистов ратует за «введение в поэзию повествования и вообще приемов прозы». Думается, здесь в значительной степени сказывается разница поколений: за плечами Сельвинского и большинства его товарищей по группе нет груза довоенного декаданса, который давит плечи даже лучших Леф'ов.

Еще нередко чрезмерная напряженность формы затрудняет понимание стихов Сельвинского. Встречается слишком вычурная рифмовка (выю час—выучусь; Зинг-Зинга—бензин, гам и др.). Ему еще грозят, быть может, рецидивы безразличного переживания интонаций. Но это—поэт большого таланта и мастера, поэт, знающий свое место в революции и свой путь, поэт, не подмалывающий себя преждевременно под большевика, поэт, искренно желающий пролетарского воздействия. Все это заставляет пожелать Сельвинскому дальнейшего общественного углубления творчества и формальных успехов, дальнейшего втягивания в поэзию социалистического строительства, дальнейшего приближения к протестарнату.

П. Р А Н Н И Й П Р У С Т ¹⁾

Георгий Якубовский

Марсель Пруст—трудно переводимый писатель. Сложность его изобразительного словесного рисунка, длинные периоды, утонченные образы, подробнейшие описания как внешней обстановки действия, так и внутренней жизни изображаемых персонажей со всеми оттенками их психологии,—все это создает под час непреодолимые препятствия для переводчика. Отчасти по этим причинам, а также потому, что творческий мир Марселя Пруста с его цветистым психологизмом, эстетством, с его великосветскими героями, далек от нашей современности, писатель, пользующийся исключительным успехом не только во Франции, но и в большинстве стран Запада и Америки, у нас не переводился и почти неизвестен русскому читателю (если не считать отрывков в сб. «Современный Запад»). На Западе о Марселе Прусте написаны сотни статей, десятками изданий печатается большая лирическая эпопея (18 книг) «В поисках потерянного времени».

Марсель Пруст умер в 1922 году, слава пришла к нему внезапно за три года до смерти.

Исключительный успех эпопеи «В поисках потерянного времени», необыкновенные условия, в которых создавался этот художественный труд, заслуживают рассмотрения. Необходимо хотя бы коротко охарактеризовать М. Пруста для того, чтобы стала понятной вышедшая в русском переводе книга его ранних произведений. Эпопея «В поисках потерянного времени» неразрывно связана с личной жизнью писателя. М. Пруст страдал с 9-летнего возраста астмой в тяжелой форме и последние десять лет жил и работал, не покидая своей комнаты. Вне жизни, взаперти, за железными стенами, через которые не проникали звуки и свет, в редкие часы, обыкновенно ночью, когда страдания не были так мучительны,

создавалась сложная художественно и психологически стилистическая ткань обширной эпопеи. Материалом для нее послужили впечатления и наблюдения, почерпнутые Марселем Прустом за время его 12-летней жизни в среде французского аристократического общества.

Писателя долгое время не признавала выдвигавшая его среда, издатели и критики молча обходили огромные томы странных произведений, в которых громоздкие периоды сплошь заполняют страницы, густотой эпитетов и описания обволакивая маковое зернышко сюжета. Возможно, что правящему классу во Франции во время войны некогда было разбираться в тонкостях стиля нового прозаика, но, когда война окончилась, утонченнейший писатель, изысканный мастер языка, психолог и эстет был признан, премирован, успех распространился и на другие страны. Помимо несомненного мастерства, которое на Западе само по себе еще не является гарантией успеха (пример: успех романов типа «Атлантиды»), сущность психологических романов Марселя Пруста, идеалистическая закуска в духе философии Бергсона и научная—в духе Фрейда, делали их понятными и близкими сердцу западного читателя. То, что делал Бергсон в своей философии, с ее подчеркиванием значения инстинктов в жизни человека, что проводил в медицине Фрейд с его теорией о роли бессознательного в психике,—эти же идеи и методы в художественной литературе средствами словесной изобразительности осуществлял Марсель Пруст. Писатель поставил перед собой цель изобразить внутреннюю жизнь человека, его психику, ощущения, представления, образы, ассоциации соответственно тому, как они возникают и переплетаются лишь в отдаленной связи с воздействиями внешнего мира. Болезнь писателя, необходимость жить в четырех стенах, почти не покидая постели, облегчали выполнение за-

¹⁾ Марсель Пруст.—«Утех и дни». Предисловие Анатоля Франса. Изд. «Мысль». Ленинград. Стр. 176.

дачи, позволяли полностью погрузиться в подробнейший анализ состояния сознания, в художественное их изображение. Необходимо добавить, что художнику помогала чудовищная память. Существует мнение, что такой подход к миру—это тупик, рассмотрение узоров на обоях «носом в стенку». В таком резком осуждении прустовского метода есть значительная доля истины. Но изобразительное богатство, музыкальность образная и звуковая (стиль Пруста сравнивают с музыкой Вагнера), острота психологического анализа превращают об'емистую полухронику, полумемуары Марселя Пруста в исключительно оригинальные художественные произведения, представляющие ценность и как человеческие документы.

Основные черты формы и сущности творчества Марселя Пруста нашли свое полное и зрелое законченное выражение в многочисленных томах эпопеи «В поисках потерянного времени». Но эпопея пока еще вне поля зрения русского читателя. Тем более интересно познакомиться с ранним творчеством писателя, с небольшой книгой рассказов (*Les plaisirs et les jours*), вышедшей 30 лет назад с предисловием Анатоля Франса. Она только что появилась в русском переводе под неудачным заглавием «Утехи и дни».

Предисловие Анатоля Франса метко характеризует раннего Пруста: книга рассказов «Утехи и дни»—«стара старости мира», изображает «усталые улыбки», «утомленные позы», «надуманные страдания». «Он заманивает нас в тепличную атмосферу»,—говорит Анатоль Франс о Марселе Прусте,—«и держит там среди мудрых орхидей, чья странная и болезненная краса не вскормлена земными соками». Мы, конечно, усомнимся насчет «земных соков», но указания на болезненную красоту и тепличную атмосферу примем к сведению. Значение этих указаний остается в силе для всего творчества Пруста. Анатоль Франс уловил то основное, что в дальнейшем развитии прустовской прозы нашло еще более ясное выражение. Если бы сущность творчества исчерпывалась определениями: теплич-

ное, болезненное—такой писатель не представлял бы большого интереса. Анатоль Франс отмечает еще—проницательность, гибкость, наблюдательность, тонкий ум. Сравнение Пруста с Петронием также верно схватывает направление творческого пути будущего Пруста, который напишет трехтомную «Содом и Гоморру», где проанализирует полове отклонения тепличных людей. Автор книги «Утехи и дни» говорит о себе в посвящении, обращенном к умершему другу:

«Когда я был еще совсем ребенком, ничья из судеб, библейских мужей не казалась мне столь несчастной, как судьба Ной, который, из-за потопа, был на сорок дней заточен в ковчег. Позже я часто болел и в течение многих дней тоже должен был оставаться в «ковчеге». Тогда я понял, что, только находясь в ковчеге, Ной мог видеть мир, несмотря на то, что ковчег был заперт, и на земле была ночь».

Так определил сам писатель свой творческий метод «закрытого ковчег», метод, выключаящий реальный мир. Каким же представляется художнику мир из его «ковчег», насколько об этом «видении мира» можно судить по книге «Утехи и дни»?

Названия рассказов и новелл звучат неожиданно, необычно. «Виоланта и светская суетность», «Печальная дачная жизнь мадам де-Брейв», «Мечты в духе иных времен», «Призрачная сила горя», «Закат солнца на нашем внутреннем горизонте», «Берега забвения» и др. На картинах с такими названиями действуют скучающие виконты и виконтессы, блеклые фигуры узкого круга, живущие призрачной, полуреальной жизнью, действительность которых похожа на сон, на воспоминания, сны и воспоминания—темы, повторяющиеся в рассказах, так же как и основная тема о «светской суетности». Это—мир призраков. Неслучайно книга открывается и заканчивается этюдами психологии умирающих. Реально существуют еще остатки выродившейся феодальной верхушки, к ней близка, с ней сливается вырождающаяся буржуазия, призрачность существования обеих Пруст показал с большой тонкой выразительно-

стью именно благодаря своему методу, утонченнейшему психологическому рисунку, улавливающему оттенки внутренних переживаний. Прозрачные полутона и легкие линии лирического повествования переходят в поэмы о природе, в которых очень оригинально проявляется своеобразие художника.

Марсель Пруст так же глубоко, как и в природу, проникает в жизнь вещей, его творческое внимание распределяется приблизительно поровну между психологией, жизнью вещей и природой. При этом вещи и природа интересуют Марселя не сами по себе, но лишь постольку с ними связана психика человека. Эти связи, нити, протягивающиеся от наших привычек, ассоциаций, настроений, от всего нашего внутреннего мира к вещам и природе, и представляют материал, объект внимания и звучания для художника. Таковы основные черты прустовского психологизма. Иллюстрируем их маленькими примерами из книги «Утехи и дни». Блестящие психологические этюды: «Исповедь молодой девушки», «Виоланта», «Конец ревности» затруднительно цитировать, поэтому мы остановимся на отдельных моментах, характерных для творчества Пруста.

Вот острая зарисовка среды, — действие происходит в «великосветском» салоне, где мнение хозяйки — закон. После литературы говорят о политике. «Несколько серьезней оказался спор об анархистах. Но м-м Фремер, словно склоняясь перед неизбежностью закона природы, медленно сказала: «К чему все это. Всегда будут и богатые и бедные». И все эти люди, беднейший из которых имел, по крайней мере, сто тысяч франков дохода — все эти люди, пораженные этой истиной, избавленные от укулов совести, с душевной радостью осутили последний бокал шампанского».

«Ее глаза сверкали глупостью. Ее улыбающееся лицо было благородно, ее мимика невыразительна» — эту характеристику можно отнести и к другим героиням «света», настолько она типически выпукла и символична.

Воспевая «отрешенность от мира», «тайны вещей», «темное счастье» леса,

Марсель Пруст дает наиболее отчетливые формулировки своего мировоззрения в небольших лирических поэмах в прозе под общим заглавием: «*Мечты в душе этих времен*». Отдельные мысли выражены в виде афоризмов — на тему о том, что «провести всю жизнь в грезах лучше, чем прожить ее, хотя и жить значит тоже грезить». Вот образы, которые вводят нас в сущность прустовской прозы. Из описания судов в порту: «Изумительная и мудрая сложность их снастей отражалась в воде, как точный и предусмотрительный ум, который погружается в неверную судьбу, что рано или поздно сломит его».

Герой рассказа борется с образами, не дающими ему заснуть, он пытается чтением отвлечь воображение: «Но внешне он убеждается, что дверь его внимания, которую он держал, напрягая до изнеможения свои силы, неожиданно распахнулась, и эти образы ворвались, затем она захлопнулась, и ему предстояло провести всю ночь в обществе этих страшных гостей». Здесь дана живая образная картина всем знакомого состояния во время бессонницы.

Вот еще образец лирического стиля Пруста из «Лунной сонаты».

«Я не понимал, какое таинственное сходство связывало мои страдания с торжествующими мистериями, совершавшимися в лесах, на небе и на море, но я чувствовал, что их утешение, их прощение были мне даны, и было неважно, что ум мой не постигает тайны, раз сердце мое так хорошо ее понимает. Я называл по имени святую мать-ночь, моя печаль признала в луне свою бессмертную сестру, луна сверкала на преобразившейся скорбной ночи и в моем сердце, в котором рассеялись тучи, взошла луна».

Приведенные небольшие иллюстрации позволяют нам составить себе некоторое общее представление о форме и сущности искусства писателя, болезненности и утонченности которого пришло по вкусу послевоенному буржуазному читателю Франции и других стран. Изошренность психологического анализа, острота художественного резца Марселя Пруста дают возможность нашему читателю заглянуть в глубину

разложения верхних слоев капиталистического общества. Проникая в тончайшие изгибы психики изображенных им персонажей, Пруст об'ективно, хочет ли он этого или не хочет, показывает психологию вырождения. Не случайно свою эпопею «В поисках потерянного времени» он сначала предполагал всю озаглавить «Содом и Гоморра», не является ли этот труд печальной ораторией, не представляет ли он реквием над гибнущим Содомом и Гоморрой капитализма?

«Утехи и дни»—это первое знакомство русского читателя с Марселем Прустом. Необходимо отметить, что ленинградское издательство «Мысль», выпустившее книгу, сделало все возможное со своей стороны, чтобы отравить это знакомство. Перевод Е. Тараховской и Г. Орловской местами, особенно в лирических поэмах, довольно точно передает стиль Пруста, но текст испорчен многочисленными, а главное необ'яснимыми пропусками, искажениями, наконец, просто грубыми опечатками. Было бы утомительно их перечислять, отметим страницы, наиболее вопиющие: 79 (перепутаны строки), 97 (... отсохнувшему... лицу) (отдохнувшему?), 104 (пропуск и искажение: надо «с *утомительным* изяществом»—напечатано «*утонченным*»); 106, 107, 108,

109, 110, 111 (ряд пропусков, искажений, переврал эпитафия из Бальзака, нелепо звучит конец главы: «... на черном небе, всадник трубит, не сознавая, без конца»); 121 (искажен образ о «пепе писем»); 124 (напечатано «крепкие», надо «хрупкие»); 153, 154 (ряд пропусков и искажений). Список можно было бы значительно удлинить, но есть все основания полагать, что сборник «Утехи и дни» еще будет предметом специального разбора, как образец издательской и редакторской небрежности. Неряшливость издания, т. сказать, подкрепляется скучной грубой обложкой, плохой бумагой и необыкновенным применением «режима экономии», благодаря которому оглавление оказалось целиком «сокращенным». Винегретное предисловие к русскому переводу редактора Е. Ланпа дополняет внешний стиль издания. Пока для первого знакомства и русскому читателю и Марселю Прусту не повезло; надо надеяться, что пропущенные зрелого художника заслужат лучшую участь; это же издание при всем его несовершенстве сыграет служебную роль подготовки к восприятию и пониманию сложного психологически и формально крупного мастера художественной прозы, оказавшего сильное влияние на развитие современной литературы во Франции.

Ш. НОВЫЕ КНИГИ ПО ИСКУССТВУ ¹⁾

Я. Тугендхольд

Наша литература по изобразительному искусству за последнее время растет. Остановимся здесь на двух книгах, представляющих наиболее общий интерес. Заглавие первой из указанных книг не совсем отвечает ее содержанию. Книга Томпсона рассматривает, в сущности, отражение в карикатуре не столько рабочего движения, как такового, сколько социально-по-

литических тем вообще. Но, поскольку автор выходит за рамки карикатуры, в современном смысле этого слова, хотелось бы большей глубины этого экскурса в прошлое. Так, упоминая Питера Брэгеля и Гойю, автор совершенно пропускает столь крупных мастеров и прямых предшественников того и другого, как Иероним Босх и Жак Калло. Далеко недостаточно останавливается он и на О. Домье. Фрацузских художников автор вообще недооценивает. Всего лишь несколькими словами помянут Т. Стейллен, совсем пропущен антимилитарист Жоссо, как и вообще вся группа антимилитаристов.

¹⁾ Пауль Томпсон. — «Рабочее движение и карикатура». Госуд. Изд-во. 1926. Стр. 108. Ц. 2 р. 25 коп.

«Массовые празднества». Сборник комитета социологич. изучен. искусств. «Academia». Ленинград. 1926. Стр. 205. Ц. 2 р. 50 к.

литаристов и антиклерикалистов журнала «L'assiette au beurre». (Кстати, почему французский рисовальщик Форен упорно именуется в книге Форейном?)

Весьма существенные пропуски допущены и в обзоре современных революционных сатириков. Так едва упомянут Георг Гросс и совсем пропущены Маэреель, Кетэ Кольвиц, Белла Уиц. Зато автор почему-то считает возможным рекомендовать в качестве «очень удачных и остроумных карикатур», пошлые рисунки Раталонги и еще какого-то рисовальщика. Рисунок Раталонги изображает «Прошлое, настоящее и будущее» пролетариата; первые два характеризуются тем, что капиталисты выкачивают кровь из работающих пролетариев, а будущее характеризуется тем, что те же пролетарии, поработав, садятся за стол в манишках и белых галстуках, и едят. Рисунки анонимного автора изображают разные формы правления, но одеривают с одним и тем же персонажем: свиньями. И вот вся разница между «буржуазной республикой» и «социалистическим государством» в том, что в первой свиньи в хлеву тыкаются рылами в воду беспорядочно («свободная конкуренция»), а во второй («каждому своя часть») — эти же свиньи пьют рылами под ряд. Едва ли можно поблагодарить за опубликование подобного «остроумия», сводящего социализм к «упорядоченной» жратве.

Книга Томпсона не лишена, разумеется, интереса, поскольку она все же дает какой-то исторический очерк развития политической сатиры и приводит ряд малоизвестных образцов ее. Но значение ее исчерпывается этой описательной частью. Никаких почти социологических выводов сделать из нее нельзя, а между тем здесь напрашивается ряд проблем; наприим., почему одни карикатуристы сочувствовали правящим классам, а другие становились на сторону угнетенных, и т. д. С другой стороны, почти ничего не говорится в книге и об эволюции формы в карикатуре, о том, как меняется стиль карикатуры, в зависимости от того, в чьих руках, и против кого, и в

какую эпоху употреблялось ее острее. Автор ограничивается лишь изложением тематики тех или иных карикатур...

Недоумение вызывает глава «Россия в карикатуре». Автор говорит здесь о «полном отсутствии самостоятельности сатирических рисунков в России». А куда же девался (уже не говоря о карикатуристах 40-х годов?) весь наш девятьсотпятый год?

Зато не слишком ли большие похвалы расточает наш иностранный товарищ по адресу всех современных советских карикатуристов в предисловии и в конце своей книги? Ведь, в сущности говоря, наша современная революционная карикатура исчерпывается Моором, Дени, Ефимовым. По отношению же к целому ряду других рисовальщиков (среди которых есть такие крупные таланты, как Лебедев) как раз и возникает существеннейший и обойденный автором вопрос — о роли карикатуры после завоевания власти пролетариатом. Разумеется, не может быть сомнения в том, что советская сатира должна обличать все наши неуязвки, и что в этом отношении для честного карикатуриста-гражданина сейчас поле деятельности широкое. Но где грань между этим ответственным общественным служением и простым зубоскальством и злобной крокодильей издевкой — вот в чем вопрос?

Вопрос, о котором часто заставляют задуматься наши сатирические журналы, перегибающие палку в сторону брюзжания и пессимизма. Между карикатуристом белым и красным должна быть определенная разница в «установке». Красный смех не может быть смехом утробным, смехом ради смеха — он должен знать четко тот положительный идеал, по сравнению с которым те или иные явления представляются кривыми.

Автор разбираемой нами книги преkraщает свое обозрение русской карикатуры как раз у преддверия Октябрьской революции и современной нашей карикатуры не рассматривает. Между тем, близящееся 10-летие Ок-

тября ставит на очередь и эту задачу—подытоживающего изучения нашего политического рисунка. Будем надеяться, что эта задача будет кем-нибудь выполнена в предстоящем году в связи с организуемыми в Москве и Ленинграде большими ретроспективными выставками графики.

Под этим же углом зрения—подведения десятилетних итогов—заслуживает горячего приветствия книга, выпущенная комитетом социол. изучения искусства при Гос. Институте Истории Искусств в Ленинграде — коллективный труд, посвященный массовым празднествам.

Статья А. А. Гвоздева («Массовые празднества на Западе») правильно намечает эту задачу, стоящую перед нами, как «современниками» — закрепить массовые празднества пролетариата для истории и, путем учета накопленного опыта, выявить общие законы наиболее целесообразного развертывания художественной самостоятельности масс. С большой эрудицией автор рассматривает все исторически известные виды массовых празднеств: от церковных процессий XIII в. до празднеств великой французской революции. Этим умирающим массовым празднествам с буржуазной идеологией автор противопоставляет пролетарские массовые инсценировки нашего времени в Германии и Советской России.

Эти массовые празднества—на наш взгляд — громадное психологическое (если так можно выразиться) завоевание революции, переворот в самой «натуре» русского гражданина. За границей обычно узнают русского по походке, по развалистости, по отсутствию чувства ритма. И это исторически понятно. Старая Россия с ее полным отсутствием публичной жизни атрофировала в массах чувство стройности, стихию праздничности, умение поглядеть на себя самого и себе подобных «со стороны». И вот революции удалось сдвинуть эту массу из плена тускло неповоротливого быта на улицу, построить ее в стройные колонны, пробудить в ней праздничное «изобретательство», инстинкт общественной декоративности.

Чрезвычайно характерно, что средой, в которой возникли первые попытки зрелищного «игрища», явилась в 19-м году Красная армия, т.-е. военная дисциплинированная организация. А. Пиотровский в своей хронике ленингр. празднеств воскрешает перед нами эти военные празднества 1919 г., а затем и необычайно богатые зрелищные действия 20—22 гг. Эти празднества были подлинными театральными представлениями, героем которых явилась масса, сценой—реальное пространство площади, декорацией — монументальный Ленинград. С переходом страны от военного коммунизма к хозяйственному строительству, характер празднеств изменился в сторону пролетаризации и индустриализации. Главная масса современных участников их—не Красная армия, а рабочие, фабричные и заводские ячейки. Основная их форма—не театральная инсценировка, но декорированное шествие, в котором все большую роль играют реальные вещи, предметы производства (установки, модели и т. д.).

От массовых действий первых годов революции ничего не осталось для истории. Вот почему наши ленинградцы, словно спохватившись, с 1924 г. приступили к точному учету новых видов празднеств с самых разнообразных сторон: количества участников, характера декоративных и сатирических элементов, костюмов, расположения демонстрации, зрителя и пр. Нечего и говорить, какое огромное значение имеет эта интереснейшая работа, и насколько пример ее заразителен и обязателен для Москвы и др. городов.

К сожалению, однако, в разбираемой нами книге результаты учета приведены в совсем протокольном и сыром виде—хотелось бы каких-то выводов и уроков. Ибо едва ли можно сомневаться в том, что если первые относительно праздные годы революции нами изжиты и сейчас нет времени заниматься грандиозными инсценировками, то все же массовые празднества должны и впредь войти в наш быт. Как природа не знает пустоты, так и народная жизнь не терпит отсутствия обрядно-

сти. И здесь встает ряд интереснейших проблем, мало затронутых в книге— как сочетать планомерное оформление массовых празднеств с максимальной самостоятельностью рабочих ячеек, какой стиль убранства города ближе всего массам (вопрос, являющийся,

как известно, яблоком раздора среди наших художественных групп), как применить к празднествам режим экономии и т. д. Все это—вопросы не теории, а той самой практики, которая уже стучится в дверь: близятся юбилейные торжества 1927 г.

IV. О ПЕРЕМЕННЫХ ЗВЕЗДАХ

С. Блакко

Переменными звездами называются такие звезды, яркость которых меняется, то возрастая, то убывая; это изменение у разных переменных бывает весьма различно; есть такие переменные, у которых изменчивость яркости едва может быть обнаружена самыми чувствительными приборами нашего времени, и едва превосходит 1% яркости звезды; есть такие, у которых яркость меняется в сотни и тысячи раз; есть звезды с очень правильным изменением яркости: яркость достигает некоторой, всегда одинаковой, наибольшей величины, так наз. максимума, потом начинает уменьшаться, достигает всегда одинаковой наименьшей величины, так наз. минимума, потом опять растет, вновь достигает максимума, и такие изменения повторяются с чрезвычайной правильностью через равные промежутки времени, от одного максимума до следующего, в течение многих лет и десятилетий; есть, напротив, неправильные звезды, в которых переходы от максимума к минимуму совершаются так прихотливо, что до сих пор не удалось подметить каких-либо закономерностей; они так и называются неправильными; между этими крайностями заключается большое разнообразие в ходе изменения яркости у этих интересных и во многих отношениях важных звезд.

Довольно удивительно, что, хотя астрономы уже с незапамятных времен прилежно наблюдали всевозможные явления на звездном небе, существование переменных звезд долго оставалось незамеченным; однако есть среди них звезды, которые в максимуме бывают

очень яркие и хорошо видны невооруженному глазу, а в минимуме яркость их так падает, что простым глазом они совсем не видны. Первое наблюдение переменной звезды относится к августу 1596 г., когда пастор Давид Фабриций заметил в созвездии Кита звезду 3-ей величины, которую он раньше не видал; однако, когда в октябре ее уже не было видно, это обстоятельство не возбудило особого интереса среди астрономов, и лишь через 40 лет Гольварда вновь заметил эту необыкновенную звезду и обнаружил, что ее яркость меняется периодически; наконец, еще спустя 20 лет, наблюдениями Гевелия, Бульо и Кассини было установлено, что максимумы, при том не всегда одинаковой яркости, случаются через 11 месяцев, и что этот период не вполне постоянен; эта звезда, теперь известная под именем Удивительной звезды Кита (*Mira Ceti*) или Омикрон Кита, является типичной для обширного класса переменных звезд. Однако, хотя в течение XVII века было обнаружено еще три переменных звезды, они не привлекали к себе особого внимания, и лишь в конце XVIII века замечается некоторый интерес к этим явлениям; глухонемой, умерший 20-летним юношей, Гудрике подтвердил давнишнее наблюдение Монтанари относительно изменчивости яркой звезды в Персее, так наз. Алголя, определил характер его переменности с периодом всего лишь в 2 дня 21 час, открыл изменчивость трех звезд в Цефее, Орле и Лире; в начале XIX века уже несколько астрономов отдают свое время, хоть отчасти, наблюдениям и исследо-

ваниям переменных звезд. Новая эпоха начинается с трудов Аргеландера, который сам много работал в этой области и многих привлек к ней; его «Воззвание к друзьям астрономии», опубликованное в 1844 г., сыграло большую роль: в нем он не только настойчиво приглашал их заняться этими необыкновенными звездами, но и дал чрезвычайно простой способ, как нужно производить эти наблюдения, чтоб придать им достаточную научную ценность. С этой поры переменные звезды начинают постепенно привлекать к себе все более внимания, но особенно возрос интерес к ним в последней четверти XIX века и в нашем веке. Постепенно все большее число специалистов-астрономов включили эти светила в план своих регулярных работ, к ним присоединилось большое, обещающее стать даже огромным, число любителей астрономии; применение фотографии чрезвычайно упростило поиски новых переменных и внесло новые методы в наблюдение их; а установление связи между явлениями в некоторых классах переменных звезд с физическими свойствами этих звезд и другими вопросами астрономии придало им особую важность и этим, конечно, значительно усилило интерес к этим загадочным небесным светилам.

Мы рассмотрим вкратце значение переменных звезд для современной астрономии, но, может быть, будет лишнее указать, почему они представляют особенно благодарную область для работ любителей астрономии, имеющих в своем распоряжении хотя бы небольшую трубу или хороший бинокль или даже только хорошие глаза. Все дело в простоте наблюдений, так что без всяких специальных приборов (т. е. астрофотометров) можно получить очень ценные результаты. Вблизи от каждой переменной всегда найдутся на небе звезды с постоянной яркостью, более яркие и слабые. Наблюдатель выбирает из них несколько звезд различной яркости; они служат ему «звездами сравнения» для переменной. Самая малая разность в яркости двух звезд, какую еще может заметить глаз, называется ступенью, число таких самых

малых разностей, число ступеней, заключающихся между яркостями двух каких-либо звезд, служит мерою разности их яркостей; оценивая на глаз число таких ступеней между соседними «звездами сравнения», наблюдатель может оценить в ступенях яркости всех звезд сравнения, начиная с самой яркой, которая ярче, чем переменная в максимуме, до самой слабой, которая слабее, чем переменная в минимуме; он получает шкалу яркостей звезд сравнения в этих ступенях; и тогда, наблюдая переменную, сравнивая ее яркость с яркостью двух звезд, одной немного более яркой, чем она, и другой, немного более слабой, он может яркость переменной оценить в той же шкале яркостей; достаточное число таких наблюдений в разных фазах изменения переменной звезды дает наблюдателю возможность определить период изменчивости и ее «характер», т. е. как быстро яркость ее переходит от минимума к максимуму и падает от максимума к минимуму, и в какой мере период и характер изменчивости остается постоянным в течение многих периодов, или как он меняется.

Правда, при описанном способе наблюдений мера яркости несколько произвольна, субъективна, по этому можно помочь при содействии наблюдателей, владеющих инструментами для измерения яркости звезд (астрофотометрами); правда и то, что для некоторых задач необходима большая точность, чем та, которая достигается такими элементарно-простыми наблюдениями; правда и то, что ярких звезд, для наблюдения которых достаточно невооруженного глаза или бинокля, не очень много, и тут уже замечается иногда бесполезный параллелизм в работе, но переменных звезд так много, что работы с небольшой трубой в 4—5 дюймов отверстия остается еще очень достаточно; но некоторые переменные в минимуме ослабевают так сильно, что бывают видны лишь в самые сильные трубы мира, или требуют применения фотографии.

Число переменных, рассеянных по всему небу, которые открыты до настоящего времени, достигает 3.100, но

каждый год открывается еще один-два десятка, а то и более. Кроме того, в специальных областях неба, в так называемых шарообразных звездных скоплениях и Магеллановых облаках, открыто еще свыше двух тысяч переменных звезд. По характеру изменения яркости переменные явно делятся на несколько характерных групп. Одну группу самых правильных переменных образуют звезды типа Алголя, или же звезды затменные, называемые так потому, что, как теперь достоверно известно, причина изменения их яркости заключается во временном покрытии, затмении одной яркой звезды другою, движущеюся вокруг первой приблизительно по кругу, как Луна вокруг Земли. В настоящее время известно 270 с небольшим звезд типа Алголя. Другую, важную во многих отношениях группу, составляют т. н. звезды типа Дельты Цефея, названные по имени первой из них в созвездии Цефея, или, как их кратко называют, цефеиды—тоже очень правильные, но с совсем иным характером изменения яркости, чем звезды первой группы. Их известно около 280, не считая тех, которые найдены в звездных скоплениях.

Третья группа, самая многочисленная, есть группа долгопериодических переменных, представительницей которых является первая открытая переменная—*Mira Ceti* или, по буквенному обозначению, Омикрон Кита. Наконец, четвертую группу образуют звезды с неправильным или не вполне правильным изменением яркости. Мы рассмотрим характер изменения яркости в этих группах и остановимся особенно на первых двух, которые играют большую роль в современной астрофизике.

У большинства звезд типа Алголя изменение яркости происходит следующим образом: большую часть времени яркость остается постоянной, или, если меняется, то так мало, что это можно обнаружить лишь многочисленными и очень точными наблюдениями; но по прошествии некоторого времени яркость начинает ослабевать, сначала медленно, потом быстрее, и в течение нескольких часов уменьшается до не-

которого минимума, а затем начинает возрастать и за то же число часов возвращается к нормальной яркости; при этом спуск яркости и ее подъем происходят совершенно симметрично относительно минимума; ослабевание у разных звезд бывает различное: у иных яркость в минимуме составляет лишь 2—3% ее яркости в максимуме, у большинства яркость слабеет не так сильно, у некоторых лишь в $1\frac{1}{2}$ —2 раза, и, без сомнения, существуют звезды этого типа с таким слабым уменьшением яркости в минимуме, что оно еще и не могло быть до сих пор замечено. У некоторых звезд этого типа обнаруживается еще слабый вторичный минимум, очень близко посредине между двумя последовательными главными минимумами; и у звезд, особенно тщательно исследованных, обнаружено плавное и крайне слабое, в 1—2%, изменение яркости в максимуме. Есть небольшое число звезд, у которых ослабление света во вторичном минимуме не очень мало, заметно даже при не очень точных наблюдениях и кроме того явственно обнаруживается изменение яркости около максимума, так что длительного максимума с неизменной яркостью у них совсем не бывает; этот подкласс паз. подклассом Беты Лиры, по имени яркой звезды в созвездии Лиры, у которой такое изменение яркости было впервые обнаружено. Периоды этих звезд, т. е. промежуток от одного минимума до следующего у разных звезд весьма различный, большею частью несколько дней до 2—3—4 недель, но известны звезды с периодом меньше суток, одна с периодом в 9 месяцев и одна даже в 27 лет.

Своеобразные черты изменчивости яркости у этих звезд давно уже навели на мысль, впоследствии подтвержденную, что причина изменения яркости звезд чисто геометрическая, какющаяся, а именно: мы имеем здесь дело с двойной звездой, с парю звезд, из которых одна обращается вокруг другой, как Луна вокруг Земли, и притом путь ее так расположен в пространстве, что когда она проходит между другой звездой и нашей планетной системой, то

она отчасти, а в иных случаях и вполне, но лишь на короткое время, закрывает от нас вторую звезду; обе эти звезды, как и вообще все звезды, суть самосветящиеся светила, подобные нашему Солнцу. Значит, в таких парных звездах происходит временное покрытие, затмение одной яркой звезды другой, тоже яркой, хотя обыкновенно и иной яркости, и иного размера—в разных случаях по-разному.

Справедливость такого объяснения была подтверждена и наблюдениями спектров ярких звезд этого типа. В спектрах было обнаружено периодическое перемещение темных линий, указывающее на то, что звезды этого типа действительно обращаются по орбитам одна вокруг другой; период обращения в точности совпадает с периодом изменения яркости; обыкновенно наблюдается спектр только одной звезды в паре, более яркой.

В XIX веке были разработаны способы, при помощи которых возможно из наблюдаемых изменений яркости этих звезд определить для каждой переменной, во сколько раз диаметр каждой звезды в паре меньше расстояния между их центрами, на какой угол наклонена орбита к линии, идущей от нашего Солнца к звезде, и во сколько раз одна звезда в паре ярче другой. Известный американский астроном Шепли произвел такие определения для 90 звезд по наблюдениям различных астрономов. Он получил крайне интересные результаты. Например, оказалось, что у половины этих звезд, в особенности у тех из них, у которых изменение яркости велико, большая по размерам звезда имеет однако меньшую яркость, чем малая звезда; для примера, у звезды, открытой проф. Цераским в Москве, одна звезда в $1\frac{1}{2}$ раза в поперечнике больше другой, но она светит в 20 раз слабее последней; и это еще не крайний пример. В этих случаях является, пока неразрешенный, вопрос: как и почему в парных звездах, которые, судя по всему, имеют одинаковый возраст, происходит указанная связь большого объема и малой яркости у одной из них, малого объема и большей яркости у другой.

У таких звезд очень часто во время минимума большая, но слабая звезда, целиком закрывает от нас яркую, но меньшую, и происходит полное затмение; через пол-оборота яркая звезда закрывает от нас часть большой, но это вызывает лишь малое ослабление яркости. Примерно у четверти звезд типа Алголя обе звезды приблизительно равны, и лишь у 16% всех исследованных случаев яркая звезда вместе с тем и большая. Если звезды не очень разнятся по яркости, то заметное уменьшение света происходит и тогда, когда большая отчасти закрывает меньшую, и через полоборота, когда большая отчасти заходит за меньшую. Звезды этого типа особенно важны также и потому, что они дают возможность определить среднюю плотность звезд, и это в настоящее время самый лучший способ, каким астрономы могут получать сведения о плотностях звезд. Оказывается, что, между тем, как наше Солнце есть сравнительно плотная звезда, со средней плотностью почти в $1\frac{1}{2}$ раза больше плотности воды, есть звезды, с плотностями несколько большими, но чаще в сотни и тысячи раз меньшими, чем у Солнца; есть звезды, у которых средняя плотность равняется плотности нашего воздуха и даже еще меньше, и все же это суть самосветящиеся светила. Эти результаты наблюдений звезд типа Алголя подкрепляют те теоретические соображения о возможных плотностях звезд, которые выводятся из комплекса совсем других и независимых астрономических исследований.

У цефеид яркость меняется совершенно иначе, чем у звезд типа Алголя; характерным для них является сравнительно быстрое возрастание яркости от минимума к максимуму и медленное падение ее от максимума к минимуму; максимум бывает резко выражен, чем, часто пологий, минимум. Изменение яркости у цефеид не велико: обычно примерно в 2—3 раза, или же еще меньше. Они довольно явственно делятся на две группы: цефеиды долгопериодические, у которых период, т.-е. время от одного максимума до следующего, составляет несколько дней или

несколько недель, примерно до 80 дней, и цефеиды коротко-периодические с периодом меньше одного дня, преимущественно около 12 часов; к ним принадлежат и две звезды с наименьшим известным до сих пор периодом в $3\frac{1}{4}$ часа (первая из них была найдена в Москве Л. П. Цераской). У долгопериодических цефеид замечается большое постоянство периода и характера изменения яркости; напротив, у коротко-периодических нередки случаи небольшого, но вполне заметного отличия в ходе изменения яркости в различные эпохи, и у некоторых обнаружено правильное изменение периода, который периодически то немного удлиняется, то укорачивается. Интересно и то, что, когда при помощи фотографии были исследованы переменные звезды в шарообразных звездных скоплениях, то они в огромном большинстве случаев оказались цефеидами, но при том процент их по отношению к общему числу звезд, сфотографированных в каждом скоплении, оказался весьма различным: от 14% до 0%. Цвет цефеид белый или желтоватый; он меняется при изменении яркости: в минимуме звезда немного желтее, чем в максимуме.

Причина изменчивости цефеид до настоящего времени в точности неизвестна. Лет 20 тому назад пользовалась почти общим признанием гипотеза, рассматривавшая эти звезды тоже как двойные звезды. Действительно, исследования спектров тех цефеид, которые настолько ярки, что у них можно детально исследовать темные линии спектра, показали периодические смещения этих линий с тем же периодом у каждой звезды, как период изменения ее яркости. Такие периодические смещения линий обыкновенно объясняются движением звезды по некоторой орбите. Однако здесь нет места затмениям, и явление объяснялось тем, что передняя по направлению движения сторона у каждой звезды в паре светлее, чем задняя; яркости же звезд пары не равны; исходя из этого, можно объяснить наблюдаемое изменение яркости, предполагая орбиту эллиптической, но не круговой. Однако лет 15 тому назад была выдвинута другая

гипотеза, по которой колебание яркости у цефеид объясняется пульсацией одинокой (не двойной) звезды, при чем меняется об'ем и, может быть, форма звезды. Эта гипотеза получила теперь широкое, но не всеобщее, распространение; есть страстные защитники ее, утверждающие, что все остальные теории излишни, но есть и противники, указывающие, что защитники гипотезы пульсации не могут, однако, до сих пор об'яснить все явления, наблюдаемые в цефеидах. Есть мнение, соединяющее обе гипотезы вместе: пульсация звезды вызывается присутствием спутника, тоже звезды, движущегося по эллиптической орбите. Наконец, пытаются об'яснить явление выбором особой формы вращающейся звезды. Дело не ясно; требуются еще дальнейшие наблюдения этих звезд и новые теоретические исследования. Вопрос о цефеидах близко касается нескольких вопросов в астрофизике, и ему посвящается ежегодно очень много статей в астрономической литературе, как с результатами новых наблюдений, так и с новыми теоретическими соображениями.

Но, хотя вопрос о причине изменчивости цефеид еще не может считаться решенным, эти звезды уже нашли применение к решению вопросов, казалось бы, совершенно далеких от изменчивости яркости, именно для приблизительного определения расстояний от нас, т.-е. нашей солнечной системы, до отдельных переменных этого типа и до тех звездных скоплений, которые содержат подобные переменные звезды. Дело заключается в следующем. При помощи фотографии с большими телескопами в туманности южного неба, известной под именем Малого Магелланова облака, было найдено около 1.000 переменных звезд; многие из них еще не исследованы, но исследование цефеид привело к интересному результату: их периоды оказались в тесной связи с их средней яркостью; чем больше средняя яркость звезды, тем больше ее период; эта связь была математически установлена. Яркости при этомразумеются видимые, кажущиеся. Но, без сомнения, различные части Магелланова облака, несмотря на его гро-

мадные размеры, находятся от нас приблизительно на одном расстоянии, потому что это расстояние огромно в сравнении с размерами Магелланова облака. Поэтому ясно, что упомянутая связь указывает на связь между периодом цефеиды и ее абсолютной¹⁾, а не кажущейся только яркостью. Тогда, если допустить, что эта связь имеет универсальное значение и проявляется при каждой цефеиде, где бы она ни находилась в пространстве, а не только в Магеллановом облаке, то, обратно, по периоду можно заключать об абсолютной яркости; зная таким образом абсолютную яркость, а из наблюдений кажущуюся яркость звезды, можно вычислить расстояние ее от нас, т.-е. от Земли или от Солнца. Различать между Землей и Солнцем в этих вопросах не приходится, так как расстояния между ними слишком мало по сравнению с расстоянием звезд. Упомянутая закономерность между периодом и средней яркостью относится к долго-периодическим цефеидам; для цефеид с периодом меньше одного дня оказывается, что у них у всех абсолютная яркость приблизительно одинакова и от периода не зависит. Если указанные соображения верны, то необходимо признать цефеиды очень яркими солнцами; коротко-периодические в среднем раз в 100 ярче нашего Солнца. Несмотря на несколько гипотетический характер этих исследований, им нельзя отказать в большом значении, так как они позволяют хотя бы приблизительно определить громадные расстояния от нас до шарообразных звездных скоплений, расстояния, которые свет пробегает лишь в несколько десятков тысячелетий и которые невозможно измерить строгим методом, применяемым для измерения меньших расстояний.

Преобладающий по численности класс переменных звезд типа Омикрон Кита характеризуется, как правило,

¹⁾ Абсолютной яркостью звезды условилась называть ту яркость, которую она имела бы, если бы ее расстояние от нас было в 2.062.650 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца; наблюдаемая, кажущаяся яркость какой-либо звезды зависит как от ее абсолютной яркости, так и от расстояния, которое в действительности отделяет ее от нас.

большим изменением яркости и длинными периодами в несколько месяцев, от 3 до 20 и более. По цвету они все более или менее красные; чем длиннее период, тем звезда краснее. У большинства звезд периоды заключаются между 6 и 13 месяцами; яркости от минимума до максимума возрастают в 50—100 раз; есть несколько звезд с изменением яркости в несколько сотен и до полутора тысяч раз. Хотя максимум яркости бывает явственно выражен, по в разные максимумы яркость бывает различная; точно так же и периоды не отличаются постоянством, они меняются и довольно сложным образом. Звезды этого класса с короткими периодами по характеру изменения яркости уже приближаются к долго-периодическим цефеидам, так что иногда трудно бывает различить эти классы, и естественно возникает мысль, что между ними нет резкой границы и, может быть, один класс переходит в другой. Не нужно думать, что эти звезды в минимуме сильно слабеют; напротив, лучше сказать, что они в максимуме сильно возрастают в яркости. Например, Омикрон Кита в минимуме имеет абсолютную яркость, примерно такую, как наше Солнце, а в максимуме светит, как 100 и более (до 500) наших Солнц. Причина изменчивости этих звезд совершенно неизвестна; нет никакого основания считать их звездами затменными; напротив, надо полагать, что изменения яркости происходят от грандиозных процессов, развивающихся в недрах этих звезд; их спектр похож на спектр солнечных пятен, и можно, следовательно, предположить, что те же процессы, которые на Солнце вызывают появление темных пятен, действуют и в этих звездах, но в несравненно большем масштабе; а так как и причина образования пятен на Солнце далеко еще не выяснена, то и относительно этих звезд пока нельзя идти далее указанного намека. Многие из этих звезд в минимуме так слабы, что могут быть наблюдаемы только в самые сильные трубы, а так как таких труб немного, и не все астрономы занимаются переменными звездами, то, к сожалению,

у большей части звезд этого типа изменение яркости исследовано преимущественно около максимума, но не во всех фазах.

Звезды, неправильно меняющие свою яркость, являются наименее благодарными для наблюдений, хотя, может быть, прилежное наблюдение их позволило бы открыть у них какую-нибудь, вероятно, сложную закономерность. Они красного цвета, и изменение яркости у них в большей частью небольшое. Найдено на небе несколько звезд полу-правильных с резко выраженными максимумами и продолжительным пребыванием звезды в наименьшей яркости; чередование максимумов у них не вполне правильное, и максимумы не вполне схожи один с другим; такие звезды в особенности требуют непрерывных наблюдений под микроскопом, и в этих специальных случаях кооперация наблюдателей, весьма полезная во многих астрономических наблюдениях, оказывается особенно необходимой. Причины изменения неправильных и полу-правильных переменных звезд пока совершенно неизвестны.

Мы видим, как разнообразен мир переменных звезд; мы видим, как более простые из них получили объяснение изменения их яркости и, как результаты исследований их, находят себе применение в других проблемах астрономии. Но многое еще не ясно, и требуются соединенные усилия наблюдателей и теоретиков, чтобы приблизиться к разъяснению более трудных случаев; разъяснение же это несомненно будет способствовать и разъяснению вопросов относительно внутреннего строения звезд, относительно процессов, протекающих в недрах звезд, и этапов развития звезды в течение многих миллионов лет, протекающих от начала ее свечения до угасания.

В заключение не лишними будут несколько слов о работе русских астрономов в области переменных звезд. До конца прошлого века лишь немногие

астрономы: Виннеке, Линдеман, Глазепал, Цераский уделяли долю своего времени на наблюдения переменных звезд; Виннеке и Цераский открыли по две новых переменных. Но с конца прошлого века и особенно в наше время переменные звезды привлекают все более внимание как специалистов-астрономов, так и любителей астрономии. В конце прошлого века на обсерватории Московского университета было организовано систематическое фотографирование звездного неба, и на этих фотографиях М. П. Цераская начала поиски новых переменных звезд, сравнивая яркости звезд на фотографиях одной и той же области неба, полученных в разные ночи; до настоящего времени ей удалось открыть 195 новых переменных, т.-е. около 13% всех переменных, находящихся в той области неба, которая покрыта московскими фотографиями (в том числе 34 затменных звезды и 38 цефеид, т.-е. 13% звезд этих типов на всем небе); наблюдение этих звезд входит между прочим в программу работ Астрономической обсерватории и Астрономо-Геодезического Института 1 М. Г. У. Астрономы Пулковской обсерватории и ее Симеизского отделения тоже уделяют немало времени наблюдениям известных переменных и поискам новых; они наблюдаются также в Казанской и Ташкентской обсерваториях. Русское Общество Любителей Мирведения энергично пропагандирует среди своих членов интерес к этой области астрономии, и многие члены его ревностно наблюдают и производят поиски переменных по фотографиям, полученным в Пулкове. В последние годы наблюдения переменных отдают свое время также члены Коллектива наблюдателей при Московском Обществе Любителей Астрономии.

Доля, внесенная до сих пор русскими астрономами в международную работу и литературу по переменным звездам, не мала, и нет оснований опасаться, что она уменьшится в будущем.

У. ПО СОВЕТСКОМУ САХАЛИНУ

В. Аболтин

Держим путь по ветру...

Во главе каравана из трехсот собак моя упряжка. Она то быстро пронесется по очищенной ветром площадке ровного льда, то еле подвигается по недавно нанесенному глубокому рыхлому снегу, то ловкой змейкой извивается среди причудливых скал и бугров торося.

Пурга с диким завыванием бросается на людей и собак, свирепо кидает холодные космы в лицо, в глаза, старается ослепить, или хотя бы скрыть очертания других нарт, полуверстной веревницей тянущихся сзади за снежной пеленой.

Это было 16 марта 1925 года на замерзшем Амурском Лимане между Азиатским материком и островом Сахалином,—на пути в Александровск, для приема Северного Сахалина от японцев...

При свирепой вьюге, озлобленно хлещущей пригоршнями снега, по бездорожью ледяных полей замерзшего моря, руководимые лишь направлением ветра, вступали мы на сахалинскую почву.

От Сахалинской «столицы» до реки Тыи

Исчезли с Сев. Сахалина белые, с красным вятаком, японские знамена, погоны и красные околыши. Вместо них над сельсоветами цветут красные флаги, в деревнях мелькают фуражки с пятиконечными звездами.

Об'ехать, осмотреть этот новый Советский Сахалин, так мало кому известный—поставлена задача. Начало маршрута Александровск — Дербинское—Адо-Тынь—на телеге.

В последние годы японцы дорог на Сахалине не ремонтировали и поэтому проезжающим надо приготовиться к самому худшему. Все дороги в выбоинах, в ямах, как будто после артиллерийского обстрела; мосты прогнили, некоторые полупрорвалились. Часто

крестьянин перетаскивает через мостик груз на себе, потом уже переводит лошадь. Я сам на одном мостике аэропланом кувыркнулся из телеги и неожиданно очутился на шее лошади; другой раз сломались обе оглобли. (В этом году советская власть начала постепенный ремонт дорог.)

Первая деревня за Камышевым перевалом—основанный во время каторги Верхний Армудан. Это—окруженный щетинистыми сопками маленький поселок из 17 дворов, большей частью бедных, с оборванными, торчащими голыми стропилами, домами. Жителей в деревне всего 60 человек, земли—полтора десятины, пашни—около 60.

Урожай в этом году хороший. Но иногда оттуда,—махнул армуданский председельсовета на угрюмые сопки,—рано сползают сердитые заморозки, и тогда посевам плохо...

Солнышко заодно гляделось в лужи, когда мы оставили за спиной Верхний Армудан.

Веселей запрыгали через ямы легкие, сахалинские лошадки; смутная стена широкоголовых ночных призраков по сторонам дороги оказалась при дневном свете чащей знаменитых, гигантских сахалинских лопухов; вышиной иногда в два человеческих роста. Местами, рядом с трактором, ползла построенная японцами узкоколейка.

Странно строили ее японцы: сколько денег ухлопали, а много ли пользы от нее?...

Зимой не работала, а летом, рассказывают, местами на крутых поворотах и качающихся мостах машинист пускал вперед состав, а сам шлепал сзади.

Дербинское—третий по величине населенный пункт на Сев. Сахалине. Свыше сотни дворов, 600 жителей, 750 десятины земли (пашни—половина), более тысячи голов скота.

Первое, что встречает при в'езде,—массивные толсто-бревенчатые склады каторжных времен. Невольно вспоми-

наются красочные сахалинские зарисовки Чехова и Дорошевича...

Шесть верст от Дербинского по хорошей дороге — одно из самых богатых урожайных сел Сахалина — Воскресенское. Тут же — рыбопроизводный завод, построенный японцами.

Это, вероятно, единственный в Советском Союзе кеторазводный завод. Очень приличное здание со всеми необходимыми усовершенствованиями. Мальков пустили в Тымь в июне, теперь как раз раскладывали новую икру в продолговатых ящиках, постоянно омываемых проточной водой. На прокормление 8 миллионов мальков до выпуска требовалось в день по 100 штук яиц.

Весьма низок уровень хозяйства у крестьян во всех деревнях. В земледелии иногда еще переложная система; скот, которого очень много, доится часто раз в день, а то и весь день гуляет в лесу; излишки молока идут телкам и пороссятам. А какое хозяйство можно бы создать, имея, как теперь в среднем, 7 голов рогатого скота на двор, при теперешнем сахалинском земельном обилии, и, кроме того, рыбном богатстве в реках!..

За деревней Усково тракт переходит в таежный проселок, с наваленным в топких местах накатником.

Встретили несколько давно брошенных деревень ссыльно-поселенцев. От деревень в сущности только и осталось, что очищенные от тайги площадки, да кое-где редкий сруб, затянутый мохом. А сколько вложено было кровавого пота и сверхчеловеческого труда!..

На гиляцкой лодке по Тыми

Адо-Тымь — последний пункт, до которого возможно передвижение столь культурным способом, как на телеге. Хоть прорубленная японцами просека отсюда тянется по горам и долам до самого Ныйво — на Охотском берегу, но по ней можно ездить только зимой на санях, да летом, когда посуше — верхом. Мы от нее совершенно отказались потому, что после прошедших дождей она превратилась в непролазную трясиину.

Новый Мир, № 3.

Итак, вниз по Тыми давно установившимся здесь способом — на гиляцких лодках.

По прямой линии до Ныйво около 100 верст, а по реке с изгибами примерно вдвое больше.

Тымь — это сахалинская Волга, и гиляцкая лодка — ее пароход.

Гиляцкая лодка — большое выдолбленное из тополевого ствола корыто, настолько длинное, что в нем могут растянуться во весь рост 3—4 человека, и еще остается место для кое-какого барахла. От движений она качается, как люлька, и кажется, вот-вот черпнет бортом и перевернется. Непривычные чувствуют себя не особенно приятно, и поэтому обычно две таких лодки связываются вместе, и тогда получается устойчивое приспособление водного транспорта.

Вот на таком транспорте мы и отчалили из Адо-Тыми, имея на каждой лодке по гребцу и по рулевому.

Гребцы — бронзоволикие, черноволосые, похожие на американских индейцев — гиляки; рулевые — гилячки, одна — молодая, девочка совсем, другая — старуха.

Сохранился такой способ передвижения у братьев гиляков по крови, — у аляскинских индейцев. Или нет уже на Юконе ни лодок индейских, ни их самих?!..

* * *

Гиляцкая юрта — низенькая бревенчатая халупа, насквозь прокопченная дымом и копотью, потому что посередине открытый очаг. Вдоль стен сплошные деревянные нары-лежанки, служащие и кроватью, и столом, и стулом. Утварь — чугунный котел, ведерки, кружки и корзинки из коры.

На засунутой за стропилом палке висит люлька — маленькое корытце, в которое крепко завязывается запеленутый в тряпки ребенок. Внизу люльки — отверстие для стека жидкостей, а под отверстием коряное ведерко. Если гилячке нужно уходить куда-нибудь подальше, она взбрасывает корытце себе на спину.

Правда, даже в некоторые гиляцкие юрты заползла всюду проникающая

«культура»,—вместо очага торчит железная печурка, и видна кое-какая жестяная или глиняная посуда,—общая картина от этого мало меняется.

Снаружи юрты—свободно гуляющие или привязанные собаки, единственный скот гиляка, который его перевозит зимой (летом собак иногда впрягают в лодку и заставляют тащить ее вдоль берега), в шкуры которого гиляки одеваются и мясо, в случае голодовки, употребляют в пищу. Это—если не считать медведей и медвежат—гиляцких богов, злобно поблескивающих крохотными узкими глазами сквозь щели бревенчатых срубов, заваленных сверху камнями. Многие юрты имеют по одному, иногда даже по паре этого рода скотины—откармливают к медвежьему празднику. На празднике медведя по особому ритуалу убьют, и гиляки наедятся досыта медвежатины.

Недалеко от юрт стоят шесты с перекладинами, на которых вялится юкола, горбуша и кета.

Тымовские гиляки в этом году много наловили рыбы—шесты повсюду густо увешены юколой. Ход был богатый, и, кроме того, ревом дал невода, так что было чем ловить.

И теперь еще вся река кишела рыбой, и то тут, то там на отмелях она то-и-дело выскакивала из воды.

Гиляки всю дорогу варили и жарили свежую кету, не оставляя и нас в обиде. Ловля производилась довольно оригинально—мимоходом, так сказать. Проезжая мимо подходящей отмели, где полагалось быть рыбе, гребец вставал, хватал двадцатифутовый шест с привязанным на конце железными крючком, заметив под водой рыбу, ударял крючком и вытаскивал добычу. Иногда тыкал в воду прямо на счастье,—авось, крюк наткнется на рыбину.

В нескольких местах на реке я наблюдал кормление гиляками душ умерших предков.

Гляжу раз, старая гилячка, обычно с лицом бесстрастного каменного изваяния, вдруг оживает, что-то повелительно приказывает своим спутникам. Она достает немного риса, юко-

лы и, напустив на физиономию важность игуменьи, мелкими шепотками бросает по обе стороны лодок. Потом же проделывает с табаком, ломает несколько спичек и подаренных моим спутником папирос и тоже отправляет в воду.

Оказывается, когда-то утонул тут гиляк,—старуха кормит его душеньку. То же она проделывала и в других местах—где на берегу похоронен кто-то из предков, и т. д.

Ехала с нами еще в одиночку третья лодка с корейцем-учителем туземной школы на Чайво. На ней должно быть гиляки были нерелигиозные,—процедуры кормления нигде не проделывали. Зато одеты они были не в лохмотья и рванье, сквозь дыры которого бронзовело тело наших гиляков, а в новенькие ярко-синие и ярко-красные зипуны с цветными оторочками. Один из этих гиляков по вечерам тянул один и тот же бесконечно заунывный мотив, в котором выражалась вся смутная тоска первобытного человека. Долго я старался вспомнить, где слышал почти такой же мотив и, в конце концов, вспомнил.—Такой же мотив без конца тянул полудикий кочевник-юрук с Кунийской равнины,—за десяток тысяч верст от Сахалина...

Когда совсем стемнело, пристали к песчаной отмели; костер из валежника, уха в ведре со всеми специями, чай и ночевка до первых признаков рассвета. Великолепно выпались в лодках же, хотя ночь была холодная, и утром иней сверкал на траве ледяными изумрудами.

Рано утром посещение б. Стахеевской фермы Иркир на правом берегу Тыми. По полю густые кожны скошенного полновесного овса, на лугу пырей, выше роста человека. Кругом богатый лиственный лес. Пашня занимает всего десяток десятин, а сколько земли остается не использовано!.. И не только здесь, но и по всей Тымовской долине ниже Адо-Тыми. В Иркирской ферме несколько лет тому назад одних коров было до 100 голов, теперь осталось полтора десятка,—постарались к моменту восстановления Советской власти ликвидировать.

* * *

Второй день путешествия по Тыми был особенно хорош. Несмотря на ночной иней, днем стало совсем тепло. Мы сели на весла, затащили дубинушку, и нам стало отчаянно хорошо и весело.

Зеленая кайма тополей, осины, березы, разных кустарников стейгой подступали к самой воде, и только изредка встречался высокий обрыв, с пихтами и елями.

Потом—кусочек первой тундры, обрывающейся в реку толстыми черно-желтым торфяным перегноем; потом—нерпа, заплывшая с моря, и охота на нее, потом, во время остановки, с револьвером в руке—по медведьему следу в густой высокой траве, потом—в ночном бархате самодельные фонарики со свечами на борту лодок, и ночью—медленный путь по течению вместе связанных всех трех лодок.

На следующий день течение уже медленное, серьезное, нерп много, местами от берега к берегу выше сотни саженей, вода спокойная, как в озере.

Около острова Упале на берегу избушка. Живет своеобразный отшельник—древний старичок Зелинский в компании с диким гусем, который бегает за хозяином, как собака. Имеет огородик, раньше много промышлял охотой, теперь сил поубавилось, но в прошлом году, помимо прочего, все же убил пару чернобурок.

Когда японцы проводили просеку на Адо-Тымь, Зелинский являлся своего рода инженером, указывая, где и как лучше вести. Настоящий охотник-таежник, много звериных троп исходивший за свой век,—теперь он больше всего радовался, что редька в огороде хорошо родится, по 10 фунтов лутковина.

Верст десять от Зелинского ниже по Тыми-Ноглик—застава наших пограничников. Издали виднеется вонзающаяся в небо мачта бывшей японской радиостанции. Здесь стояли японские военные,—много осталось полуразрушенных зимовий полублокгаузного типа, склады, погреба с ящиками сгнивших кореньев, морской капусты и раз-

ных прочих специфических японских кушаний.

Вокруг—окопы по всем правилам военного искусства—с колючей проволокой, с пулеметными гнездами, блиндажами.

Теперь в радиостанции красный уголок—на столиках «Правда», «Красное Знамя», журналы, по стенам портреты. Красноармеец на столике сосредоточенно что-то пишет.

Любопытно,—к дверям корейской лавки прибито воззвание Полномочной Комиссии по принятию Северного Сахалина, распространенное после прибытия в Александровск. В какие медвежьи углы, даже по сахалинскому бездорожью, все-таки оно забиралось..

В нескольких верстах отсюда—другой Ноглик, Ноглик—нефтяные разведки. Там скважины, вышки, машины. И такой нефтяной Ноглик не один. Немного подальше Катангли—тоже—разведки, а сколько нефтяных площадей, где человеческая нога еще почти не ступала!..

Отчалили из Ноглика, несмотря на сопротивление гиляков, которые, боясь наступающей темноты, никак не хотели переезжать Ныйский залив.

Ныйский залив—один из крупных и доступных для сравнительно больших судов. На бере, у входа в Ныйский южный пролив, даже в малую воду, глубина не бывает меньше 10 футов. Второй пролив—северный, называемый проливом Даги, значительно мелководней.

Сам залив растянулся почти на сорок верст, но нигде не достигает ширины больше 4½ верст. Северная часть залива представляет из себя совсем узкую и мелкую лагуну.

Когда мы вышли на залив, темнота накрыла нас сразу, как черным котлом. Вдобавок иногда сгущался туман, так что в нескольких шагах не разглядишь лодку. Поднимался ветер, и рассыпчатые волны хлестали в борт.

Вдвое энергичней заработали гребцы. Нерпичьи переклики детским плачем неслись за лодками, свежий ветер стал разгонять туман, когда вдали замерцал огонек. Долго шли на него, ткнулись в косу, с другой стороны ко-

торой доносился ворчливый рокот вечно беспокойного Охотского моря, пошли вдоль косы и, наконец, вправо вырисовались темные силуэты сперва гиляцких халуп, потом и русских изб.

Приехали. Поставили, пожалуй, своего рода рекорд. Обычно плывут 3—4 суток. Мы же покрыли все расстояние в $2\frac{1}{4}$ суток.

На берегу мрачного моря

На другой день на заре, пробравшись через поросшие кедровым сланцем песчаные бурханы, долго я всматривался в зеленоватые охотские валы.

Трудно выразить словами присущие охотским водам особые свойства, но они отчетливо чувствуются и оставляют неизгладимое впечатление. Это засвидетельствует, думаю, всякий побывавший на его берегах. От вод Охотского моря идет эманация какой-то особой глухой тоски, тоски подвижной, вечно холодной пустыни, напоминающей одновременно и о вечной жизни, и о вечной смерти...

Мрачно, уныло беспредельно-тоскливо холодное Охотское море...

Но если это и не мое только субъективное впечатление—а думаю что нет, потому что то же говорили и немногие русские поселенцы на той же Ныйской косе,—то все же это не значит, что к Охотскому морю нельзя привыкнуть, приспособиться.

Обратное свидетельствуют те же жители на косе, поселившиеся с 1908 года и вовсе не собирающиеся покидать свои избы ради других более веселых мест.

Маленькие огородики возле изб на унавоженном песке, лошади, коровы, свиньи, рыба, перевозка зимой на собаках, летом на лодках,—вог, источники существования здешних поселенцев.

И, кроме того, в каждой из трех хат—лавочка для обирания туземцев. Последнее наряду с первыми одно из важнейших занятий. Гиляки, орочены в вечном долгу у них, в полукабале. Своих подкабальных они так и называют—«моц гиляки», «мои орочены».

Там, куда не достают щупальцы этих купчиков, сидит в своей лавочке, в каком-нибудь стойбище, паучек китаец или кореец и также сосет и сосет.

Надо было видеть, каким громом поразило этих «купеца», когда я упомянул, что скоро Советская власть привезет товары, будет по дешевке продавать их.

Навряд ли их так поразило даже августовское землетрясение, чувствовавшееся здесь особенно сильно.

Долго налаживал «в плавание» местный житель Кротов свой «дредноут»—железный понтон, доставленный когда-то на Чайво инженером Клейэ для устройства пристани, теперь служащий средством транспорта по заливам.

Кротов усиленно эксплуатирует туземцев. Законы признает тогда, когда его могут ущемить за нарушение. Уличенный в каком-либо безобразии, вроде мордобойства гиляков, он оправдывается: «Я, ведь, крестьянин, человек неграмотный, темный».

И в то же время в минуту откровения заявляет: «О, если б я был грамотный—вот был бы жуликом, каких свет не видал: грамота—сила».

Что он большой жулик, в этом мы на своей спине убедились.

Хорошо зная, что сейчас малые приливы, что через мелкие места в заливе его «дредноут» надо трактором перетаскивать,—Кротов, ни минуты не задумываясь, обязался доставить нас до Хагдузы на Чайво.

Впоследствии, дойдя до мелкого места, мы вместе с матросами-китайцами тащили «дредноут», на подобие волжских бурлаков.

* * *

В Ныйво только что прибыла экспедиция пограничников, совершившая героическое путешествие к японской границе.

В 19 дней покрыли 400 верст туда и обратно, подвигаясь применительно к местности самыми разнообразными способами, держась в основном берега моря.

Еще по дороге туда вышли все запасы (много ли на себе потащишь?), однако товарищи мужественно реши-

ли продолжать путь. Питались ягодами: малиной, голубицей, кедровыми орехами... Гиляк-проводник имел с собой крючок, иногда удавалось в речке поймать рыбу; такие случаи были все же редки, потому что ход тут кончился. Указывал гиляк также с'едобные травы. В одном стойбище посчастливилось: купили у орочен небольшого оленя—два дня питались олениной.

Некоторые красноармейцы с окровавленными ногами падали от истощения, говорили: «Оставьте нас умирать»...

Измученные, совершенно истощенные, добрались до японских рыбаков, расположенных в нескольких десятках верст к северу от границы.

Купили продовольствия, быстро оправались.

Оказалось, японцы здесь, как обычно, занимались хищническим ловом. Перегородили устье речек, но так искусно, что ничего не заметишь: на поверхности ничего—все под водой. Спасибо, гиляки местные указали. Больше всего от такого лова, ведь, они терпят: рыбы нет,—и гиляки мрут с голоду. Гиляки, орочен, здесь все страшно дикое—увидя незнакомых людей, некоторые даже убежали в лес, ребята поднимали отчаянный крик.

Между Пыгур и Пампи у них святыня, которой поклоняются: скала в море близ берега, похожая издали на фигуру старика. Проезжая или проходя мимо, бросают кусочки еды, табаку, спичек:

— Моя, старика, дари...

В пятнадцать верстах от границы—три русских дома, но уже лет пять прошло с тех пор, как умер последний русский житель. Теперь жили два корейца, занимались охотой, вероятно, и макосянием для опиума. Не имели никаких документов, не слышали, что на Северном Сахалине—Советская власть. Гиляки, те еще хуже: те здесь о таких вопросах вообще никакого понятия не имеют.

Туземцы этого района Сахалина влачат особенно жалкое существование, находясь целиком в лапах случайных «купцов» и японцев-арендаторов рыбалок, рассчитывающихся за рыбу и

зверя натурой—продуктами. Плата, конечно, целиком по усмотрению скушников. Захотят, дадут фунт риса, захотят—дадут четвертушку.

Обратно часть пути пограничники проехали на кунгасике, полученном на рыбалках. Поднявшийся шторм выбросил на берег кунгас, выкупал пассажиров и дальше пришлось снова отмахивать пешком.

Маяк советской культуры

В Хагдузе, на Чайвинском заливе (Хагдуза так же, как и Ноглик—стоянка японских солдат), еще ближе удалось познакомиться с жизнью пограничников и туземцев этого отдаленного уголка Советского Союза. Только здесь их было порядочно—до 200. Громадная казарма, склады, пороховые погреба, кругом те же проволочные заграждения, зигзаги окопов. Ныне, кроме наших пограничников, живет только японец-сторож, охраняющий оборудование тут же расположенных радио и электростанции. В четырех верстах Боатасынские нефтеразведки, а верст 25—богатые Нutowские месторождения с нефтью почти чистой, как керосин, с исключительно большим процентом газа.

До японцев в этих местах работал инженер Клейэ и Петербургская Компания. Клейэ оставил на сотни тысяч машин и всякого оборудования, из которого наиболее ценное во время гражданской войны и оккупации расхищено.

Но и теперь еще лежали на Чайской косе несколько тысяч труб нефтепроводов, в разных местах десятка громадных паровых котлов и всякие части машин и оборудования.

Пограничников в данный момент больше всего занимали две заботы: продовольствие и связь.

Продукты, вообще не «ахти» какие, за долгий путь с Александровска доходили попорченными иногда на 50%.

В неважном состоянии находилась столь необходимая телефонная связь. Телеграфно-телефонная линия Ныйво-Оха построена японцами чисто по-япон-

ски или, как говорили пограничники, «на шармака». Столбы тоненькие, качающиеся, если кашлянуть вблизи. Кабель, проложенный под водой в нескольких местах через проливы, уже почти негодный, с сошедшей местами изоляцией. Какую дрянь все-таки поставляли своей армии японские интентданты!

На общем фоне материальной необеспеченности и затруднений, плохой связи и оторванности, приятно поражающим пятном в сахалинской тайге выделялся хагдузанский «Красный уголок». Уютная комнатка, каждый предмет в которой дышит вложенной коллективной заботой, истрепанные странички каждой книжки, журнала наглядно демонстрируют, что они существуют не для показа. Правда, мало их. Журналы старые. А местной газеты «Советского Сахалина» вовсе нет.

Находясь в Хагдузе, я охотно посиживал в маленьком «Красном уголке», в котором не было следов казенщины или сухой показной мишуры, который встречал уютом и теплом коллективной удачи и отдыха.

Такие уголки привлекают, и хагдузинские пограничники охотно проводили в нем свое свободное время.

Ко всем имевшимся заботам и заботишкам у местного «начальства», т. Палкина, с прибытием учителя для туземной школы, прибавилась еще одна: найти подходящее помещение для школы, помочь его отремонтировать, помочь собрать ребяташек.

И, надо отдать ему справедливость, — хлопотал он не меньше, пожалуй, учителя.

Он не только энергично работал на месте, но, отчасти благодаря его заметкам, напечатанным в «Советском Сахалине», была исправлена крупная ошибка, допущенная при организации школы. Учителю при отправке дали 50 рублей на проезд, да 50 рублей на «устройство» школы, а дальше, «как бог на душу положит». Учитель раздобыл топор, рубанок, превратился в плотника и при помощи пограничников занялся производством скамеек и ремонтом помещения.

— Но 50 рублей — говорит, — все равно нехватит, потому что, в конце концов, нужно будет и общежитие с пансионом. Иначе маленькие тунгусята и гильчата не в состоянии будут посещать школу.

Палкин и «изобличал» в газете сахалинские «центры» за снабжение смехотворными средствами, и взывал об оказании школе соответствующей материальной помощи.

Кстати, характерный пример, как провинция иногда относится к рабковским заметкам.

Рабкор «Красного Знамени» из Охи по радио передал заметку о том же командировании учителя на работу без средств и о необходимости срочно исправить положение. Сахалинский ревком счел заметку «дискредитирующей Советскую власть» и не только не пропустил, но дал «взбучку» корреспонденту.

Как много еще нужно работать, чтобы выкурить из головы многих провинциальных товарищей такое «сахалинское» понимание дискредитирования!

В данном случае все вместе взятое все-таки подействовало, и «дискредитированные» товарищи постановили отпустить для устройства школы и общежития 4.000 рублей единовременно. Приняты были также меры для получения средств на дальнейшее содержание школы и пансиона на 50 детей.

* * *

Все время, пока мы стояли на Чайво, солнце, казалось, хотело доказать, что оно достаточно благосклонно к этим местам, что все сказы о вечных туманах и дождях восточного берега — враждебные измышления. И в тот день, когда мы отправились осматривать Боатасын, золотые лучи горячим веером рассыпались по тайге.

Брусничное богатство здесь громадно. Красноармеец, налив чай, выбегает за казармы, в момент наполняет котелок до краев, и вся казарма пьет чай «с вареньем».

За боатасынское нефтяное месторождение в свое время очень энергично принялся инженер Клейз. Не выдержал — выдохся деньгами. Остались

вышки, узколейка, много частей машин. Японцы добавили и свои вышки. Торчат теперь одиноко на буграх и лощинах в солнечной таежной тишине эти четырехсторонние лесенки в небо.

Сахалинское «Баку»

Из Охи в залив Чайво пришел за нами катер японских концессионеров и, благодаря этому, расстояние от Чайво до залива Уркт (вблизи которого находится Оха) мы покрыли в один день.

Удача нам сопутствовала и при поездке по морю. Обычно бурное, Охотское море сравнительно спокойно катило свои валы к берегу, и, прорезав по выходе из пролива волнение на бере, катер мирно запыхтел к Охе.

Должен оговориться, собственно не «катер», а «катерок», — маленький, старенький, грязненький. Кубрик высотой в аршин, площадью на трех человек, тесно растянувшихся рядом.

...Несколько китов сзади и впереди носились по волнам с быстротой подводной лодки, то исчезая, то вновь появляясь на поверхности.

Зашли в Пильтунский пролив, возобновили запас воды. Залив Пильтун самый большой из всех сахалинских заливов этого рода. На большом протяжении ширина до 10 верст. После Пильтуна небольшие заливчики Одопту, Эхаби с узкими и мелкими входами.

Громадный, облитый нефтью, костер на берегу указывал нам у залива Уркт место пристани.

В двух верстах от берега цвел огнями громадный японский нефтяной транспорт.

На берегу электрические огни, тяжелое пыхтенье каких-то машин, суетящиеся люди. Жизнь, работа на полном ходу. Пользуются удачной погодой — день и ночь грузят нефть.

Кунгасик, в который мы перелезли с катера, кувыркнулся через последний береговой вал, и ткнулся носом в песок.

Несколько сот шагов через песчаную косу, несколько сот шагов по высокому дощатому помосту над мелководным у

берега заливом Уркт, и мы снова на катере. Залив Уркт мелководен, по нему ходят только плоскодонные катера, и то по особому фарватеру, обозначенному вехами, по ночам освещенному фонарями.

От пристани еще около семи верст по декавилке на вагонетке-платформе, и мы в Охе.

* * *

В Охе, паче чаяния, пришлось просидеть трое суток.

Тунгусы с оленями уючевали далеко в тайгу по направлению к Трем Братьям — горному узлу на полуострове Шмидта, и посланный кореец долго блуждал, пока нашел их. А олени — единственное средство передвижения к западному берегу, к заливу Байкал. Охинские нефтяные промыслы — маленький островок современной техники и культуры среди дикой природы сахалинского восточного берега.

Из значительного числа более или менее разведанных нефтеносных площадей восточного сахалинского побережья работа по добыче нефти ведется пока только в Охе.

Японцы, начавшие разведки по восточному берегу в 1918 году, большое внимание уделили Охе.

В результате — значительное количество скважин, из которых день и ночь качается ценная жидкость, поступающая далее по трубам в танки-резервуары и оттуда время от времени во вместительные чрева нефтяных транспортов.

С бугра, на котором расположен охинский «военный поселок», открывается широкая картина почти всего охинского «черного городка» с разбросанными там и сям вышками, строениями, черными пятнами нефти на почве и своего рода нефтяным озерком в самой низкой части долины. Из-за этого озера сахалинцы Оху иначе не называют, как «Керосиновым озером».

На Охе, кажется, из почвы сама повсюду просачивается нефть. Повсюду нефтяные лужи, лужицы, пятна; канавки — черные, масляные ручейки. Характерны дороги на Охе.

Дорог, собственно, нет. Одна, редко две доски, проложенные между рельсами узкоколейки, укрепленные на двойном ряде бревен поперечных и продольных, изображают охинские улицы и дороги. На промыслах ночью они освещаются, но дальше... дальше неизвестно, как гонщики вагонеток не ломают ног на этих дорогах (может быть и ломают).

Имеется на Охе довольно хорошо оборудованная радиостанция. Охинцы радовались, что после доставки добавочных аппаратов будут слушать токийские радиоконцерты.

Кругом со свех сторон дремучая тайга, да и на самых промыслах она не совсем вырублена. Танки и вышки иногда позапрыгались среди зелени и желто-бурых стволов, и их не сразу увидишь. Молодой японский инженер Куроуме, замещавший в виду отъезда директора промыслов Мацуя, показывал промысла, рассказывал, объяснял. Видно, с любовью относится к своему делу. В незавидных условиях рабочие—японцы, корейцы. Большую часть заработка они раньше тут же пропивали, целыми боченками таскали по вечерам sake¹⁾ из лавочки. Но теперь у них вечерами новое занятие—слушают звонкие, бодрые мелодии наших революционных песен, несущихся с бугра военного городка... стараются понять слова... спрашивают, иногда беседуют.

На западном берегу

Переплыв на гиляцкой лодке 20-верстный залив Байкал, в стойбище того же имени в последней раз наблюдал я гиляков в их собственном жилье.

На западном берегу гиляки, в общем, кажутся культурней и зажиточней своих восточно-береговых собратьев. Бессобачных в двух селениях, через которые мы проезжали, как-будто совсем не было, наоборот, у всех 10 полной запряжке 9—13 штук; лодки более серьезные, в халупах больше утвари, посуды, сами одеты лучше. Ребятишки гораздо шустрей, значительно отличаются от маленьких зверенышей восточного берега.

Гиляк, перевозивший нас через залив, сообщил, что он на этот сезон убил уже 5 непр и 2 сивучей.

За завтраком здешняя гиляцкая семья имела несколько «блюд». Нарезанная ломтиками юкола и хрустящая вяленая икра, топленое нерпичье сало, в которое обмакивали данный мною хлеб или пили прямо с блюдечка, и на закуску кедровые орехи, щепотки которых гиляцкие челюсти перемалывали вместе со скорлупой. Наконец, кирпичный чай, конечно, без сахара, но с какой-то неизвестной мне красной водянистой, слабо-слащавой ягодой.

Здесь, среди гиляков, изредка можно встертить даже грамотного; в стойбище можно найти даже карандаш.

Несомненно, тут не без влияния близости Соввласти и вообще культурных центров,

На материке имеются даже гиляки-комсомольцы; в Николаевске видел гиляков, обедающих в столовых, одетых лучше иных русских рыбаков.

Нужны ли лучшие доказательства, что «эти вымирающие троглодиты» (как их некоторые называют) способны культивироваться, наряду со всякой другой национальностью? Нужно только вырвать их из наследных условий безудержного гнета и эксплуатации, широко господствовавших при царском и японском режимах, поставить в человеческие условия существования.

Легенды о «вымирающих троглодитах» можно считать таким же националистическим предрассудком, как все прочие буржуазные выдумки подобного рода.

В Рыбновском районе имеется, согласно статистики, 21 гиляцкое стойбище с 670 жителями, т.-е. одна треть населения района—гиляки.

Село Северо-Астраханское—самое северное русское селение на Сахалине. Из наблюдений в этом и в других селениях Рыбновского района можно было получить достаточное понятие о том, что представляет население здесь. Если на Дальний Восток попадали большей частью энергичные, закаленные, отчаянные искатели новых условий жизни, то сюда, в Рыбновский район, на постоянное житье переселились отчаяннейшие из этих отчаянных.

¹⁾ Саке—японская водка.

Условия борьбы с суровой природой среди опасностей моря, длинный период зимнего безделья, отдаленность культурных центров наложили свой особый отпечаток. Во время оккупации поощрялось пьянство,—и все это внесло много дикости и беспашажности в существование рыбаков.

Другой раз две пьяных женщины в сорочках устроили бега до моря и обратно—на бутылку водки.

Русское население района (1.047 человек)—весьма смешанное. Настоящих русских из этого числа насчитывается едва ли больше половины.

Порядочно поляков, грузин, есть немцы, татары, армяне. Одна деревня эстонская. Слушая разговор жителей в деревне Половинке, я никак не мог понять их языка. Заинтересовался... Оказалось—осетины.

Кроме гиляков и этого «русского» населения в Рыбновском районе живут 274 корейца (имеют свои 2 отдельных деревни Кеф и Наумовка), 49 китайцев и 2 японца.

Во всем районе, на западном берегу от Погиби до Мыса Елизаветы (протяжением на 250 верст), обитает 2.041 человек. Существуют почти исключительно рыбной ловлей. Главные объекты промысла—кета, горбушка, сельдь; бьют и нерпу.

В Амурском лимане имеется много миноги, крупнее и вкуснее волжской, однако она почти совсем не ловится. Можно бы (и даже нужно) развить нерпичий и дельфиний промысел в широких размерах. Помимо прямой выгоды, сохранилось бы много ценной рыбы, которую пожирают эти морские хищники.

Скотоводство здесь стоит на еще более низкой ступени, чем в Рыбновском районе. Рогатый скот частью сбывается на мясо в г. Николаевск. Лошади служат для езды почти только зимой. У некоторых жителей имеются и ездовые собаки. Скотоводство могло бы дать здесь значительные результаты. Встречаю сейчас отдельные дворы, имеющие по 20—30 голов скота.

В море впадает много маленьких речек, у устьев которых большей частью и расположены поселки на расстоянии

3—10 и больше верст один от другого.

Рыбновский район заселялся сравнительно недавно. До японской войны по побережью обитали лишь одни гиляки. Заселение началось сразу после японской войны, не прекращалось даже во время оккупации, и самотеком продолжается и в настоящее время. Так, в одном только поселке «Полонинка», где мы сели на шампонку, к 8 имеющимся избам в этом году прибавилось три новых переселенческих.

Старое население неохотно принимает переселенцев, обычно зачисляет «временно проживающими» и, не давая на этом основании прав на рыболовство, старается эксплуатировать их, как рабочую силу.

Экономическое значение Рыбновского района не только для Дальнего Востока, но и для всего Советского Союза, неоспоримо. Ведь некоторые крупно-промышленные рыбалки здесь ловят в сезон до миллиона штук одной кеты. А вся районная рыбная продукция исчисляется десятками миллионов штук в год. И это при нынешних несовершенных методах эксплуатации рыбных богатств!

Заготовленная рыба, икра с этого побережья Сахалина по Амуру идет в Сибирь, направляется далее на рынки центральной России, в Москву и проч.

Амурский лиман, который мы пересекли на паруснике,—по существу громадная лужа с прорезающими глубокими протоками Амура—фарватерами. Во время отлива обнажается масса мелей и банок. Тогда по ним торжественно разгуливают многочисленные птицы, а некоторые, излюбленные покрываются стадами нерп, среди которых громадными чурбанами барахтаются массивные сивучи.

Берег вблизи устья Амура весьма живописный. Дикие крутые скалы,—местами чистый обнаженный камень, местами с заросшими лесом вершинами—подходят вплотную к воде. У подножья в расщелинах, или на небольших кусочках пологой почвы—постройки рыбаков. Почти все новые, в по-

следние годы выстроенные,—прежние пожег Тряпицын (известный на Д. В. анархист) со своими партизанами. В нескольких местах пасти громадных пещер дышат холодной сыростью из-под своих причудливых каменистых сводов. Когда зашли в устье Амура, тянул слабый верховой ветер; нечего было и думать о парусе. Пришлось двинуться в Николаевск-на-Амуре пешком.

Верстах в двадцати от устья—б. крепость Чнырах. Теперь остались от нее только кирпичные трубы казарм, остатки блокгаузов, стволы орудий и т. п. Но на месте крепости раскинулась выстроенная за последние годы деревня—все почти переселенцы из Благовещенской губернии. Чрезвычайно хвалят почву, вполне довольны урожаем.

Перспективы колонизации Северного Сахалина

Путешествие с новой силой убедило в недопустимо пренебрежительном в свое время отношении царского правительства к обильно снабженному природными богатствами краю. За весь долгий период владения Россией Сев. Сахалином население не возросло свыше 10.000 человек, природные богатства почти совершенно не разрабатывались.

Сейчас на его 35.000 кв. верст имеется всего 10.000 населения, в то время как на Южном Сахалине, площадь которого немного меньше—за 20 лет владения Японией население возросло до 200.000 человек.

Совершенно право Советское правительство, уделявшее в лице центральных союзных органов особое внимание Сев. Сахалину с самого момента восстановления там Советского суверенитета.

В ближайшем будущем, несомненно, должно начаться заселение Сахалина. Наибольшая часть переселенцев получает средства существования в промышленности—угольной и нефтяной; будучи, несомненно, и лесные разработки. Много потребуется рабочих для устройства порта в Александровске.

Второй источник существования—земледелие.

Хлебопашество в земледельческих районах нормально обеспечивает по-

требности сахалинского крестьянства, и побочные заработки при случае используются им так же, как они используются и крестьянством Нижегородской или другой губерний.

Правда, угроза стихийных бед здесь, быть может, несколько более велика (ранние морозы и т. п.), чем в центральной России, но и население умеет приспособливаться к ним.

В результате новых изысканий и практических опытов, быть может, удастся расширить самый земледельческий район далее к востоку и к северу.

Рыболовство в добавление к имеющемуся рыбацкому населению может дать занятия еще значительному количеству людей как на восточном, так и западном берегах Сахалина. Многие возможные объекты ловли и эксплуатации до сих пор мало или почти не затронуты. Таковы: крабы, нерпа, дельфины, минога, навага, сельдь, киты, морская капуста, корюшка.

Имеется также много других источников для добычи средств существования. На Сев. Сахалине находятся месторождения золота, мало обследованные; по некоторым данным есть и железная руда.

Возможно искусственное разведение пушных зверей, зачатки чего среди населения уже замечаются, не говоря о прекрасно оборудованном, кажется, единственном в СССР, государственном лисьем питомнике.

Но прежде, чем приниматься за серьезное заселение Сев. Сахалина, нужно решительно заняться дорожным строительством.

Самое большое значение для Сахалина имеют прежде всего два пути, соединяющие западный и восточный его берега.

Это путь Александровск—Ныйво и другой—Оха—залив Байкал (Москальво). Нельзя также забывать о важности установления телеграфно-телефонной сети.

Результаты организующей руки рабоче-крестьянской власти быстро скажутся на далеком, омываемом волнами Тихого океана, острове так же, как они сказались на всем необ'ятном пространстве Советского Союза.

Книжное обозрение

1. С. КЛЫЧКОВ. Серый барин. Н. Замошкина.—2. ДАВИД ХАИТ. Бурьян-Як. Бенин.—3. М. КОЛОСОВ, Д. КОЧЕТКОВ, Г. ШУБИН. Молодняк. В. Красильчикова.—4. А. ДОРОГОЙЧЕНКО. Большая Каменка. С. Алымова.—5. К. СИВАЧЕВ. Балаханы. С. Пакентрейгер.—6. В. К. АРСЕНЬЕВ.—В дёбрях Уссурийского края. Ник. Смирнова.—7. В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ. Подкованные голы; И. САДОФЬЕВ. Простей простого. А. ЛЕЖНЕВА.—8. КАРЕЛ ЧАПЕК. Старая веселая Англия. Г. Серебряковой.

Сергей Клычков. — «Серый барин». Изд. «Пролетарий» 264 стр. Ц. 1 р. 40 к.

«Языком я обязан лесной бабке Авдотье, речистой матке Фекле Алексеевне и нередко мудрому в своих косноязычных построениях отцу моему..., а больше всего нашему полю за околицей и чертухинскому лесу»...—говорит С. Клычков в автобиографии, приложенной к «Серому барицу». Главную прелесть книги составляет именно этот поэтический, лесной мудроречистый и, добавим, хитрый язык писателя. О сюжетах пяти отрывков (из романов «Сахарный немец», «Чертухинский Балакирь» и «Сорочье Царство»), помещенных в книге, трудно говорить—они тесно связаны с содержанием романов. Отметим только, что в «Сорочьем Царстве» балакирь Петр Кирилыч появляется вновь и поступает на службу к «серому барицу»—чернокнижнику. Но основная идея отрывков прощупывается легко: гонимый мужик-хлебороб стародавних и недавних времен мечется в поисках справедливой жизни. Поэтому-то старая деревня С. Клычкова, несмотря на свою легендарность, не вымысел. Обладая способностью в жизни в а т ь с я в и з о б р а ж а е м о е, этот писатель легко и свободно рассказывает о могучем мельнике, заворожившем медведицу, о книге «Золотые уста» и пр. Но вся эта фантастика вполне земная, даже з е м л я н а я. Сказки

и «рассказки» С. Клычков сдобривает хитрой усмешкой мужичка-сектанта, знающего истинный толк выдумке. Не без ядовитости он изображает барина Махал Махалыча и все его «чудеса». Оттого-то сказками его любишься, но не веришь в их сказочность. Расчетливые «мечтуны и небылишники» его повествований твердо уперлись ногами в землю. Любят они иногда и приврать, что-де «в богатстве мы по своей глупой природе большого разумения не имеем» и т. п., но ведь это всего-на-всего «унижение—паче гордости» крепкого, знающего себе цену, мужичка.

О С. Клычково можно сказать его же словами, что иная «выдумка любой правды правдивей и интересней». Разве не правдива феерическая картина купанья мельниковой дочери в лунную ночь или мечтательные беседы солдат в «мокрых окопах» на берегу Двины? Стремление же писателя писать «интересней» не всегда оканчивается хорошо: мотивы трех сказок, вплетенных в сюжеты отрывков, однообразны, а излишняя иногда легкость языка и многословие нарушают спокойный поэтический стиль письма С. Клычкова.

Книге предпослано дельное предисловие Д. Горбова. Сказка «Ахламон», по вине издательства, почему-то включена в «Мокрые окопы»—она является самостоятельной частью «Сахарного немца».

Н. Замошкин.

Давид Хаит. — «Бурьян». Повесть. Литературно - художественная библиотека «Недра». М. 1927. Стр. 95. Ц. 55 к.

Вместить почти четверть столетия жизни целой семьи в импрессионистический, стремительный рассказ—дело трудное. Автору не удалось добиться пропорциональности частей в повести. Оттого она рассыпается на ряд, иногда очень удачных, зарисовок и в целом представляет собой не более, чем эскиз к большой картине.

Хаит прекрасно знает быт еврейской бедноты. Оттого повесть—история ремесленной, позже разжившейся мещанской семьи—рассказана им с острым и тонким подчас чувством действительности и судеб своих героев. Он ведет рассказ бережно—хотя и вынужден торопиться—с самого младенчества многочисленных детей Брондеса, портного, кочующего в поисках работы по южным городам. Детство описано Хаитом сильно, с жестокой правдивостью, без прикрас, без романтической примиренности с уродливой и страшной жизнью. Автор как бы скрывает свое тепло, благодаря этому детские образы получают особую выразительность и заостряются социально. Детство—лучшая часть повести. Радуга красок, служившая автору при изображении, например, маленького Исидора, к концу тускнеет. Рассказ делается беднее и схематичнее.

Семья Брондеса пережила первую революцию, годы безвременья, войну; семья рассыпается, частью гибнет. Автор вырывает выросшего Исидора из недр семьи, противопоставляет его ей, приводит юношу в исполком и сажает в секретарское кресло,—жесткое кресло восемнадцатого года. Из этого кресла прошлое кажется бурьяном—травой пустырей. От детей к отцам не протягивается более ни одной нити. Вражда. Дело Исидора выхолотить бурьян, опутавший его детство.

Как за предварительным наброском, за повестью нельзя не признать значительных достоинств—выразительного языка, живых деталей, способности остро, экономно и убедительно передать читателю впечатление подлинной жизни... Вот примеры:

«По улицам провезли связанного человека. На нем была черная пелерина с желтыми накладными застежками-львами и черная фуражка с белыми кантами. Фуражка от встряски упала—над прямым лбом курчавились зачесанные стогом черные волосы. Человек был худ. На узком лице его горели добрые глаза.

— Шмидта везут,—кричала толпа». (Стр. 31).

«— Что тебе, мальчик, что? Сын никого не узнавал и молчал. — Куда тебя лошадь ударила? — Да,—ответил с трудом сын. — Тебе очень больно? — Да...»

(Стр. 19).

Автор о многом еще сумел рассказать так же коротко и выразительно. Для его художественной манеры характерно совмещение импрессионистически-искривленного рисунка (и языка) с бытовой реалистической деталью, и в этом он отчасти напоминает другого художника, также имевшего темой своей еврейское мещанство—Марка Шагала.

Як. Бенни.

М. Колосов, Д. Кочетков, Г. Шубин— «Молодняк». Сборник рассказов. Изд. «Молодая Гвардия». 1927 г. Стр. 312. Ц. 1 р. 60 к.

Единство изображаемого быта—комсомольцы на фронте, фабрике, заводе и в семье—связывает все вещи молодых прозаиков в крепкий узел, но не препятствует однако каждому автору четко выявить свое лицо и особенно свою тему и героя. Можно утверждать, что, за редкими исключениями, Г. Шубин пишет о комсомольце на фронтах, М. Колосов—о молодой смене за общественной работой при напе, а Д. Кочетков—о молодежи, стоящей за станком. Читаются рассказы с интересом, иные—с увлечением,

Лучшие вещи в сборнике принадлежат М. Колосову. Остротой положений некоторые его рассказы («Цена ржи») напоминают Бабеля «Конармии». Писатель почти овладел формой новеллы—краткого, насыщенного действием, рас-

сказа. Переход к крупным вещам, очевидно, не за горами.

В рассказах Шубина утомляет стилизация под народную песню, иногда сказку. Особенно этот прием выпирает в рассказе «Разведка». «Занавесочки, вы на Яшку не сердайте, что, влезаячи, он вас изорвал». «Стул под окном, не пеняй, что у тебя Яшка спинку прочь отхлестнул». Молодой прозаик все же умеет экономить слово. Его обязанность: избегать лирических штампов.

Рассказы и повести Д. Кочеткова — недурные ученические работы. Писатель часто берется за большие серьезные темы («Гришка» — 1905 г.), но ему не хватает умения построить повесть: она расплывается по швам, как плохо пригнанный костюм. В погоне за массой действующих лиц забывается главный герой. (Кстати, почему повесть названа «Гришка», а не «Краснов», например?) Не всегда благополучно у Кочеткова и с языком, особенно в рассказах от первого лица («За веру, царя и отечество»).

Виктор Красильников.

А. Дорогойченко. — «Большая Каменка». Роман. Изд. «Молодая Гвардия» 1927 г. Стр. 316.

Хотя триста шестнадцать опрятно отпечатанных, но неряшливо написанных, страниц и названы автором «романом», однако «Большую Каменку» романом назвать нельзя. Это длинный список эпизодов, случившихся в приволжской деревне в буйные октябрьские и пооктябрьские годы.

Материал, заполнивший страницы книги, лишен какой ты то ни было художественной планировки и обработки. Это карандашные записи наспех.

Автор, очевидно, поставил своей задачей отобразить сложный процесс разложения старой и рождения новой деревни. Однако этот интересный и глубокий рост не нашел художника в лице А. Дорогойченко.

Очерченные автором герои, несмотря на угадываемую несхожесть и пестроту характеров, причесаны под одну гребенку, своим однообразием они напоминают копошащихся в лукошке раков. Их речь удручающе монотонна и мертва.

Главный герой «Большой Каменки», непобедимый Санек, проделавший сложную эволюцию от кулачного мальчика до московского вузовца в пенсне и в «пальто коминтерновском» (?) с цельными рукавами, изображен с тошнотворным подобострастием.

Характерные особенности «Каменки» — непролазное многословие, ничем неоправданное обилие отступлений и залихватский тон выкриков («Ай да... Ну, и...» и т. д.) — превращают чтение этой книги в трудное восхождение на ничем не замечательную гору.

Экзотически звучащие мордовские фразы, народные поговорки и частушки случайны, как дивертисмент, введенный в скучную пьесу для оживления. Однако и это не спасает.

С. Алмова.

М. Сивачев. — «Балаханы». Повесть. Изд. «Новая Москва». 1926 г. Стр. 103 Ц. 1 рубль.

«Фантазия у тебя есть — вот ты и бей на то, чтобы сочинителя из себя образовывать. Может, и ахти не какой сочинитель будешь, но для нашего брата-рабочего смотрию так: лучше плохонький, да свой, чем хороший, но нам чужой!».

Эта цитата отчасти характеризует форму и содержание повести «Балаханы» — нужную, полезную, честную книжку, написанную без претензий на высокое мастерство, заполненную характерными снимками и иллюстрациями нефтяных промыслов, когда ими заправляли Манташевы и Нобели. Автор сосредоточил внимание не на королях-предпринимателях, а на мелких кустарях. Он с безукоризненной точностью описал эту категорию промышленников и их судьбу, зависящую от миллионеров. Барыши Нобелей делают скачок вниз — и кустарь являет собой вид жалкого, потерянного существа. Барыши делают скачок вверх — и кустарь готов загрызть и своих рабов и тех господ положения, перед которыми он недавно пресмыкался.

С добросовестной и любовной наблюдательностью подобраны автором иллюстрации из повседневного труда жизни рабочих, особенно рабочих восточных национальностей.

В духе хороших, отчетливых, выуклых снимков с натуры воспроизведены подпольные рабочие — Кубычев, Василий, Козлов, Витька и сам автор. «Но человек — он музыка всех музык», — восклицает в одном месте М. Сивачев. Внутренняя музыка подпольной жизни, звучащая мотивами будущих побед, и сложные и глубокие процессы внутренней жизни конспираторов, к сожалению, не освещены М. Сивачевым. И потому лозунг — «Лучше плохонький, да свой, чем хороший, но нам чужой» — опрокидывается этим значительным недостатком книги. Лозунг этот был уместен в свое время, когда литератор был загнан в подполье. Теперь этот лозунг надо реформировать: «Лучше свой и хороший, чем чужой и хороший».

С. Пакентрейгер.

К. Арсеньев. — «В делях Уссурийского края». Акц. О-во «Книжное дело». Владивосток, 1926 г. Стр. 464.

Эта прекрасная книга — результат путешествий, совершенных ее автором в 1906—7 гг. в первозданную Уссурийскую глушь. Книга, относящаяся по своему типу к исследовательско-этнографической литературе, на самом деле далеко перерастает «специальные» пределы, являясь, прежде всего, большим художественным произведением.

Из огромной массы наблюдений Арсеньев сумел выбрать основное, необходимое, показательное, — и «описание путешествий» превратилось в своеобразно-жизненный роман, в котором налицо и увлекательный сюжет, и живые люди, и непосредственно воспринимающийся пейзаж.

Книга читается с тревогой, напряжением и восторгом. Путь по лесам, наполненным хищниками, мучительные переходы через ледяные горные хребты и бурлящие, полноводные реки, случайные ночевки у костра, непрерывный взгляд в лицо сторожащей смерти, все это захватывает, волнует и, в то же время, веет бодростью, силой, уверенностью, отвагой и борьбой. «В делях Уссурийского края» не только увлекательная, но, прежде всего, закаляющая здоровая книга.

Ценность книги чрезвычайно многообразна. Она раскрывает и освещает быт целых народностей, вымирающих, вымерших и возрождающихся, и, несмотря на то, что объекты ее исследований взяты в свете прошлого, — бытовая сторона книги не лишена и современного общественного значения, ибо внутренний обиход туземного населения, его обычаи, верования и обряды в значительной степени хранят свою старину. Быт разноплеменных народностей, зарисованный в книге, даст не мало материала для размышлений, сравнений и практических выводов.

Мир зверя и птицы, с экзотической радужностью развертывающийся перед глазами путешественника, воссоздан им во всем своем первобытном сверкании.

Книга обогатит каждого натуралиста зоолога, любителя природы и, особенно, охотника новыми знаниями из области «фауны и флоры».

В. К. Арсеньев с одинаковой зоркостью зарисовал и общераспространенных лесных обитателей (белка, куropатка, тетерев и т. д.), и представителей «музейных» пород, вроде стройного «красного волка», оранжевой рыси и траурного лебедя.

Очерк Арсеньева отчасти, конечно, до известного предела, соприкасается с знаменитыми «Записками» С. Т. Аксакова, монографиями Кайгородова и охотничьими рассказами М. М. Пришвина. Во всяком случае, многие главы книги — настоящий вклад в охотничью литературу. Некоторые же из ее страниц («Осенний перелет птиц», «Сквозь тайгу» и др.) с полным правом могут войти в школьные хрестоматии: так они полностью художественны.

Всем этим далеко еще не исчерпывается значение труда В. К. Арсеньева.

«В делях Уссурийского края» — широкая галерея живых человеческих лиц. Здесь и мирные туземцы, обрабатывающие негостеприимные земли своих предков, ловцы жемчуга, и древние искатели «жень-шеня», и удивительные, знакомые лишь по Ф. Куперу, следопыты.

Центральный человеческий образ в книге — гольд Дерсу Узала, последний

осколок эпохи первобытного коммунизма, артист-охотник, мудрец и ребенок, бродяга и друг всего живущего в природе. Свободный и счастливый в своей стихии, в диких и грозных лесах, Дерсу не может жить в городе: его пребывание в городе, описанное Арсеньевым,— трогательный, почти фантастический рассказ о человеке, пришедшем на железную землю из отдаленно-легендарных вековых просторов.

Дерсу—один из немногих по своеобразию и цельности типов в русской художественной литературе.

Книга издана во Владивостоке, и на ней отпечатались все следы провинциального (или крайнего) издания: слишком «размашистый» шрифт, не всегда удачные иллюстрации, безвкусная обложка. Обложка, особенно, вызывает возражения: и траурная оторочка в «изумрудных» блесках, и неудачная игра цветов, и лубочный тигр с окровавленно разверстой пастью,—все плохо и дешево.

Книга снабжена отрывками из предисловий Ф. Нансена и Свен Гедина, написанными для издания на немецком языке.

Ник. Смирнов.

В. Александровский. — «Подкованные годы». Стихи. «Современная Россия». Москва, 1926. Стр. 60.

Илья Садофьев. — «Простей простого». Стихи и поэмы. Изд-во «Недра». Стр. 140 Ц. 1 р. 25 к.

У обоих поэтов есть много общего: отпечаток одних и тех же литературных влияний (Есенин и Блок), однообразие размеров (преимущественно 5-стопный ямб и хорей), склонность к тем же композиционным приемам (кольцо), сходство мотивов, тем, настроений:

И печаль тальянки голосистая
Шалому понятна и близка.

(Садофьев).

И вслед за гармонистами,
Толкая синь и мглу,
Вошла, брэнча монистами,
В пивную, на углу.

(Александровский).

Иногда это сходство доходит до совпадения.

Ну, какой же я к чорту лирик!—
воскликает Александровский.

Ну, какой я к чорту странник!—
вторит Садофьев.

Александровский не лирик, потому что

Кровь у меня бунтаря.

Садофьев не лирик, потому что

Мне в бою сворачивать бы скулы,
Норчевать непроходимый лес.

Столкновение лирика с бунтарем— основное содержание поэзии и у Садофьева и — в особенности — у Александровского. Только у Александровского побеждает лирик, а у Садофьева бунтарь.

У Александровского голос мягче, глуше и проникновеннее. Он гораздо реже срывается. Гораздо реже переходит на крик и риторику, чем Садофьев. Правда, у Садофьева больше мажора, жизнерадостности и нет того надрыва, который чувствуется — довольно явно — у Александровского. Но его мажор зачастую неубедителен, декларативен. В рецензируемом сборнике много слабых стихотворений, которые только засаривают его. Название «Простей простого» вряд ли подходит к нему. Он далеко не прост и местами крайне насыщен:

Любви и мысли вселенское колесо
Ныне разворачивается на окровавленной земле...

Как хорошо сердец закинуть невода
В неизмеримую космическую глубь...

Вкус часто изменяет поэту:

Ножи в страдальческую спину
И в грудь вонзались палачами...
Струилась кровь из ран ручьями,
И рабство ухало, как филин...

Садофьев выступает и с программными заявлениями:

Если крепко, любишь слово—
Больше буйства и гордыни!
Посылай на все святыхи
Раз и два, и вновь, и снова!

В новаторстве он не знает компромиссов:

Сводня-критика старалась
И старается доньше
С дерзновенною гордыней
Поженять собачью старость.

Но победа в том, что особых-то «дерзаний» у Садофьева нет. Новаторство в его поэзии днем со свечей не сыскать. Поэтом его «разносы» (а разносит он

всех: символистов, футуристов, имажинистов) звучат довольно неубедительно.

А. Лезюнев.

Карел Чапек—«Старая веселая Англия». Перев. Ю. Н. Деми. ГИЗ. М.—Л. 1927 г. Стр. 95. Ц. 50 к.

Письма из Англии К. Чапека—остроумные размышления и яркие впечатления умеющего мыслить и чувствовать путешественника. Конечно, ни о старой веселой, ни о современной Англии по этим письмам-главам нельзя получить никакого точного представления. Это не книга описательного характера о городах, улицах, памятниках Англии, и очень мало книга о людях. Через призму то сдержанно-саркастических, то слегка сентиментальных, но всегда утонченно-индивидуалистических настроений, в основе которых лежит беспокойное сравнение родной Чехии с этой чужой страной, Чапек умелыми штрихами набрасывает виденное. Он показывает читателю Англию в совершенно своеобразном преломлении, и с большим талантом заставляет проникаться своими эмоциями, вызванными той или иной деталью, той или иной встречей. Резюмируя свои впечатления, Чапек пишет: «Возвратясь из Лондона, я чувствовал себя уничтоженным, впадшим в отчаяние, угнетенным и духом и телом; впервые на моем веку я испытал слепое и бешеное отвращение к современной цивилизации» (стр. 17). Более спокойно чувствовал себя К. Чапек в английском парке, где, «сидя под старинным дубом», он соблазнился желанием признать ценность старых вещей, высокую миссию старых деревьев, гармоническую осмысленность традиций и законность уважения к всему, что достаточно сильно, чтобы сохранить себя в течение веков» (стр. 10). Но автор не поддается всерьез романтическому искушению искать спасения от

терзаний оглушающего хаоса современности в консервативной тишине старой Англии. Деревенская Англия вызывает в нем насмешливую оценку—«английские сельские места не для работы, они только для показа». И он вспоминает своего дядю фермера, который, при виде стад бурых и черных коров, расположившихся на самых великолепных лугах, наверное, сказал бы—«какая жалость, что пропадает такой прекрасный навоз» (стр. 42). Он сын молодой страны, крестьянство которой чувствует в себе нетронутый запас творческих сил. Чего же ждет чешский писатель от английского пролетариата, как он оценивает его творческую силу? Чапек видел рабочих в Англии только мельком на улицах. В пропитанном тонкой наблюдательностью и юмором письме, посвященном улицам Лондона, автор утверждает—«и здесь никакие революционные толпы не будут ходить по улицам, потому что улицы слишком длинны. А также и слишком скучны» (стр. 14). Чех Чапек хорошо знает ужас национального гнета, и он сумел найти язвительные слова, чтобы заклеить отношение британских властителей к 400 миллионам колониального населения, которые не получили никакого своего выражения на необъятной выставке английского хозяйства; их нет—есть только английская торговля; они обезличены, в Англии даже нет этнографического музея. Можно ли, в самом деле, представить себе большую степень игнорирования и неуважения к «колониальным» народам? Шотландия чарует К. Чапека сравнительной дикостью и примитивом быта. Ирландию он не видел совсем, и ограничивается лишь передачей замечаний англичан о мятежной стране, куда автору всерьез не советуют ехать.

Книга переведена и издана с большой тщательностью.

Галина Серебрякова.